

ИОСИФ БРОДСКИЙ

1





Wasserkunst

Ф О Р М А      В Р Е М Е Н И



Васильев

**ФОРМА ВРЕМЕНИ**  
**Стихотворения, эссе, пьесы**

*В двух томах*

**ТОМ**  
**1**

**Стихотворения**

Минск  
**ЭРИДАН**  
1992

ББК 84Р7  
Б88

Ответственный редактор *А. С. Потапа*  
Составитель *В. И. Уфлянд*  
Художник *С. В. Баленок*

**Б88** Бродский И. А.  
Форма времени: Стихотворения, эссе, пьесы.  
В 2 т. Т. 1. Стихотворения/Составил В. И. Уфлянд;  
Художник С. В. Баленок.— Мн.: Эридан, 1992.—480 с.

ISBN 5-85872-107-9

Двухтомное собрание стихотворений, пьес, эссе лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского является первым в нашей стране и за рубежом и включает в себя практически все, написанное поэтом. В первый том входят стихотворения.

ББК 84Р7

ISBN 5-85872-107-9 т. 1  
ISBN 5-85872-106-0

© И. А. Бродский, 1992  
© Составление. В. И. Уфлянд, 1992  
© Оформление. С. В. Баленок, 1992



**«Кроме того, я думаю, что не человек пишет стихотворение, а каждое предыдущее стихотворение пишет следующее».**

Такими и подобными высказываниями объясняет свою роль в поэзии пятидесятилетний русский поэт Иосиф Бродский, родившийся 24 мая 1940 года в Питере и ныне живущий в Нью-Йорке.

Он самый молодой из литераторов, удостоившихся Нобелевской премии по литературе. В 1987 году, когда это произошло, ему было 47 лет. Иосиф Александрович Бродский и другой Нобелевский лауреат Александр Исаевич Солженицын символизируют современную русскую литературу в представлении всего культурного мира.

В 1972 году идеологические надзиратели из партийного аппарата и КГБ вынудили поэта покинуть Россию. С тех пор стихи Иосифа Бродского попали в разряд контрабандных импортных диковинок, недопустимых простому отечественному читателю. Нынешнее издание представляет попытку эту несправедливость устранить.

Некоторые сведения из жизни поэта помогут в определении места и времени тех или иных событий, которые переведены Иосифом Бродским из действительности в особое состояние, именуемое поэзией, где, как он утверждает, стихи пишут сами себя.

До 15 лет Иосиф Бродский учился в школе, бросил ее, пошел работать и сменил несколько профессий. Писать стихи начал в 16 лет.

Он быстро миновал неизбежный для всякого начинающего стихотворца период подражания. В его стихах быстро возобладали совершенно оригинальная интонация, отчасти выражавшаяся и в особой манере поэта читать свои стихи на публике. В короткое время он овладел тем запасом профессиональных приемов, который позволил ему превзойти тогдашний общий уровень официальной подцензурной поэзии. При этом он писал именно то, что хотел, а не то, что позволялось.

К 1960 году Иосиф Бродский уже был хорошо известен и ценим среди литературной молодежи, составлявшей новую неофициальную литературу, и среди честных литературных профессионалов стар-

шего поколения. Литературные функционеры, разумеется, его не признавали. Сам поэт, в силу врожденного чувства собственного достоинства и в силу заслуженно приобретенного уважения к собственному труду, не унижался до того, чтобы обивать пороги издательства. Друзья пытались помочь ему, устраивая заработки от стихотворных переводов. Иосифу Бродскому не понадобилось много времени, чтобы проявить себя талантливым переводчиком стихов. Но его переводы тоже оказались слишком талантливыми для установленного сверху уровня талантливости в разрешенной литературе. Заказы появлялись редко и вряд ли окупали затраты на кофе, довольно дешевой, кстати, в те времена, выпиваемый Иосифом во время работы над переводами.

В другой стране и в другие времена стремительно растущая известность принесла бы поэту через несколько лет достаток и возможность спокойно работать. Однако в Советском Союзе эпохи так называемой хрущевской оттепели эта известность не только лишила его последних шансов опубликовать в печати свои стихи, но и привлекала внимание органов идеологического надзора и подавления. С их точки зрения, поэт, углубленный в собственный мир, поглощенный собственными взаимоотношениями с бытием, временем, вечностью, посягал чуть ли не на основы имперской системы.

В 1964 году Иосиф Бродский был арестован, посажен в тюрьму и приговорен к 5 годам ссылки с привлечением к тяжелой работе по указу ПВС СССР «Об ответственности за тунеядство». Тунеядством именовалась литературная работа, которую судившая поэта торжествующая серость расценивала как правонарушение, особенно серьезное в молодом возрасте. Правление ленинградского отделения Союза Советских писателей, собранное из отборных экземпляров этой торжествующей серости, рьяно способствовало тому, чтобы организованный КГБ гнусный суд завершился соответствующим приговором.

Но благодаря заступничеству А. А. Ахматовой, С. Я. Маршака, Д. Д. Шостаковича, многих других порядочных людей и широкой кампании возмущения, нашедшей отклик и за границей, Иосиф Бродский был досрочно освобожден в 1965 году.

В последующие годы он достигает новых высот в поэзии, но за исключением нескольких стихотворений и стихотворных переводов ему ничего не удается опубликовать в советской печати.

Тем временем на Западе начинают с 1965 года выходить книги Бродского: «Стихотворения и поэмы», затем «Остановка в пустыне». Иосиф Бродский становится первой поэтической фигурой в неофициальной литературе. Каждое его новое произведение воспринимается как литературное событие, немедленно распространяется в устной передаче, в самиздатов-

ской перепечатке, передается в русские зарубежные издания. Помимо связанных с ним судьбой и сходной литературной позицией грузей, к его авторитетной личности тянется вся независимая молодая литература и искусство.

Эта вполне зрелая и производительная творческая пора поэта совпадает с очередным этапом остервенелого гонения правящей бездарности на русскую культуру. После серии запретов, судов над писателями и диссидентами, разгромов выставок, арестов и высылки в 1972 году высылают Иосифа Бродского.

В США, где поэт поселился, все, что выходит из-под его пера, тут же попадает в печать, однако число его читателей теперь падает до немногих сотен эмигрировавших и изгнанных любителей поэзии и западных литературных специалистов. Эта достаточно мучительная для литератора коллизия осложняется еще и тем, что Иосиф Бродский вывез с собой из России совершенно расшатанное зроровье. Его постигают два инфаркта. Но, благодаря Богу и американским врачам, он выбрался из опасного состояния и находится в хорошей физической форме. При всех неблагоприятных обстоятельствах отрадно, что Иосиф Бродский нашел в Америке уважение культурного общества, доброжелательную обстановку для работы, широкое признание. Он пишет на русском и на английском языках, преподает литературу в университетах и колледжах.

Несмотря на все эти резкие перемены, никакого творческого зигзага в поэзии Иосифа Бродского, вызванного изгнанием, проследить невозможно. Наоборот, поражает крайняя последовательность в развитии его творческих принципов и внутренняя оправданность эволюции. Хотя сам поэт сколько-нибудь значительную эволюцию в своей поэзии в эти годы отрицает. Возможно, эволюция состоит в том, что с какого-то момента каждое новое стихотворение поэта превосходит предыдущее.

Присуждение Иосифу Бродскому Нобелевской премии не явилось неожиданностью. Он, безусловно, по праву стал пятым русским литератором, получившим ее.

Его мать и отец, к сожалению, не дожили до этого события. Не добившись от советских властей разрешения увидеться с сыном, они умерли в 1984 и 1985 году.

С мировым признанием в жизни Иосифа Бродского мало что изменилось, разве что стало меньше времени для спокойной работы. Знаменитость постоянно отвлекают вытекающие из ее нынешнего положения ритуально-общественные обязанности. Он хозяйничает по-прежнему в тесной, заваленной книгами нью-йоркской квартире. Хотя эта квартира раз в десять больше того пятиметрового угла, который он себе отгородил, живя в питерских коммунальных полутора комнатах, остается впечатление, что он живет ни-

сколько не просторнее и не богаче, чем в молодости.

Если не говорить о неизбежных следах, оставляемых на человеке временем и большимицами, Иосиф Бродский, в сущности, не изменился. Очевидно, он наконец добился той возможности быть самим собой, которую так отстаивал в молодые годы, хотя его всегда не устраивала перспектива превращения в некую общественную фигуру.

С первых слов своей Нобелевской лекции он настоятельно рекомендует себя человеком частным и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшим. Однако, частный человек — это тоже общественная роль и, при всей своей скромности, одна из самых высоких, если не самая высокая в обществе. И вдобавок самая труднодоступная. Борис Леонидович Пастернак тоже называл себя обывателем.

Государство, политика, предрассудки, деньги стремятся вклинить в частную жизнь. Мечта каждого настоящего поэта, идеал каждого настоящего интеллигента остаться в любых условиях независимым и свободным. Иногда это им удается только ценою собственной жизни.

По счастью, Иосифу Бродскому не пришлось отстаивать свое право быть только тем, кем ему велит его понимание Божьего Промысла, такой ценой. Он без видимого усилия миновал также и все соблазны хоть раз покривить душой во имя пайкового благополучия. А на этих соблазнах утратили душу многие, желавшие именоваться поэтами, и сделали просто орудиями рифмованной конъюнктуры, меняясь с переменами моды и политических ветров.

Иосиф Бродский, достигнув безусловного признания как поэт, провозгласил себя всего лишь орудием русского языка. Он утверждает, что всего лишь исполняет свой долг по отношению к родному языку. Если вспомнить, что сначала было Слово, и Слово было Бог, то в таком же смысле все настоящие поэты всего лишь орудия своего родного языка.

Примем эти постулаты Бродского и попробуем бего проследить, как именно поэт сумел добиться высокого положения истинно частного человека, оставаясь при этом неизменно всего лишь орудием языка.

Первые получившие известность стихи Иосифа Бродского конца пятидесятых и начала шестидесятых годов написаны как бы нарочно против всех принципов хозяйничавшего безраздельно в совдеповской литературе соцреализма. Однако это была не нарочитость поэта, а просто естественная человеческая и литературная позиция. Он готов был разделить нежданно открытый им в себе дар с любым числом благожелательных читателей, или точнее сказать: слушателей. Ибо стихи, случайно или в силу безнадёжности их напечатать, оказались легко воспринимаемыми на слух. Многие из стихов Бродского того времени: «Ни стра-

ны, ни погоста...», «Плывет в тоске необъяснимой...» — быстро и надолго заучиваются наизусть. Их исполняют под гитару и прочие инструменты. Исполнение их автором само было достаточно музыкальным действием. Сегодняшний Бродский многие из этих, написанных до 1964 года, стихов отказывается печатать и даже вспоминать. Например, читаемое полчищами чтецов «Шестые». Бродский не был бы Бродским, если бы не стремился ежеминутно превзойти самого себя.

Множество эпигонов, загоревшись страстью стать вторым Бродским, более или менее успешно мимикрируют под этого, якобы не очень замысловатого раннего Бродского и наводняют самиздат, тамиздат, а ныне и гозиздаты иногда очень приличными вторичными опусами. Если бы у Иосифа Бродского была цель наплюдить себе подражателей, он мог бы почтить на лаврах, уже написав «Петербургский роман» и «Пилгримов». Но такой цели у него не было и, может быть, вообще не было никакой осознанной цели.

Он просто лихорадочно читал все, что попадалось под руку и что можно было достать из настоящей, не соцреалистической литературы. С вызывающей бесшабашностью бессистемно учил английский или польский прямо по повернувшимся английским или польским стихам и прозе. В каком порядке он познакомился с поэзией Пастернака, Цветаевой, Элиота, Мандельштама, Джона Донна, Заболоцкого, Фроста, Хлебникова, Ахматовой, Огена, Иейтса, Галчинского — сейчас уже вряд ли можно установить по его стихам, да это и не важно.

Ни один из вышеперечисленных, ни другой из любимых Иосифом Бродским поэтов не вызвал в его поэзии перелома. Он оказался рано сложившимся, но готовым к любым совершенствованиям поэтом. Поэтическая система Бродского, говоря языком современного анализа, это открытая система, все влияния направляющая только себе на пользу.

Для нас, читателей, важно то, что эта поэтическая система существует, а чем именно она отличается от других, мы можем составить свое суждение, только получив более или менее полный свод произведений Бродского. Можно рассчитывать, что появление этого большого тома вызовет отклики литературных специалистов и мы, читатели, сможем сопоставить свое впечатление с научными точками зрения. Также, может быть, мы придем к какому-нибудь общему мнению о степени взаимодействия поэзии Иосифа Бродского с англоязычной поэзией: допустим, более сильно это влияние, чем влияние вообще западной литературы на русскую, или не выходит из этих пределов.

Мы сможем высказать свое мнение и по вопросу о том, разделяется ли поэзия Бродского на период до 72 года — лирический и после 72 — нью-йоркский. И свое мнение в споре, представляет ли поэзия Бродского настоящий образец развития классицизма и акаде-

мизма, традиционна ли она или, наоборот, это особое проявление поставангардистских тенденций в литературе.

Читателю предстоит совсем не безмятежное погружение в мир поэта, а достаточно трудное испытание. С годами Иосиф Бродский все охотнее включает в свой поэтический обиход явления, выводы и приемы из соседних областей человеческого мышления, привлекает метафизическую философию, теологию, различные искусства и науки, не пренебрегает такими привычными в поэзии объектами иронии, как секс и политика. Трагедийная модель мироздания, предпочтенная Бродским комедийной, тоже не облегчит читателю восприятие его поэзии. Он, действительно, максимально исчерпывает язык. Или язык исчерпывает поэта? Это обстоятельство требует от читателя еще и основательной лексической подготовки.

Почему эта книга называется «Форма времени»? «Все мои стихи, более-менее, об одной и той же вещи: о времени», — сказал в одном из интервью Бродский. То есть, тема его поэзии — Время с большой буквы. А сюжет, если можно так выразиться, его поэзии — жизнь самого поэта.

«Форма времени» — одно из определений жизни в стихах Иосифа Бродского. Возможно, читатели найдут в этом томе много других, более ошеломительных метафор. Но определить, что такое жизнь, в двух словах еще не удавалось ни одному поэту, философу или пророку. Если бы это было возможно, и сам Иосиф, и любой другой поэт постарался бы написать не несколько сотен стихов, а всего две строчки. Благодаря этому несовершенству языка, мышления, пророчества, читатель получает сегодня том поэзии, отобранный из опубликованного и отредактированного в свое время при участии самого поэта состава текстов, по преимуществу в том порядке, в каком Иосиф Бродский составлял из стихов разных лет свои книги. За пределами томов остались ранние произведения, к публикации которых Бродский не проявляет интереса. По возможности, кроме книг стихов: «Остановка в пустыне», «Конец прекрасной эпохи», «Часть речи», «Новые стансы к Августе», «Урания», «Примечания папоротника» включена драматургия и эссе, написанные Бродским по-русски. Композиция этого издания построена вокруг книги «Новые стансы к Августе», указанной самим поэтом в качестве образца для составления сборника его произведений.

Полномочия, данные составителю и издателям автором, достаточно широки. Иосиф Бродский престанет во всех свойственных ему проявлениях, включая драматургию.

Читатель получит возможность испытать на себе особую, свойственную только этому поэту магию стиха. Ему откроется доступ в созданный Иосифом Бродским из сотворенных им образов и подобиий миропо-

рядок, не идентичный нашему, общему, но порой более реальный, чем реальная действительность.

Сумевший успешно воспользоваться этими возможностями окажется в той высокой категории читателей, о какой сейчас мечтают наиболее взыскательные к себе стихотворцы, драматурги, прозаики.

При сегодняшней стремительно растущей численности пишущих стихи, пьесы и прозу и расширении возможностей публиковаться скоро станет трудно поддерживать необходимо высокий уровень литературы, чтобы она не оказалась разменной тысячами подражателей и эпигонов, вторичных и третичных авторов на малоценные литературные поделки.

Настоящие поэты не могут исчисляться тысячами и десятками тысяч.

Произведений, которых нельзя не прочесть, ненамного больше, чем может вместить одна человеческая память.

Книг, без которых нельзя обойтись, тоже ненамного больше, чем может вместить удачно подобранная домашняя библиотека.

Одной из этих книг должна быть «Форма времени» Иосифа Бродского.

Владимир Уфлянд

# **СТИХИ**

**Из самиздата  
и ранних сборников**

## СТАНСЫ

Е. В., А. Д.

Ни страны, ни погоста  
не хочу выбирать.  
На Васильевский остров  
я приду умирать.  
Твой фасад темносиний  
я впотьмах не найду,  
между выцветших линий  
на асфальт упаду.

И душа, неустанно  
поспешая во тьму,  
промелькнет над мостами  
в петроградском дыму,  
и апрельская морось,  
над затылком снежок,  
и услышу я голос:  
— До свиданья, дружок.

И увижу две жизни  
далеко за рекой,  
к равнодушной отчизне  
прижимаясь щекой,  
— словно девочки-сестры  
из непрожитых лет,  
выбегая на остров,  
машут мальчику вслед.

1962

## СТАНСЫ ГОРОДУ

Да не будет дано  
умереть мне вдали от тебя,  
в голубиных горах,  
кривоногому мальчику вторя.  
Да не будет дано  
и тебе, облака торопя,  
в темноте увидеть  
мои слезы и жалкое горе.

Пусть меня отпоет  
хор воды и небес, и гранит  
пусть обнимет меня,  
пусть поглотит,  
мой шаг вспоминая,  
пусть меня отпоет,  
пусть меня, беглеца, осенит  
белой ночью твоя  
неподвижная слава земная.

Все умолкнет вокруг.  
Только черный буксир закричит  
посредине реки,  
исступленно борясь с темнотою,  
и летящая ночь  
эту бедную жизнь обручит  
с красотою твоей  
и с посмертной моей правотою.

## ПИЛИГРИМЫ

Мимо ристалищ, капищ,  
мимо храмов и баров,  
мимо шикарных кладбищ,  
мимо больших базаров,  
мира и горя мимо,  
мимо Мекки и Рима,  
синим солнцем палимы,  
идут по земле  
пилигримы.

Увечны они, горбаты.  
Голодны, полуодеты.  
Глаза их полны заката.  
Сердца их полны рассвета.  
За ними поют пустыни,  
вспыхивают зарницы,  
звезды дрожат над ними,  
и хрипло кричат им птицы,  
что мир останется прежним.

Да. Останется прежним.  
Ослепительно снежным.  
И сомнительно нежным.  
Мир останется лживым.  
Мир останется вечным.  
Может быть, постижимым,  
но все-таки бесконечным.

И, значит, не будет толка  
от веры в себя да в Бога,  
и, значит, остались только  
Иллюзия и Дорога.

И быть над землей закатам,  
и быть над землей рассветам.

Удобрить ее солдатам.  
Одобрить ее поэтам.

Я памятник воздвиг себе иной!

К постыдному столетию — спиной.  
К любви своей потерянной — лицом.  
И грудь — велосипедным колесом.  
А ягодицы — к морю полуправд.

Какой ни окружай меня ландшафт,  
чего бы ни пришлось мне извинять,—  
я облик свой не стану изменять.  
Мне высота и поза та мила.  
Меня туда усталость вознесла.

Ты, Муза, не вини меня за то.  
Рассудок мой теперь, как решето,  
а не богами налитый сосуд.  
Пускай меня низвергнут и снесут,  
пускай в самоуправстве обвинят,  
пускай меня разрушат, расчленят,—

в стране большой, на радость детворе  
из гипсового бюста во дворе  
сквозь белые незрячие глаза  
струей воды ударю в небеса.

1962

ИЗ КНИГИ \*

## ОСТАНОВКА В ПУСТЫНЕ

---

\* Восемь стихотворений и цикл «Anno Domini» из книги «Остановка в пустыне» включены в свое время И. Бродским в книгу «Новые стансы к Августе», где читатель найдет их в окончательной авторской редакции.

Впервые книга «Остановка в пустыне» вышла в издательстве имени Чехова (США) в 1970 г. Тексты приведены по изданию «Остановка в пустыне», «Ардис» (США), 1988 г.

**из цикла**

**ХОЛМЫ**

## РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС

*Евгению Рейну, с любовью*

Плывет в тоске необъяснимой  
среди кирпичного насада  
ночной кораблик негасимый  
из Александровского сада.  
Ночной кораблик нелюдимый,  
на розу желтую похожий,  
над головой своих любимых,  
у ног прохожих.

Плывет в тоске необъяснимой  
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц,  
в ночной столице фотоснимок  
печально сделал иностранец,  
и выезжает на Ордынку  
такси с большими седоками,  
и мертвецы стоят в обнимку  
с особняками.

Плывет в тоске необъяснимой  
певец печальный по столице,  
стоит у лавки керосинной  
печальный дворник круглолицый,  
спешит по улице невзрачной  
любовник старый и красивый.  
Полночный поезд новобрачный  
плывет в тоске необъяснимой.

Плывет в тоске замоскворецкой  
пловец в несчастье случайный,  
блуждает выговор еврейский  
по желтой лестнице печальной,  
и от любви до невеселья,

под Новый год, под воскресенье,  
плывет красotka записная,  
своей тоски не объясняя.

Плывет в глазах холодный вечер,  
дрожат снежинки на вагоне,  
морозный ветер, бледный ветер,  
обтянет красные ладони,  
и льется мед огней вечерних,  
и пахнет сладкою халвою;  
ночной пирог несет сочельник  
над головою.

Твой Новый год по темно-синей  
волне среди шума городского  
плывет в тоске необъяснимой,  
как будто жизнь начнется снова,  
как будто будут свет и слава,  
удачный день и вдоволь хлеба,  
как будто жизнь качнется вправо,  
качнувшись влево.

*28 декабря 1961*

## БОЛЬШАЯ ЭЛЕГИЯ ДЖОНУ ДОННУ

Джон Донн уснул, уснуло все вокруг.  
Уснули стены, пол, постель, картины,  
уснули стол, ковры, засовы, крюк,  
весь гардероб, буфет, свеча, гардины.  
Уснуло все. Бутыль, стакан, тазы,  
хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда,  
ночник, белье, шкафы, стекло, часы,  
ступеньки лестниц, двери. Ночь повсюду.  
Повсюду ночь: в углах, в глазах, в белье,  
среди бумаг, в столе, в готовой речи,  
в ее словах, в дровах, в щипцах, в угле  
остывшего камина, в каждой вещи.  
В камзоле, в башмаках, в чулках, в тенях  
за зеркалом, в кровати, в спинке стула,  
опять в тазу, в распятыи, в простынях,  
в метле у входа, в туфлях. Все уснуло.  
Уснуло все. Окно. И снег в окне.  
Соседней крыши белый скат. Как скатерть  
ее конек. И весь квартал во сне,  
разрезанный оконной рамой насмерть.  
Уснули стены, арки, окна, всё.  
Булыжники, торцы, решетки, клумбы.  
Не вспыхнет свет, не скрипнет колесо...  
Ограды, украшенья, цепи, тумбы.  
Уснули двери, кольца, ручки, крюк,  
замки, засовы, их ключи, запоры.  
Нигде не слышен шепот, шорох, стук.  
Лишь снег скрипит. Все спят. Рассвет не скоро.  
Уснули тюрьмы, замки. Спят весы  
среди рыбной лавки. Спят свиные туши.  
Дома, задворки. Спят цепные псы.  
В подвалах кошки спят, торчат их уши.

Спят мыши, люди. Лондон крепко спит.  
Спит парусник в порту. Вода со снегом  
под кузовом его во сне сипит,  
сливаясь вдалеке с уснувшим небом.  
Джон Донн уснул. И море вместе с ним.  
И берег меловой уснул над морем.  
Весь остров спит, объятый сном одним.  
И каждый сад закрыт тройным запором.  
Спят клены, сосны, грабы, пихта, ель.  
Спят склоны гор, ручьи на склонах, тропы.  
Лисица, волк. Залез медведь в постель.  
Наносит снег у входов нор сугробы.  
И птицы спят. Не слышно пенья их.  
Вороний крик не слышен, ночь, совиный  
не слышен смех. Простор английский тих.  
Звезда сверкает. Мышь идет с повинной.  
Уснуло все. Лежат в своих гробах  
все мертвецы. Спокойно спят. В кроватях  
живые спят в морях своих рубах.  
Поодиночке. Крепко. Спят в объятых.  
Уснуло все. Спят реки, горы, лес.  
Спят звери, птицы, мертвый мир, живое.  
Лишь белый снег летит с ночных небес.  
Но спят и там, у всех над головой.  
Спят ангелы. Тревожный мир забыт  
во сне святыми — к их стыду святому.  
Геенна спит, и Рай прекрасный спит.  
Никто не выйдет в этот час из дому.  
Господь уснул. Земля сейчас чужда.  
Глаза не видят, слух не внемлет боле.  
И дьявол спит. И вместе с ним вражда  
заснула на снегу в английском поле.  
Спят всадники. Архангел спит с трубой.  
И кони спят, во сне качаясь плавно.  
И херувимы все — одной толпой,  
обнявшись, спят под сводом церкви Павла.  
Джон Донн уснул. Уснули, спят стихи.  
Все образы, все рифмы. Сильных, слабых  
найти нельзя. Порок, тоска, грехи,  
равно тихи, лежат в своих силлабах.  
И каждый стих с другим как близкий брат,  
хоть шепчет другу друг: чуть-чуть подвинься.  
Но каждый так далек от райских врат,  
так беден, густ, так чист, что в них — единство.

Все строки спят. Спит ямбов строгий свод.  
Хореи спят, как стражи, слева, справа.  
И спит виденье в них летейских вод.  
И крепко спит за ним другое — слава.  
Спят беды все. Страданья крепко спят.  
Пороки спят. Добро со злом обнялись.  
Пророки спят. Белесый снегопад  
в пространстве ищет черных пятен малость.  
Уснуло все. Спят крепко толпы книг.  
Спят реки слов, покрывшись льдом забвенья.  
Спят реки все, со всею правдой в них.  
Их цепи спят, чуть-чуть звенят их звенья.  
Уснуло все: святые, дьявол, Бог.  
Их слуги злые. Их друзья. Их дети.  
И только снег шуршит во тьме дорог.  
И больше звуков нет на целом свете.

Но чу! Ты слышишь: там, в холодной тьме,  
там кто-то плачет, кто-то шепчет в страхе.  
Там кто-то предоставлен всей зиме.  
И плачет он. Там кто-то есть во мраке.  
Так тонок голос! Тонок, впрямь игла.  
А нити нет... И так он одиноко  
плывет в снегу. Повсюду холод, мгла...  
Сшивая ночь с рассветом... Так высоко!  
«Кто ж там рыдает? Ты ли, ангел мой,  
возврата ждешь, под снегом ждешь, как лета,  
любви моей?.. Во тьме идешь домой.  
Не ты ль кричишь во мраке?» — Нет ответа.  
«Не вы ль там, херувимы? Грустный хор  
напомнило мне этих слов звучанье.  
Не вы ль решились спящий мой собор  
покинуть вдруг? Не вы ль? Не вы ль?» — Молчанье.  
«Не ты ли, Павел? Правда, голос твой  
уж слишком огрублен суровой речью.  
Не ты ль поник во тьме седой главой  
и плачешь там?» — Но тишь летит навстречу.  
«Не та ль во тьме прикрыла взор рука,  
которая повсюду здесь маячит?  
Не ты ль, Господь? Пусть мысль моя дика,  
но слишком уж высокий голос плачет».  
Молчанье. Тишь. — «Не ты ли, Гавриил,  
подул в трубу, а кто-то громко лает?  
Но что ж лишь я один глаза открыл,

а всадники своих коней седлают.  
Все крепко спит. В объятых крепкой тьмы.  
А гончие уж мчат с небес толпою.  
Не ты ли, Гавриил, среди зимы  
рыдаешь тут, один, впотьмах, с трубою?»

«Нет, это я, твоя душа, Джон Донн.  
Здесь я одна скорблю в небесной выси  
о том, что создала своим трудом  
тяжелые, как цепи, чувства, мысли.  
Ты с этим грузом мог вершить полет  
среди страстей, среди грехов и выше.  
Ты птицей был и видел свой народ  
повсюду, весь, взлетал над скатом крыши.  
Ты видел все моря, весь дальний край.  
И Ад ты зрел — в себе, а после — в яви.  
Ты видел так же явно светлый Рай  
в печальнейшей — из всех страстей — оправе.  
Ты видел: жизнь, она как остров твой.  
И с Океаном этим ты встречался:  
со всех сторон лишь тьма, лишь тьма и вой.  
Ты Бога облетел и вспять помчался.  
Но этот груз тебя не пустит ввысь,  
откуда этот мир — лишь сотня башен  
да ленты рек, и где, при взгляде вниз,  
сей страшный суд почти совсем не страшен.  
И климат там недвижим, в той стране.  
Оттуда всё, как сон больной в истоме.  
Господь оттуда — только свет в окне  
туманной ночью в самом дальнем доме.  
Поля бывают. Их не пашет плуг.  
Года не пашет. И века не пашет.  
Одни леса стоят стеной вокруг,  
и только дождь в траве огромной пляшет.  
Тот первый лесоруб, чей тощий конь  
вбежит туда, плутая в страхе чащей,  
на сосну влезши, вдруг узрит огонь  
в своей долине, там, вдали лежащей.  
Всё, всё вдали. А здесь неясный край.  
Спокойный взгляд скользит по дальним крышам.  
Здесь так светло. Не слышен псиный лай.  
И колокольный звон совсем не слышен.  
И он поймет, что всё — вдали. К лесам  
он лошадь повернет движеньем резким.

И тотчас вожжи, сани, ночь, он сам  
и бедный конь — всё станет сном библейским.

Ну вот, я плачу, плачу, нет пути.  
Вернуться суждено мне в эти камни.  
Нельзя придти туда мне во плоти.  
Лишь мертвой суждено взлететь туда мне.  
Да, да, одной. Забыв тебя, мой свет,  
в сырой земле забыв навек, на муку  
бесплодного желанья плыть вослед,  
чтоб сшить своею плотью, сшить разлуку.  
Но чу! пока я плачем твой ночлег  
смущаю здесь, — летит во тьму, не тает,  
разлуку нашу здесь сшивая, снег,  
и взад-вперед игла, игла летает.  
Не я рыдаю, плачешь ты, Джон Донн.  
Лежишь один, и спит в шкафах посуда,  
покуда снег летит на спящий дом,  
покуда снег летит во тьму оттуда».

Подобье птиц — он спит в своем гнезде,  
свой чистый путь и жажду жизни лучшей  
раз навсегда доверив той звезде,  
которая сейчас закрыта тучей.  
Подобье птиц, душа его чиста;  
а светский путь, хотя, должно быть, грешен,  
естественней вороньего гнезда  
над серою толпой пустых скворешен.  
Подобье птиц, и он проснется днем.  
Сейчас лежит под покрывалом белым,  
покуда сшито снегом, сшито сном  
пространство меж душой и спящим телом.  
Уснуло все, но ждут еще конца  
два-три стиха и скалят рот щербато,  
что светская любовь — лишь долг певца,  
духовная любовь — лишь плоть аббата.  
На чье бы колесо сих вод ни лить,  
оно все тот же хлеб на свете мелет.  
Ведь если можно с кем-то жизнь делить,  
то кто же с нами нашу смерть разделит?  
Дыра в сей ткани. Всяк, кто хочет, рвет.  
Со всех концов. Уйдет. Вернется снова.  
Еще рывок! И только небосвод  
во мраке иногда берет иглу портного.

Спи, спи, Джон Донн. Усни, себя не мучь.  
Кафтан дыряв, дыряв. Висит уныло.  
Того гляди, и выглянет из туч  
Звезда, что столько лет твой мир хранила.

*7 марта 1963*

Воротишься на родину. Ну что ж.  
Гляди вокруг, кому еще ты нужен,  
кому теперь в друзья ты попадешь?  
Воротишься, купи себе на ужин

какого-нибудь сладкого вина,  
смотри в окно и думай понемногу:  
во всем твоя, одна твоя вина,  
и хорошо. Спасибо. Слава Богу.

Как хорошо, что некого винить,  
как хорошо, что ты никем не связан,  
как хорошо, что до смерти любить  
тебя никто на свете не обязан.

Как хорошо, что никогда во тьму  
ничья рука тебя не провожала,  
как хорошо на свете одному  
идти пешком с шумящего вокзала.

Как хорошо, на родину спеша,  
поймать себя в словах неоткровенных  
и вдруг понять, как медленно душа  
заботится о новых переменах.

1961

## ОТ ОКРАИНЫ К ЦЕНТРУ

Вот я вновь посетил  
эту местность любви, полуостров заводов,  
парадиз мастерских и аркадию фабрик,  
рай речных пароходов,  
я опять прошептал:  
вот я снова в младенческих ларах.  
Вот я вновь пробежал Малой Охтой сквозь тысячу  
арок.

Преодо мною река  
распласталась под каменно-угольным дымом,  
за спиною трамвай  
прогремел на мосту неведимом,  
и кирпичных оград  
просветлела внезапно угрюмость.  
Добрый день, вот мы встретились, бедная юность.

Джаз предместий приветствует нас,  
слышишь трубы предместий,  
золотой диксиленд  
в черных кепках прекрасный, прелестный,  
не душа и не плоть —  
чья-то тень над родным патефоном,  
словно платье твое вдруг подброшено вверх  
саксофоном.

В ярко-красном кашне  
и в плаще в подворотнях, в парадных  
ты стоишь на виду  
на мосту возле лет безвозвратных,  
прижимая к лицу недопитый стакан лимонада,  
и ревет позади дорогая труба комбината.

Добрый день. Ну и встреча у нас.  
До чего ты бесплотна!  
Рядом новый закат  
гонит вдаль огневые полотна.  
До чего ты бедна! Столько лет,  
а промчались напрасно.  
Добрый день, моя юность. Боже мой, до чего ты  
прекрасна!

По замерзшим холмам  
молчаливо несутся борзые,  
среди красных болот  
возникают гудки поездные,  
на пустое шоссе,  
пропадая в дыму редколесья,  
вылетают такси, и осины глядят в поднебесье.

Это наша зима.  
Современный фонарь смотрит мертвенным оком,  
предо мною горят  
ослепительно тысячи окон.  
Возвышаю свой крик,  
чтоб с домами ему не столкнуться:  
это наша зима все не может обратно вернуться.

Не до смерти ли, нет,  
мы ее не найдем, не находим.  
От рожденья на свет  
ежедневно куда-то уходим,  
словно кто-то вдали  
в новостройках прекрасно играет.  
Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает.

Значит, нету разлук.  
Существует громадная встреча.  
Значит, кто-то нас вдруг  
в темноте обнимает за плечи,  
и, полны темноты,  
и, полны темноты и покоя,  
мы все вместе стоим над холодной блестящей рекою.

Как легко нам дышать,  
оттого что подобно растенью  
в чьей-то жизни чужой

мы становимся светом и тенью  
или больше того —  
от того, что мы все потеряем,  
отбегая навек, мы становимся смертью и раем.

Вот я вновь прохожу  
в том же светлом раю — с остановки налево,  
предо мною бежит,  
закрываясь ладонями, новая Ева,  
ярко-красный Адам  
вдалеке появляется в арках,  
невский ветер звенит заунывно в развешанных арфах.

Как стремительна жизнь  
в черно-белом раю новостроек.  
Обвивается змей,  
и безмолвствует небо героик,  
ледяная гора  
неподвижно блестит у фонтана,  
вьется утренний снег, и машины летят неустанно.

Неужели не я,  
освещенный тремя фонарями,  
столько лет в темноте  
по осколкам бежал пустырями,  
и сиянье небес  
у подъемного крана клубилось?  
Неужели не я? Что-то здесь навсегда изменилось.

Кто-то новый царит,  
безымянный, прекрасный, всесильный,  
над отчизной горит,  
разливается свет темно-синий,  
и в глазах у борзых  
шелестят фонари — по цветочку,  
кто-то вечно идет возле новых домов в одиночку.

Значит, нету разлук.  
Значит, зря мы просили прощенья  
у своих мертвецов.  
Значит, нет для зимы возвращенья.  
Остается одно:  
по земле проходить бестревожно.  
Невозможно отстать. Обгонять — только это

**ВОЗМОЖНО.**

То, куда мы спешим,  
этот ад или райское место,  
или попросту мрак,  
темнота, это все неизвестно,  
дорогая страна,  
постоянный предмет воспеванья,  
не любовь ли она? Нет, она не имеет названья.

Это — вечная жизнь:  
поразительный мост, неумолчное слово,  
проплыванье баржи,  
оживленье любви, убиванье бывшего,  
пароходов огни  
и сиянье витрин, звон трамваев далеких,  
плеск холодной воды возле брюк твоих вечношироких.

Поздравляю себя  
с этой ранней находкой, с тобою,  
поздравляю себя  
с удивительно горькой судьбою,  
с этой вечной рекой,  
с этим небом в прекрасных осинах,  
с описанием утрат за безмолвной толпой магазинов.

Не жилец этих мест,  
не мертвец, а какой-то посредник,  
совершенно один,  
ты кричишь о себе напоследок:  
никого не узнал,  
обознался, забыл, обманулся,  
слава Богу, зима. Значит, я никуда не вернулся.

Слава Богу, чужой.  
Никого я здесь не обвиняю.  
Ничего не узнать.  
Я иду, тороплюсь, обгоняю.  
Как легко мне теперь  
оттого, что ни с кем не расстался.  
Слава Богу, что я на земле без отчизны остался.

Поздравляю себя!  
Сколько лет проживу, ничего мне не надо.  
Сколько лет проживу,  
столько дам на стакан лимонада.

Столько раз я вернусь — но уже не вернусь — словно  
дом запираю,  
сколько дам я за грусть от кирпичной трубы и  
собачьего лая.

1962



меж нами оставался до утра?  
Зачем не отходил он от костра?  
Зачем он черным воздухом дышал?  
Зачем во тьме он сучьями шуршал?  
Зачем струил он черный свет из глаз?

Он всадника искал себе среди нас.

*28 июня 1962*

Теперь все чаще чувствую усталость,  
все реже говорю о ней теперь.  
О, промыслов души моей кустарность,  
веселая и теплая артель.

Каких ты птиц изобретаешь,  
кому их даришь или продаешь,  
и в современных гнездах обитаешь,  
и современным голосом поешь?

Вернись, душа, и перышко мне вынь,  
пускай о славе радио споет нам.  
Скажи, душа, как выглядела жизнь,  
как выглядела с птичьего полета?

Покуда снег, как из небытия,  
кружит по незатейливым карнизам,  
рисуй о смерти, улица моя,  
а ты, о птица, вскрикивай о жизни.

Вот я иду, а где-то ты летишь,  
уже не слыша сетований наших.  
Вот я живу, а где-то ты кричишь  
и крыльями взволнованными машешь.

*11 декабря 1960 г.*

Все чуждо в доме новому жильцу.  
Поспешный взгляд скользит по всем предметам,  
чьи тени так пришьелцу не к лицу,  
что сами слишком мучаются этим.  
Но дом не хочет больше пустовать.  
И, как бы за нехваткой той отваги,  
замок, не в состояньи узнавать,  
один сопротивляется во мраке.  
Да, сходства нет меж нынешним и тем,  
кто внес сюда шкафы и стол и думал,  
что больше не покинет этих стен,  
но должен был уйти; ушел и умер.  
Ничем уж их нельзя соединить:  
чертой лица, характером, надломом.  
Но между ними существует нить,  
обычно именуемая домом.

1962

## ХОЛМЫ

Вместе они любили  
сидеть на склоне холма.  
Оттуда видны им были  
церковь, сады, тюрьма.  
Оттуда они видали  
заросший травой водоем.  
Сбросив в песок сандалии,  
сидели они вдвоем.

Руками обняв колени,  
смотрели они в облака.  
Внизу у кино калек  
ждали грузовика.  
Мерцала на склоне банка  
возле кустов кирпича.  
Над розовым шпилем банка  
ворона вилась, крича.

Машины ехали в центре  
к бане по трем мостам.  
Колокол звякал в церкви:  
электрик венчался там.  
А здесь на холме было тихо,  
ветер их освежал.  
Кругом ни свистка, ни крика.  
Только комар жужжал.

Трава была там примята,  
где сидели они всегда.  
Повсюду черные пятна —  
оставила их еда.  
Коровы всегда это место

вытирали своим языком.  
Всем это было известно,  
но они не знали о том.

Окурки, спички и вилка  
прикрыты были песком.  
Чернела вдали бутылка,  
отброшенная носком.  
Заслышав едва мычанье,  
они спускались к кустам  
и расходились в молчаньи —  
как и сидели там.

По разным склонам спускались,  
случалось боком ступать.  
Кусты пред ними смыкались  
и расступались опять.  
Скользили в траве ботинки,  
меж камней блестела вода.  
Один достигал тропинки,  
другой в тот же миг пруда.

Был вечер нескольких свадеб  
(кажется, было две).  
Десяток рубах и платьев  
маячил внизу на траве.  
Уже закат унимался  
и тучи к себе манил.  
Пар от земли поднимался,  
а колокол все звонил.

Один, кряхтя, спотыкаясь,  
другой, сигаретой дымя —  
в тот вечер они спускались  
по разным склонам холма.  
Спускались по разным склонам,  
пространство росло меж них.  
Но страшный одновременно  
воздух потряс их крик.

Внезапно кусты распахнулись,  
кусты распахнулись вдруг.  
Как будто они проснулись,  
а сон их был полон мук.

Кусты распахнулись с воем,  
как будто раскрылась земля.  
Пред каждым возникли двое,  
железом в руках шевеля.

Один топором был встречен,  
и кровь потекла по часам,  
другой от разрыва сердца  
умер мгновенно сам.  
Убийцы тащили их в рощу  
(по рукам их струилась кровь)  
и бросили в пруд заросший.  
И там они встретились вновь.

Еще пробирались наощупь  
к местам за столом женихи,  
а страшную весть на площадь  
уж принесли пастухи.  
Вечерней зарей сияли  
стада густых облаков.  
Коровы в кустах стояли  
и жадно лизали кровь.

Электрик бежал по склону,  
и шурин за ним в кустах.  
Невеста внизу обозленно  
стояла одна в цветах.  
Старуха, укрытая пледом,  
крутила пред ней тесьму,  
а пьяная свадьба следом  
за ними неслась к холму.

Сучья под ними трещали,  
они неслись, как в бреду.  
Коровы в кустах мычали  
и быстро спускались к пруду.  
И вдруг все увидели ясно  
(царила вокруг жара):  
чернела в зеленой ряске,  
как дверь в темноту, дыра.

---

Кто их оттуда поднимет,  
достанет со дна пруда?

Смерть, как вода над ними,  
в желудках у них вода.  
Смерть уже в каждом слове,  
в стебле, обвинившем жердь.  
Смерть в зализанной крови,  
в каждой корове смерть.

Смерть в погоне напрасной  
(будто ищут воров).  
Будет отныне красным  
млеко этих коров.  
В красном, красном вагоне,  
с красных, красных путей,  
в красном, красном бидоне —  
красных поить детей.

Смерть в голосах и взорах.  
Смертью полн воротник.  
Так им заплатит город:  
смерть тяжела для них.  
Нужно поднять их, поднять бы.  
Но как превозмочь тоску:  
если убийство в день свадьбы,  
красным быть молоку?

---

Смерть — не скелет кошмарный  
с длинной косой в росе.  
Смерть — это тот кустарник,  
в котором стоим мы все.  
Это не плач похоронный,  
а также не черный бант.  
Смерть — это крик вороний,  
черный — на красный банк.

Смерть — это все машины,  
это тюрьма и сад.  
Смерть — это все мужчины,  
галстуки их висят.  
Смерть — это стекла в бане,  
в церкви, в домах — подряд!  
Смерть — это все, что с нами —  
ибо они — не узрят.

Смерть — это наши силы,  
это наш труд и пот.  
Смерть — это наши жилы,  
наша душа и плоть.  
Мы больше на холм не выйдем,  
в наших домах огни.  
Это не мы их не видим —  
нас не видят они.

---

Розы, герань, гиацинты,  
пионы, сирень, ирис —  
на страшный их гроб из цинка  
— розы, герань, нарцисс,  
лилии, словно из басмы,  
запах их прян и дик,  
левкой, орхидеи, астры,  
розы и сноп гвоздик.

Прошу отнести их к берегу,  
вверить их небесам.  
В реку их бросить, в реку,  
она понесет к лесам.  
К черным лесным протокам,  
к темным лесным домам,  
к мертвым полесским топям,  
вдаль — к балтийским холмам.

Холмы — это наша юность,  
гоним ее, не узнав.  
Холмы — это сотни улиц,  
холмы — это сонм канав.  
Холмы — это боль и гордость.  
Холмы — это край земли.  
Чем выше на них восходишь,  
тем больше их видишь вдали.

Холмы — это наши страданья.  
Холмы — это наша любовь.  
Холмы — это крик, рыданье,  
уходят, приходят вновь.  
Свет и безмерность боли,  
наша тоска и страх,

наши мечты и горе,  
все это — в их кустах.

Холмы — это вечная слава.  
Ставят всегда напоказ  
на наши страдания право.  
Холмы — это выше нас.  
Всегда видны их вершины,  
видны средь кромешной тьмы.  
Присно, вчера и ныне  
по склону движемся мы.  
Смерть — это только равнины.  
Жизнь — холмы, холмы.

1962

Ты поскачешь во мраке,  
по бескрайним холодным холмам,  
вдоль березовых роц,  
отбежавших во тьме к треугольным домам,  
вдоль оврагов пустых,  
по замерзшей траве, по песчаному дну,  
освещенный луной и ее замечая одну.  
Гулкий топот копыт по застывшим холмам —  
это не с чем сравнить,  
это ты там, внизу, вдоль оврагов ты вьешь свою нить,  
там куда-то во тьме от дороги твоей отбегает ручей,  
где на склоне шуршит твоя быстрая тень по спине  
кирпичей.

Ну и скачет же он по замерзшей траве, растворяясь  
впотьмах,  
возникая вдали,  
освещенный луной на бескрайних холмах,  
мимо черных кустов, вдоль оврагов пустых, воздух бьет  
по лицу,  
говоря сам с собой,  
растворяется в черном лесу.  
Вдоль оврагов пустых,  
мимо черных кустов — не отыщется след,  
даже если ты смел  
и вокруг твоих ног завивается свет.  
Все равно ты его никогда, ни за что не сумеешь догнать,  
кто там скачет в холмах,  
я хочу это знать, я хочу это знать.

Кто там скачет, кто мчится под хладною мглой, говорю,  
одиноким лицом обернувшись к лесному царю,

обращаюсь к природе от лица треугольных домов,  
кто там скачет один,  
освященный царицей холмов?  
Но еловая готика русских равнин поглощает ответ,  
из распахнутых окон бьет прекрасный рояль,  
разливается свет,  
кто-то скачет в холмах,  
освященный луной, возле самых небес,  
по застывшей траве, мимо черных кустов.  
Приближается лес.

Между низких ветвей лошадиный сверкнет изумруд.  
Кто стоит на коленях в темноте у бобровых запруд,  
кто глядит на себя, отраженного в черной воде,  
тот вернулся к себе, кто скакал по холмам в темноте.  
Нет, не думай, что жизнь — это замкнутый круг  
небылиц,  
ибо сотня холмов — поразительных круп кобылиц,  
из которых в ночи, но при свете луны, мимо сонных  
округ,  
засыпая, во сне, мы стремительно скачем на юг.

Обращаюсь к природе: это всадники мчатся сквозь  
тьму,  
создавая свой мир по подобию вдруг твоему,  
от бобровых запруд, от холодных костров пустырей  
до громоздких плотин, до безгласной толпы фонарей.  
Все равно — возвращенье! Все равно даже в ритме  
баллад  
есть какой-то разбег, есть какой-то печальный возврат,  
даже если Творец на иконах своих не живет и не спит,  
появляется вдруг сквозь еловый собор что-то вроде  
копыт.

Ты мой лес и вода, кто обедеет, а кто, как сквозняк,  
проникает в тебя, кто глаголет, а кто обиняк,  
кто стоит в стороне, чьи ладони лежат на плече,  
кто лежит в темноте, на спине, в ледящем ручье.  
Не неволь уходить, разбираться во всем не неволь,  
потому что не жизнь, а другая какая-то боль  
приникает к тебе, и уже не слышать, как приходит  
весна,  
лишь вершины во тьме непрерывно шумят, словно  
маятник сна.

## ДВА СОНЕТА

### 1

Великий Гектор стрелами убит.  
Его душа плывет по темным водам,  
шуршат кусты и гаснут облака,  
вдали невнятно плачет Андромаха.

Теперь печальным вечером Аякс  
бредет в ручье прозрачном по колено,  
а жизнь бежит из глаз его раскрытых  
за Гектором, а теплая вода  
уже по грудь, но мрак переполняет  
бездонный взгляд сквозь волны и кустарник,  
потом вода опять ему по пояс,  
тяжелый меч, подхваченный потоком,  
плывет вперед  
и увлекает за собой Аякса.

1961

### 2

*Г. П.*

Мы снова проживаем у залива,  
и проплывают облака над нами,  
и современный тарахтит Везувий,  
и оседает пыль по переулкам,  
и стекла переулков дребезжат.  
Когда-нибудь и нас засыпет пепел.

Так я хотел бы в этот бедный час  
приехать на окраину в трамвае,  
войти в твой дом,  
и если через сотни лет

придет отряд раскапывать наш город,  
то я хотел бы, чтоб меня нашли  
оставшимся навек в твоих объятьях,  
засыпанного новой золой.

**1962**

## ИСААК И АВРААМ

«Идем, Исак. Чего ты встал? Идем».  
«Сейчас иду». — Ответ средь веток мокрых  
ныряет под ночным густым дождем,  
как быстрый плот — туда, где гаснет окрик.

По-русски Исаак теряет звук.  
Ни тень его, ни дух (стрела в излете)  
не рошцут против буквы вместо двух  
в пустых устах (в его последней плоти).  
Другой здесь нет — пойдй ищи-свищи.  
И этой также — капли, крошки, малость.  
Исак вообще огарок той свечи,  
что всеми Исааком прежде звалась.  
И звук вернуть возможно — лишь крича:  
«Исак! Исак!» — и эхо справа, слева:  
«Исак! Исак!» — и в тот же миг свеча  
колеблет ствол, и пламя рвется к небу.

Совсем иное дело — Авраам.  
Холмы, кусты, врагов, друзей составить  
в одну толпу, кладбища, ветки, храм —  
и всех потом к нему воззвать заставить —  
ответа им не будет. Будто слух  
от мозга заслонился стенкой красной  
с тех пор, как он утратил гласный звук  
и странно изменился шум согласной.  
От сих потерь он, вместо града стрел,  
в ответ им шлет молчанье горла, мозга.  
Здесь не свеча — здесь целый куст сгорел.  
Пук хвороста. К чему здесь ведра воска?

«Идем же, Исаак». — «Сейчас иду».  
«Идем быстрее». — Но медлит тот с ответом.

«Чего ты там застрял?» — «Постой». — «Я жду».  
(Свеча горит во мраке полным светом).  
«Идем. Не отставай». — «Сейчас, бегу».  
С востока туч ползет немое войско.  
«Чего ты встал?» — «Глаза полны песку».  
«Не отставай». — «Нет-нет». — «Иди, не бойся».

В пустыне Исаак и Авраам  
четвертый день пешком к пустому месту  
идут одни по всем пустым холмам,  
что зыблются сродни (под ними) тесту.  
Но то песок. Один густой песок.  
И в нем трава (коснись — обрежешь палец),  
чей корень — если б был — давно иссох.  
Она бредет с песком, трава-скиталец,  
Ее ростки имеют бледный цвет.  
И то сказать — откуда брать ей соки?  
В ней, как в песке, ни капли влаги нет.  
На вкус она — сродни лесной осоке.  
Кругом песок. Холмы песка. Поля.  
Холмы песка. Нельзя их счесть, измерить.  
Верней — моря. Внизу, на дне, земля.  
Но в это трудно верить, трудно верить.  
Холмы песка. Барханы — имя им.  
Пустынный свод небес кружит над ними.  
Шагает Авраам. Вослед за ним  
ступает Исаак в простор пустыни.  
Садится солнце, в спину бьет отца.  
Кружит песок. Прибавил ветер скорость.  
Холмы, холмы. И нету им конца.  
«Сынок, дрова с тобою?» — «Вот он, хворост».  
Волна пришла и вновь уходит вспять.  
Как долгий разговор, смолкает сразу,  
от берега отняв песчинку, пядь  
остатком мысли — нет, остатком фразы.  
Но нет здесь берега, только мелкий след  
двух путников рождает сходство с кромкой  
песка прибрежной, — только сбоку нет  
прибрежной пенной ленты — нет, хоть скромной.  
Нет, здесь валы темны, светлы, черны.  
Здесь море справа, слева, сзади, всюду.  
И путники сии — челны, челны,  
вода глотает след, вздымает судно.  
«А трут, отец, с тобою?» — «Вот он, трут».

Не видно против света, смутно эдак...  
Обоих их склоняя, спины трут  
сквозь ткань одежда вязанки темных веток.  
Но Авраам несет еще и мех  
с густым вином, а Исаак в дорогу,  
колодцы встретив, воду брал из всех.  
На что они сейчас похожи сбоку?  
С востока туча застит свод небес.  
Выдергивает ветер пики, иглы.  
Зубчатый фронт, как будто черный лес,  
над Исааком, все стволы притихли.  
Просветы гаснут. Будто в них сошлись  
лесные звери — спины свет закрыли.  
Сейчас они — по вертикали — вниз  
помчат к пескам, раскинут птицы крылья.  
И лес растет. Вершины вверх ползут...  
И путники плывут, как лодки в море.  
Барханы их вниз во тьму несут.  
Разжечь костер им здесь придется вскоре.

Еще я помню: есть одна гора.  
Там есть тропа, цветущих вишен арка  
висит над ней, и пар плывет с утра:  
там озеро в ее подножье, *largo* \*  
волна шуршит и слышен шум травы.  
Тропа пуста, там нет следов часами.  
На ней всегда лежит лишь тень листвы,  
а осенью — ложатся листья сами.  
Крадется пар, вдали блестит мысок,  
беленый ствол грызут лесные мыши,  
и ветви, что всегда глядят в песок,  
склоняются к нему все ближе, ниже.  
Как будто жаждут знать, что стало тут,  
в песке тропы с тенями их родными,  
глядят в упор, и как-то вниз растут,  
сливаясь на тропе навечно с ними.  
Пчела жужжит, блестит озерный круг,  
плывет луна меж тонких веток ночью,  
тень листьев двух, как цифра 8, вдруг  
в безумный счет свергает быстро рошу.  
Внезапно Авраам увидел куст.  
Густые ветви стлались низко-низко.

---

\* Очень медленный музыкальный темп (итал.).

Хоть горизонт, как прежде, был здесь пуст,  
но это означало: цель их близко.  
«Здесь недалеко», — куст шепнул ему  
почти в лицо, но Авраам, однако,  
не подал вида и шагнул во тьму.  
И точно — Исаак не видел знака.  
Он, голову подняв, смотрел туда,  
где обнажались корни чащи мрачной,  
разросшейся над ним — и там звезда  
среди них (корней) зажгла свой свет прозрачный.

Еще одна. Минуя их, вдали  
комки «земли» за «корнем» плыли слепо.  
И наконец они над ним прошли.  
Виденье леса прочь исчезло с неба.  
И только вот теперь он в двух шагах  
заметил куст (к отцу почуяв зависть).  
Он бросил хворост, стал и сжал в руках  
бесцветную листву, в песок уставясь.  
По сути дела, куст похож на все.  
На тень шатра, на грозный взрыв, на ризу,  
на дельты рек, на луч, на колесо —  
но только ось его придется книзу.  
С ладонью сходен, сходен с плотью всей.  
При беглом взгляде ленты вен мелькают.  
С народом сходен — весь его рассея,  
но он со свистом вновь свой ряд смыкает.  
С ладонью сходен, сходен с сотней рук.  
(Со всею плотью — нет в нем только речи,  
но тот же рост, но тот же мир вокруг.)  
Весною в нем повсюду свечи, свечи.  
«Идем скорей». — «Постой». — «Идем». — «Сейчас».  
«Идем, не стой», — (под шапку, как под крышу).  
«Давай скорей», — (упрятать каждый глаз).  
«Идем быстрее. Пошли». — «Сейчас». — «Не слышу».  
Он схож с гнездом, во тьму его птенцы,  
взмахнув крылом зеленым, мчат по свету.  
Он с кровью схож — она во все концы  
стремит свой бег (хоть в нем возврата нету).  
Но больше он всего не с телом схож,  
а схож с душой, с ее путями всеми.  
Движенья в них, в них точно та же дрожь.  
Смыкаются они, а что в их сени?  
Смыкаются и вновь спешат назад.

Пресечь они друг друга здесь не могут.  
Мешаются в ночи, вблизи скользят.  
Изогнуты суставы, лист изогнут.  
Смыкаются и тотчас вспять спешат,  
ныряют в темноту, в пространство, в голость,  
а те, кто жаждет прочь — тотчас трещат  
и падают — и вот он, хворост, хворост.  
И вновь над ними ветер мчит свистя.  
Оставшиеся — вмиг — за первой веткой  
склоняются назад, шурша, хрустя,  
гонимые в клубок пружиной некой.  
Все жаждет жизни в этом царстве чувств:  
как облик их, с кустом пустынным схожий,  
колеблет ветер здесь не темный куст,  
но жизни вид, по всей земле прохожий.  
Не только облик (чувств) — должно быть, весь  
огромный мир — грубей, обширней, тоньше,  
стократ сильней (пышней) — столпился здесь.  
«Эй, Исаак. Чего ты встал? Идем же».  
Кто? Куст. Что? Куст. В нем больше нет корней.  
В нем сами буквы больше слова, шире.  
«К» с веткой схоже, «У» — еще сильней.  
Лишь «С» и «Т» в другом каком-то мире.  
У ветки «К» отростков только два,  
а ветка «У» — всего с одним суставом.  
Но вот урок: пришла пора слова  
учить по форме букв, в ущерб составам.  
«Эй, Исаак!» — «Сейчас, иду. Иду».  
(Внутри него горячий пар скопился.  
Он на ходу поднес кувшин ко рту,  
но поскользнулся, — тот упал, разбился.)  
Ночь. Рядом с Авраамом Исаак  
ступает по барханам в длинном платье.  
Взошла луна, и каждый новый шаг  
сверкает, как серебро в песчаном злате.  
Холмы, холмы. Не видно им конца.  
Не видно здесь нигде предметов твердых.  
Все зыбко, как песок, как тень отца.  
Неясный гул растет в небесных сверлах.  
Блестит луна, синее густо даль.  
Сплошная тень, исчез бесследно ветер.  
«Далеко ль нам, отце?» — «О нет, едва ль», —  
не глядя, Авраам тотчас ответил.  
С бархана на бархан и снова вниз,

по сторонам поспешным шаря взглядом,  
они бредут. Кусты простерлись ниц,  
но всё молчат: они идут ведь рядом.  
Но Аврааму ясно все и так:  
они пришли, он туфлей ямки роет.  
Шуршит трава. Теперь идти пустяк.  
Они себе вот здесь ночлег устроят.  
«Эй, Исаак. Ты вновь отстал. Я жду».  
Он так напряг глаза, что воздух сетчат  
почудился ему — и вот: «Иду.  
Мне показалось, куст здесь что-то шепчет».  
«Идем же». — Авраам прибавил шаг.  
Луна горит. Все небо в ярких звездах  
молчит над ним. Простор звенит в ушах.  
Но это только воздух, только воздух.  
Песок и тьма. Кусты простерлись ниц.  
Все тяжелей влезать им с каждым разом.  
Бредут склонясь. Совсем не видно лиц.  
...И Авраам вязанку бросил наземь.

Они сидят. Меж них горит костер.  
Глаза слезятся, дым клубится едкий,  
а искры прочь летят в ночной простор.  
Ломают Исаак сухие ветки.  
Став на колени, их, склонясь вперед,  
подбросить хочет: пламя стало утлым.  
Но за руку отец его берет:  
«Оставь его, нам хворост нужен утром.  
Нарви травы». — Устало Исаак  
встает и, шевеля с трудом ногами,  
бредет в барханы, где бездонный мрак  
со всех сторон, а сзади гаснет пламя.  
Отломленные ветки мыслят: смерть  
настигла их — теперь уж только время  
разлучит их, не то, что плоть, а твердь;  
однако, здесь их ждет иное бремя.  
Отломленные ветви мертвым сном  
почили здесь — в песке нагретом, светлом.  
Но им еще придется стать огнем,  
а вслед за этим новой плотью — пеплом.  
И лишь когда весь пепел в пыль сотрут  
лавины сих песчаных орд и множеств, —  
тогда они, должно быть, впрямь умрут,  
исчезнув, сгинув, канув, изничтожась.

Смерть разная и эти ветви ждет.  
Отставшая от леса стая волчья  
несется меж ночных пустот, пустот,  
и мечутся во мраке ветви молча.  
Вернулся Исаак, неся траву.  
На пальцы Авраам накинуд тряпку:  
«Подай сюда. Сейчас ее порву».  
И быстро стал крошить в огонь охапку.  
Чуть-чуть светлей. Исчез из сердца страх.  
Затем раздул внезапно пламя ветер.  
«Зачем дрова нам утром?» — Исаак  
потом спросил, и Авраам ответил:  
«Затем, зачем вообще мы шли сюда  
(ты отставал и все спешил вдогонку,  
но так как мы пришли, прошла беда) —  
мы завтра здесь должны закласть ягненка.  
Не видел ты алтарь там, где ходил  
искать траву?» — «Да что там можно видеть?  
Там мрак такой, что я от страха стыл.  
Один песок». — «Ну ладно, хочешь выпить?»  
И вот уж Авраам сжимает мех  
своей рукой, и влага льется в горло;  
глаза же Исаака смотрят вверх:  
там все сильней гудят, сверкая, сверла.  
«Достаточно», — и он отсел к огню,  
отерши рот коротким жестом пьяниц.  
Уж начало тепло склонять ко сну.  
Он поднял взгляд во тьму: — «А где же агнец?»  
Огонь придал неясный блеск глазам,  
услышал он ответ (почти что окрик):  
«В пустыне этой... Бог ягненка сам  
найдет себе... Господь, он сам усмотрит...»  
Горит костер. В глазах отца янтарь.  
Играет взгляд с огнем, а пламя — с взглядом.  
Блестит звезда. Все ближе сонный царь  
подходит к Исааку. Вот он рядом.  
«Там жертвенник давнишний. Сложен он  
давным-давно... Не помню кем, однако».  
Холмы песка плывут со всех сторон,  
как прежде, — будто куст не подал знака.  
Горит костер. Вернее, дым к звезде  
сквозь толщу пепла рвется вверх натужно.  
Уснули все и вся. Покой везде.  
Не спит лишь Авраам. Но так и нужно.

Спит Исаак и видит сон такой:  
Безмолвный куст пред ним ветвями машет.  
Он сам коснуться хочет их рукой,  
но каждый лист пред ним смятенно пляшет.  
Кто: Куст. Что: Куст. В нем больше нет корней.  
В нем сами буквы — больше слова, шире.  
«К» с веткой схоже, «У» — еще сильнее.  
Лишь «С» и «Т» — в другом каком-то мире.  
Пред ним все ветви, все пути души  
смыкаются, друг друга бьют, толпятся.  
В глубоком сне, во тьме, в сплошной тиши  
сгибаются, мелькают, ввысь стремятся.  
И вот пред ним иголку куст вознес.  
Он видит дальше: там, где смутно, мглисто  
тот хворост, что он сам сюда принес,  
срастается с живою веткой быстро.  
И ветви все длинней, длинней, длинней,  
к его лицу листва все ближе, ближе.  
Земля блестит, и пышный куст над ней  
возносится пред ним во тьму все выше.  
Что ж «С» и «Т» — а КУст пронзает хмарь.  
Что ж «С» и «Т» — все ветви рвутся в танец.  
Но вот он понял: «Т» — алтарь, алтарь,  
а «С» на нем лежит, как в путях агнец.  
Так вот что КУСТ» К, У, и С, и Т.  
Порывы ветра резко ветви кренят  
во все концы, но встреча им в кресте,  
где буква «Т» все пять одна заменит.  
Не только «С» придется там уснуть,  
не только «У» делиться после снами.  
Лишь верхней планке стоит вниз скользнуть,  
не буква «Т» — а тотчас КРЕСТ пред нами.  
И ветви, видит он, длинней, длинней.  
И вот они его в себя прияли.

Земля блестит — и он плывет над ней.  
Горит звезда...

На самом деле — дали  
рассвет уже окрасил в желтый цвет,  
и Авраам, ему связавши тело,  
его понес туда, откуда след  
протоптан был сюда, где пламя тлело.  
Весь хворост был туда давно снесен,  
и Исаака он на это ложе

сложил сейчас — и все проникло в сон,  
но как же мало было с явью схоже.  
Он возвратился, сунул шерсть в огонь.  
Та вспыхнула, обдавши руку жаром,  
и тотчас же вокруг поплыла вонь;  
и Авраам свой нож с коротким жалом  
достал (почти оттуда, где уснул  
тот нож, которым хлеб он резал в доме...)  
«Ну что ж, пора», — сказал он и взглянул:  
на чем сейчас лежат его ладони?  
В одной — кинжал, в другой — родная плоть.  
«Сейчас соединю...» — и тут же замер,  
едва пробормотав: «Спаси, Господь» —  
из-за бархана быстро вышел ангел.  
«Довольно, Авраам», — промолвил он,  
и тело Авраама тотчас потным  
внезапно стало, он разжал ладонь,  
нож пал на землю, ангел быстро поднял.  
«Довольно, Авраам. Всему конец.  
Конец всему, и небу то отрадно,  
что ты рискнул, — хоть жертве ты отец.  
Ну, с этим всё. Теперь пойдем обратно.  
Пойдем туда, где все сейчас грустят.  
Пускай они узрят, что в мире зла нет.  
Пойдем туда, где реки все блестят,  
как твой кинжал, но плоть ничью не ранят.  
Пойдем туда, где ждут твой стада  
травы иной, чем та, что здесь; где снится  
твоим шатрам тот день, число когда  
твоих детей с числом песка сравнится.  
Еще я помню: есть одна гора.  
В ее подножьи есть ручей, поляна.  
Оттуда пар ползет вверх с утра.  
Всегда шумит на склоне роща рьяно.  
Внизу трава из русла шумно пьет.  
Приходит ветер — роща быстро гнется.  
Ее листва в сырой земле гниет,  
потом весной опять вверх вернется.  
На том стоит у листьев сходство тут.  
Пройдут года — они не сменят вида.  
Стоят стволы, меж них кусты растут.  
Бескрайних тучверху несется свита.  
И сонмы звезд блестят во тьме ночей,  
небесный свод покрывши часто, густо.

В густой траве шумит волной ручей,  
и пар в ночи растет по форме русла.  
Пойдем туда, где все кусты молчат.  
Где нет сухих ветвей, где птицы свили  
гнездо из трав. А ветви, что торчат  
порой в кострах, — так то с кустов, живые.  
Твой мозг сейчас, как туча, застит мрак.  
Открой глаза — здесь смерти нет в помине.  
Здесь каждый куст — взгляни — стоит, как знак  
стремленья вверх среди равнин пустыни.  
Открой глаза: небесный куст в цвету.  
Взгляни туда: он ждет, чтоб ты ответил.  
Ответь же, Авраам, его листу —  
ответь же мне — идем». Поднялся ветер.  
«Пойдем же, Авраам, в твою страну,  
где плоть и дух с людьми — с людьми родными,  
где все, что есть, живет в одном плену,  
где все, что есть, стократ изменит имя.  
Их больше станет, но тем больший мрак  
от их теней им руки, ноги свяжет.  
Но в каждом слове будет некий знак,  
который вновь на первый смысл укажет.  
Кусты окружают их, поглотит шаг  
трава полей, и лес в родной лазури  
мелькнет, как Авраам, как Исаак.  
Идемте же. Сейчас утихнет буря.  
Довольно, Авраам, испытан ты.  
Я нож забрал — тебе уж он не нужен.  
Холодный свет зари залил кусты.  
Идем же, Исаак почти разбужен.  
Довольно, Авраам. Испытан. Все.  
Конец всему. Все ясно. Кончим. Точка.  
Довольно, Авраам. Открой лицо.  
Достаточно. Теперь все ясно точно».

Стоят шатры, и тьма овец везде.  
Их тучи здесь, — нельзя их счесть. К тому же  
они столпились здесь, как тучи те,  
что отразились тут же рядом в луже.  
Дымят костры, летают сотни птиц.  
Грызутся псы, костей в котлах им вдоволь.  
Стекает пот с горячих красных лиц.  
Со всех сторон несется громкий говор.  
На склонах овцы. Рядом тени туч.

Они ползут навстречу: солнце встало.  
Свергаются ручьи с блестящих круч.  
Верблюды там в тени лежат устало.  
Шумят костры, летают тыщи мух.  
В толпе овец оса жужжит невнятно.  
Стучит топор. С горы глядит пастух:  
шатры лежат в долине, словно пята.  
Сквозь щелку входа виден ком земли.  
Снаружи в щель заметны руки женщин.  
Сочится пыль и свет во все углы.  
Здесь все полно щелей, просветов, трещин.  
Никто не знает трещин, как доска  
(любых пород — из самых прочных, лучших, —  
пускай она толста, длинна, узка),  
когда разлад начнется между сучьев.  
В сухой доске обычно трещин тьма.  
Но это все пустяк, что есть снаружи.  
Зато внутри — смола сошла с ума,  
внутри нее дела гораздо хуже.  
Смола засохла, стала паром вся,  
ушла наружу. В то же время место,  
оставленное ей, ползет, кося, —  
куда, — лишь одному ему известно.  
Вонзаешь нож (надрез едва ль глубок)  
и чувствуешь, что он уж в чьей-то власти.  
Доска его упорно тянет вбок  
и колется внезапно на две части.  
А если ей удастся той же тьмой  
и сучья скрыть, то бедный нож невольно,  
до этих пор всегда такой прямой,  
вдруг быстро начинает резать волны.  
Все трещины внутри сродни кусту,  
сплетаются, толкутся, тонут в спорах,  
одна из них всегда твердит: «расту»,  
и прах смолы пылится в темных порах.  
Снаружи он как будто снегом скрыт.  
Одна иль две — чернеют, словно окна.  
Однако, «вход» в сей дом со «стенкой» слит.  
Поземка намела сучки, волокна.  
От взора скрыт и крепко заперт вход.  
Но нож всегда (внутри, под ней, над нею)  
останется слугою двух господ:  
ладони и доски — и кто сильнее...  
Не говоря о том уж, «в чьих глазах».

Пылится свет, струясь сквозь щелку эту.  
Там, где лежат верблюды, Исаак  
с каким-то пришлецом ведет беседу.  
Дымят костры, летают сотни птиц.  
Кричит овца, жужжит оса невнятно.  
Струится пар с горячих красных лиц.  
Шатры лежат в долине, словно пятна.  
Бредут стада. Торчит могильный дом.  
Журчит ручей, волна траву колышет.  
Он встрепенулся: в воздухе пустом  
он собственное имя снова слышит.  
Он вдаль глядит: пред ним шатры лежат,  
идет народ, с востока туча идет.  
Вокруг костров, как в танце, псы кружат,  
шумят кусты, и вот бугор он видит.  
Стоит жена, за ней шатры, поля.  
В ее руке — зеленой смоквы ветка.  
Она ей машет и зовет царя:  
«Идем же, Исаак». — «Идем, Ревекка».

«Идем, Исак. Чего ты встал? Идем».  
«Сейчас иду», — ответ средь веток мокрых  
ныряет под ночным густым дождем,  
как быстрый плот, — туда, где гаснет окрик.  
«Исак, не отставай». — «Нет, нет, иду».  
(Березка проявляет мощь и стойкость.)  
«Исак, ты помнишь дом?» — «Да-да, найду».  
«Ну, мы пошли. Не отставай». — «Не бойтесь».  
«Идем, Исак». — «Постой». — «Идем». — «Сейчас».  
«Идем, не стой», — (под шапку, как под крышу.)  
«Давай, скорей», — (упрятать каждый глаз.)  
«Идем быстрее. Идем». — «Сейчас». — «Не слышу».  
По-русски Исаак теряет звук.  
Зато приобретает массу качеств,  
которые за «букву вместо двух»  
оплачивают второе, в буквах прячась.  
По-русски «И» — всего простой союз,  
который числа действий в речи множит  
(похожий в математике на плюс),  
однако, он не знает, кто их сложит.  
(Но суммы нам не вложено в уста.  
Для этого на свете нету звука.)  
Что значит «С», мы знаем из КУСТА:  
«С» — это жертва, связанная туго.

А буква «А» — средь этих букв старик,  
союз, чтоб между слов был звук раздельный.  
По существу же — это страшный крик,  
младенческий, прискорбный, вой смертельный.  
И если сдвоить, строить: ААА,  
сложить бы воедино эти звуки,  
которые должны делить слова,  
то в сумме будет вопль страшной муки:  
«Обьяло пламя все суставы «К»  
и к одинокой «А» стремится прямо».  
Но не вздымает нож ничья рука,  
чтоб кончить муку, нет вблизи Абрама.  
Пол-имени еще в устах торчит.  
Другую половину пламя прячет.  
И снова жертва на огне Кричит:  
Вот то, что «ИСААК» по-русски значит.

Дождь барабанит по ветвям, стучит,  
Как будто за оградой кто-то плачет  
невидимый. «Эй, кто там?» — Все молчит.

«Идем, Исак». — «Постой». — «Идем». — «Сейчас».  
«Идем, не стой». Долдонит дождь о крышу.  
«Давай скорей! Вот так с ним каждый раз.  
Идем быстрее! Идем». — «Сейчас». — «Не слышу».

Дождь льется непрерывно. Вниз вода  
несется по стволам, смывает копоть.  
В самой листве весенней, как всегда,  
намного больше солнца, чем должно быть  
в июньских листьях, — лето здесь видней  
вдвойне, — хоть вся трава бледнее летней.  
Но там, где тень листвы висит над ней,  
она уж не уступит той, последней.  
В тени стволов ясней видна земля,  
видней в ней то, что в ярком свете слабо.  
Бесшумный поезд мчится сквозь поля,  
наклонные сначала к рельсам справа,  
а после — слева — утром, ночью, днем,  
бесцветный дым клубами трется оземь —  
и кажется вдруг тем, кто скрылся в нем,  
что мчит он без конца сквозь цифру 8.  
Он режет — по оси — ее венцы,  
что сел, полей, оград, оврагов полны.

По сторонам — от рельс — во все концы  
разрубленные к небу мчатся волны.  
Сквозь цифру 8 — крылья ветряка,  
сквозь лопасти стальных винтов небесных,  
он мчит вперед — его ведет рука,  
и сноп лучей скользит в холмах окрестных.  
Такой же сноп запрятан в нем оком,  
но он с какой-то страстью, страстью жадной,  
в прожекторе охвачен мертвым сном:  
как сноп жгутом, он связан стенкой задней.  
Летит состав, во тьме не видно лиц.  
Зато холмы — холмы вокруг не мнимы,  
и волны от пути то вверх, то вниз  
несутся, как лучи от ламп равнины.  
Дождь хлещет непрерывно. Все блестит.  
Завеса подворотни, окна косит,  
по желобу свергаясь вниз, свистит.  
Намокшие углы дома возносятся.  
Горит свеча всего в одном окне.  
Холодный дождь стучит по тонкой раме.  
Как будто под водой, на самом дне  
трепещет в темноте и жжется пламя.  
Оно горит, хоть все к тому, чтоб свет  
угас бы здесь, чтоб стал незрим, бесплотен.  
Здесь в темноте нигде прохожих нет,  
кирпич стены молчит в окне напротив.  
Двор заперт, дворник запил, ночь пуста.  
Раскачивает дождь замок из стали.  
Горит свеча и виден край листа.  
Засовы, как вода, огонь обстали.  
Задвижек волны, темный вал щеколд,  
на дне — ключи — медузы, в мерном хоре  
поют крюки, защелки, цепи, болт:  
все это — только море, только море.  
И все ж она стремится свой свет во тьму,  
призыв к себе (сквозь дождь, кирпич, сквозь доску).  
К себе ль? — О нет, сплошной призыв к тому,  
что в ней горит. Должно быть, к воску, к воску.  
Забор дощатый. Три замка в дверях.  
В нем нет щелей. Отсюда ключ не вынут.  
Со всех сторон царит бездонный мрак.  
Открой окно — и тотчас волны хлынут.  
Засов гремит и доступ к ней закрыт.  
(Рукой замок в бессильной злобе стисни.)

И все-таки она горит, горит.  
Но пожирает нечто больше жизни.

Пришла лиса, блестят глаза в окне.  
Пред ней стекло, как волны, блики гасит.  
Она глядит — горит свеча на дне  
и длинными тенями стены красит.  
Пришла лиса, глядит из-за плеча.  
Чуть-чуть свистит, и что-то слышно в свисте  
сродни словам. И здесь горит свеча.  
Подсвечник украшают пчелы, листья.  
Повсюду пчелы, крылья, пыль, цветы,  
а в самом центре в медном том пейзаже  
корзина есть, и в ней лежат плоды,  
которые в чеканке меньше даже  
семян из груш.— Но сам язык свечи,  
забыв о том, что можно звать спасеньем,  
дрожит над ней и ждет конца в ночи,  
как летний лист в пустом лесу осеннем.

1963

## 1

Под вечер он видит, застывши в дверях:  
два всадника скачут в окрестных полях,  
как будто по кругу, сквозь рощу и гать,  
и долго не могут друг друга догнать.  
То бросив поводья, поникнув, устав,  
то снова в седле возбужденно привстав,  
и быстро по светлому склону холма,  
то в рощу опять, где сгущается тьма.

Два всадника скачут в вечерней грязи,  
не только от дома, от сердца вблизи,  
друг друга они окликают, зовут,  
небесные рати за рощу плывут.  
И так никогда им на свете вдвоем  
сквозь рощу и гать, сквозь пустой водоем  
не ехать в виду станционных постов,  
как будто меж ними не сотня кустов!

Вечерние призраки — где их следы,  
не видеть двойного им всплеска воды,  
их вновь возвращает себе тишина,  
он знает из окриков их имена.  
По сельской дороге в холодной пыли,  
под черными соснами, в комьях земли,  
два всадника скачут над бледной рекой,  
два всадника скачут: тоска и покой.

## 2

Пустая дорога под соснами спит,  
смолкает за стеклами топот копыт,  
я знаю обоих, я знаю давно:  
так сердце стучит, как им мчаться дано.

Так сердце стучит: за ударом удар,  
с полей наплывает холодный угар,  
и волны сверкают в прибрежных кустах,  
и громко играет любимый состав.

Растаял их топот, а сердце стучит!  
Нисходит на шепот, а все ж не молчит,  
и, значит, они продолжают скакать!  
Способны умолкнуть, не могут — смолкать.

Два всадника мчатся в полночную мглу,  
один за другим, пригибаясь к седлу,  
по рощам и рекам, по черным лесам,  
туда, где удастся им взмыть к небесам.

### 3

Июльской ночью в поселке темно.  
Летит мошкара в золотое окно.  
Горячий приемник звенит на полу,  
И смелый Гиллеспи подходит к столу.

От черной печали до твердой судьбы,  
от шума вначале до ясной трубы,  
от лирики друга до счастья врага  
на свете прекрасном всего два шага.

Я жизни своей не люблю, не боюсь,  
я с весом своим ни за что не борюсь.  
Пусть что угодно вокруг говорят,  
меня беспокоят, его веселят.

У каждой околицы этой страны,  
на каждой ступеньке, у каждой стены,  
в недалеое время, брюнет иль блондин,  
появится дух мой, в двух лицах один.

И просто за смертью, на первых порах,  
хотя бы вот так, как развеянный прах,  
потемки застав над бумагой с утра,  
хоть пылью коснусь дорогого пера.

Два всадника скачут в пространстве ночном,  
кустарник распался в тумане речном,  
то дальше, то ближе, за юной тоской  
несется во мраке прекрасный покой.

Два всадника скачут, их тени парят.  
Над сельской дорогой все звезды горят.  
Копыта стучат по застывшей земле.  
Мужчина и женщина едут во мгле.

*7—9 июня 1962 г.*

Огонь, ты слышишь, начал угасать.  
А тени по углам — зашевелились.  
Уже нельзя в них пальцем указать,  
прикрикнуть, чтоб они остановились.  
Да, воинство сие не слышит слов.  
Построилось в каре, сомкнулось в цепи.  
Бесшумно наступает из углов,  
и я внезапно оказался в центре.  
Все выше снизу взрывы темноты.  
Подобны восклицательному знаку.  
Все гуще тьма слетает с высоты,  
до подбородка комкает бумагу.  
Теперь исчезли стрелки на часах.  
Не только их не видно, но не слышно.  
И здесь остался только блик в глазах,  
застывших неподвижно. Неподвижно.  
Огонь угас. Ты слышишь: он угас.  
Горючий дым под потолком витает.  
Но этот блик — не покидает глаз.  
Вернее, темноты не покидает.

1962



Никто не придет и никто не снимет.  
Стук молотка  
вечным ритмом станет.  
Земля гипербол лежит под ними,  
как небо метафор плывет над нами!

1960

## СТИХИ ПОД ЭПИГРАФОМ

*«То, что дозволено Юпитеру,  
не дозволено быку...»*

Каждый пред Богом  
наг.  
Жалок,  
наг  
и убог.  
В каждой музыке  
Бах,  
В каждом из нас  
Бог.  
Ибо вечность —  
богам.  
Бренность —  
удел быков...  
Богово станет  
нам  
Сумерками богов.  
И надо небом  
рискнуть,  
И, может быть,  
невпопад.  
Еще нас не раз  
распнут  
И скажут потом:  
распад.  
И мы  
завоем  
от ран.  
Потом  
взалкаем даров...  
У каждого свой  
храм.  
И каждому свой  
гроб.

Юродствуй,  
воруй, молись!  
Будь одинок,  
как перст!..  
...Словно быкам — хлыст,  
Вечен богам  
крест.

## ПЕСЕНКА О ФЕДЕ ДОБРОВОЛЬСКОМ

Желтый ветер манчжурский,  
говорящий высоко  
о евреях и русских,  
закопанных в сопку.

О, домов двухэтажных  
тускловатые крыши!  
О, земля-то все та же.  
Только небо — поближе.

Только минимум света.  
Только утлые птицы,  
словно облачко смерти  
над землей экспедиций.

И глядит на Восток,  
закрываясь от ветра,  
черно-белый цветок  
двадцатого века.

## ПРОПЛЫВАЮТ ОБЛАКА

Слышишь ли, слышишь ли ты в роще детское пение,  
над серебряными деревьями звенящие, звенящие  
голоса,  
в сумеречном воздухе пропадающие, затихающие  
постепенно,  
в сумеречном воздухе исчезающие небеса?

Блестящие нити дождя переплетаются среди деревьев  
и негромко шумят, и негромко шумят в белесой траве.  
Слышишь ли ты голоса, видишь ли волосы с красными  
гребнями,  
маленькие ладони, поднятые к мокрой листве?

«Проплывают облака, проплывают облака и гаснут...» —  
это дети поют и поют, черные ветви шумят,  
голоса взлетают между листьев, между стволов  
неясных,  
в сумеречном воздухе их не обнять, не вернуть назад.

Только мокрые листья летят на ветру, спешат из рощи,  
улетают, словно слышат издали какой-то осенний зов.  
«Проплывают облака...» — это дети поют ночью, ночью,  
от травы до вершин все — биение, все — дрожание  
голосов.

Проплывают облака, это жизнь проплывает, проходит.  
Привыкай, привыкай, это смерть мы в себе несем,  
среди черных ветвей облака с голосами, с любовью...  
«Проплывают облака...» — это дети поют обо всем.  
Слышишь ль, слышишь ли ты в роще детское пение,  
блестящие нити дождя переплетаются, звенящие  
голоса,

возле узких вершин в новых сумерках на мгновение  
видишь сызна, видишь сызна угасающие небеса?

Проплывают облака, проплывают, проплывают над  
рощей.  
Где-то льется вода, только плакать и петь, вдоль  
осенних оград,  
все рыдать и рыдать, и смотреть все вверх, быть  
ребенком ночью,  
и смотреть все вверх, только плакать и петь и не знать  
утрат.

Где-то льется вода, вдоль осенних оград, вдоль  
деревьев неясных  
в новых сумерках пенье, только плакать и петь,  
только листья сложить.  
Что-то выше нас. Что-то выше нас проплывает и гаснет,  
только плакать и петь, только плакать и петь, только  
жить.

## А. А. АХМАТОВОЙ

Закричат и захлопочут петухи,  
загрохочут по проспекту сапоги,  
засверкает лошадиный изумруд,  
в одночасье современники умрут.

Запоет над переулком флажолет,  
захохочет над каналом пистолет,  
загремит на подоконнике стекло,  
станет в комнате особенно светло.

И помчатся, задевая за кусты,  
невредимые солдаты духоты  
вдоль постриженных по-новому аллей,  
словно тени яйцевидных кораблей.

Так начнется двадцать первый, золотой,  
на тропинке, красным солнцем залитой,  
на вопросы и проклятия в ответ,  
обволакивая паром этот свет.

Но на Марсовое поле дотемна  
Вы придете одинешенька-одна,  
в синем платье, как бывало уж не раз,  
но навечно, без поклонников, без нас.

Только трубочка бумажная в руке,  
лишь такси за Вами едет вдалеке,  
рядом плещется блестящая вода,  
до асфальта провисают провода.

Вы поднимете прекрасное лицо —  
громкий смех, как поминальное словцо,

звук неясный на нагревшемся мосту —  
на мгновенье взбудоражит пустоту.

Я не видел, не увижу Ваших слез,  
не услышу я шуршания колес,  
уносящих Вас к заливу, к деревьям,  
по отечеству без памятника Вам.

В теплой комнате, как помнится, без книг,  
без поклонников, но также не для них,  
опирая на ладонь свою висок,  
Вы напишете о нас наискосок.

Вы промолвите тогда: «О, мой Господь!  
этот воздух запустевший только плоть  
душ, оставивших призвание свое,  
а не новое творение Твое!»

1962

## СОНЕТ

Прошел январь за окнами тюрьмы,  
и я услышал пенье заключенных,  
звучащее в кирпичном сонме камер:  
«Один из наших братьев на свободе».

Еще ты слышишь пенье заключенных  
и топот надзирателей безгласных,  
еще ты сам поёшь, поёшь безмолвно:  
«Прощай, январь».  
Лицом поверотясь к окну,  
еще ты пьешь глотками теплый воздух,  
а я опять задумчиво бреду  
с допроса на допрос по коридору  
в ту дальнюю страну, где больше нет  
ни января, ни февраля, ни марта.

1962

**Из цикла**

**ФОНТАН**

Садовник в ватнике, как дрозд,  
по лестнице на ветку влез,  
тем самым перекинув мост  
к пернатым от двуногих здесь.

Но, вместо щебетанья, вдруг,  
в лопатках возбуждая дрожь,  
раздался характерный звук:  
звук трения ножа о нож.

Вот в этом-то у певчих птиц  
с двуногими и весь разрыв  
(не меньший, чем в строении лиц)  
что ножницы, как клюв раскрыв,

на дереве в разгар зимы,  
скрипим, а не поем как раз.  
Не слишком ли отстали мы  
от тех, кто «отстает от нас»?

Помножив краткость бытия  
на гнездышки и забытьё  
при пеньи, полагаю я,  
мы место уточним свое.

*18.1.1964*

Скрип телег тем сильней,  
чем больше вокруг теней.  
Сильней, чем дальше они  
от колючей стерни.  
Из колеи в колею  
дерут они глотку свою  
тем громче, чем дальше луг,  
чем гуще листва вокруг.

Вершина голой ольхи  
и желтых берез верхи  
видят, уняв озноб,  
как смотрит связанный сноп  
в чистый небесный свод.  
Опять коряга, и вот  
деревья слышат не птиц,  
а скрип деревянных спиц  
и громкую брань возниц.

1964

## С ГРУСТЬЮ И НЕЖНОСТЬЮ

А. Горбунову

На ужин вновь была лапша, и ты,  
Мицкевич, отодвинув миску,  
сказал, что обойдешься без еды.  
Поэтому и я без риску  
медбратау показаться бунтарем  
последовал чуть позже за тобою  
в уборную, где пробыл до отбоя.  
«Февраль всегда идет за январем.  
А дальше март». Обрывки разговора.  
Сиянье кафеля, фарфора,  
вода звенела хрусталем.

Мицкевич лег, в оранжевый волчок  
оставив свой невидящий зрачок.  
(А может — там судьба ему видна.)  
Бабанов в коридор медбрата вызвал.  
Я замер возле темного окна,  
и за спиною грохал телевизор.  
«Смотри-ка, Горбунов, какой там хвост».  
«А глаз какой». «А видишь там нарост,  
над плавником?» «Похоже на нарыв».  
Так в феврале мы, рты раскрыв,  
таращились в окно на звездных Рыб,  
сдвигая лысоватые затылки,

в том месте, где мокрота на полу.  
Где рыбу подают порой к столу,  
но к рыбе не дают ножа и вилки.

1964

## В РАСПУТИЦУ

Дорогу развезло,  
как реку.  
Я погрузил весло  
в телегу,  
спасательный овал  
намаслив.  
На всякий случай. Стал  
запаслив.

Дорога, как река,  
зараза.  
Мережей рыбака  
тень вяза.  
Коню не до ухи  
под носом.  
Тем более, хи-хи,  
колесам.

Не то чтобы весна,  
но вроде.  
Разброд и кривизна.  
В разброде  
деревни — все подряд  
хромая.  
Лишь полный скуки взгляд —  
прямая.

Орешники скребут  
по борту.  
Спасательный хомут —  
на морду.  
Над яблоней моей,

над серой,  
восьмерка журавлей  
на север.

Воззри сюда, о друг-  
потомок:  
во всеоружьи дуг,  
постромок,  
и двадцати пяти  
от роду,  
пою на полпути  
в природу.

1964

## К СЕВЕРНОМУ КРАЮ

Северный край, укрой.  
И поглубже. В лесу.  
Как смолу под корой,  
спрячь под веком слезу.  
И оставь лишь зрачок,  
словно хвойный пучок  
на грядущие дни.  
И страну заслони.

Нет, не волнуйся зря:  
я превращусь в глухаря,  
и, как перья, на крылья мне лягут  
листья календаря.  
Или спрячусь, как лис,  
от человеческих лиц,  
от собачьего хора,  
от двуствольных глазниц.

Спрячь и зажми мне рот!  
Пусть при взгляде вперед  
мне ничего не встретить,  
кроме желтых болот.  
В их купели сырой  
от взоров нескромных скрой  
след, если след оставлю,  
и в трясину зарой.

Не мой черед умолкать.  
Но пора окликать  
только тех, кто не станет  
облака упрекать  
в красноте, в тесноте.

Пора брести в темноте,  
вторя песней без слов  
частоколу стволов.

Так шуми же себе  
в судебной своей судьбе  
над моей головою,  
присужденной тебе,  
но только рукой (плеча)  
дай мне воды (ручья)  
зачерпнуть, чтоб я понял,  
что только жизнь — ничья.

Не перечь, не порочь.  
Новых гроз не пророчь.  
Оглянись, если сможешь —  
так и уходят прочь:  
идут сквозь толпу людей,  
потом — вдоль рек и полей,  
потом сквозь леса и горы,  
все быстрее, все быстрее.

1964

В деревне Бог живет не по углам,  
как думают насмешники, а всюду.  
Он освящает кровлю и посуду  
и честно двери делит пополам.  
В деревне он в избытке. В чугуне  
он варит по субботам чечевицу,  
приплясывает сонно на огне,  
подмигивает мне, как очевидцу.  
Он изгороди ставит. Выдает  
девицу за лесничего. И в шутку  
устраивает вечный недолет  
объездчику, стреляющему в утку.

Возможность же все это наблюдать,  
к осеннему прислушиваясь свисту,  
единственная, в общем, благодать,  
доступная в деревне атеисту.

1964

Топилась печь. Огонь дрожал во тьме.  
Древесные угли чуть-чуть искрились.  
Но мысли о зиме, о всей зиме,  
каким-то странным образом роились.  
Какой печалью надо обладать,  
чтоб, вместо парка, что за три квартала,  
пейзаж неясный долго вспоминать,  
но знать, что больше нет его; не стало.  
Да, понимать, что все пришло к концу  
тому назад едва ль не за два века,  
— но мыслями блуждать в ночном лесу  
и все не слышать стука дровосека.  
Состоят стволы, стоят кусты в ночи.  
Вдали холмы лежат во тьме угрюмо.  
Луна горит, как весь огонь в печи,  
и жжет стволы. Но только нет в ней шума.

*Ноябрь 1962*

## ОРФЕЙ И АРТЕМИДА

Наступила зима. Песнопевец,  
не сошедший с ума, не умолкший,  
видит след на тропинке волчий  
и, как дятел-краснодеревец,  
забирается на сосну,  
чтоб расширить свой кругозор,  
разглядев получше узор,  
оттеняющий белизну.

Россыпь следов снега  
на холмах испещрила, будто  
в постели красавицы утро  
рассыпало жемчуга.  
Среди полей и дорог  
перепутались нити.  
Не по плечу Артемиде  
их собрать в бугорок.

В скобки берет зима  
жизнь. Ветвей бахрома  
взгляд за собой влечет.  
Новый Орфей за счет  
притаившихся тварей,  
обрывая большой календарь,  
сокращая словарь,  
пополняет свой бестиарий.

1964

## 1 ЯНВАРЯ 1965 ГОДА

Волхвы забудут адрес твой.  
Не будет звезд над головой.  
И только ветра сиплый вой  
расслышишь ты, как встарь.  
Ты сбросишь тень с усталых плеч,  
задув свечу пред тем, как лечь,  
поскольку больше дней, чем свеч  
сулит нам календарь.

Что это? Грусть? Возможно, грусть.  
Напев, знакомый наизусть.  
Он повторяется. И пусть.  
Пусть повторится впредь.  
Пусть он звучит и в смертный час,  
как благодарность уст и глаз  
тому, что заставляет нас  
порою вдаль смотреть.

И, молча глядя в потолок,  
поскольку явно пуст чулок,  
поймешь, что скупость — лишь залог  
того, что слишком стар.  
Что поздно верить чудесам.  
И, взгляд подняв свой к небесам,  
ты вдруг почувствуешь, что сам —  
чистосердечный дар.

## ВЕЧЕРОМ

Снег сено запорошил  
сквозь щели под потолком.  
Я сено разворошил  
и встретился с мотыльком.  
Мотылек, мотылек.  
От смерти себя сберег,  
забравшись на сеновал.  
Выжил, зазимовал.

Выбрался и глядит,  
как «летучая мышь» чадит,  
как ярко освещена  
бревенчатая стена.  
Приблизив его к лицу,  
я вижу его пыльцу  
отчетливей, чем огонь,  
чем собственную ладонь.

Среди вечерней мглы  
мы тут совсем одни.  
И пальцы мои теплы,  
как июньские дни.

1965

## ПОДСВЕЧНИК

Сатир, покинув бронзовый ручей,  
сжимает канделябр на шесть свечей,  
как вещь, принадлежащую ему.  
Но, как сурово утверждает опись,  
он сам принадлежит ему. Увы,  
все виды обладанья таковы.  
Сатир — не исключенье. Посему  
в его мошонке зеленеет окись.

Фантазия подчеркивает явь.  
А было так: он перебрался вплавь  
через поток, в чьем зеркале давно  
шестью ветвями дерево шумело.  
Он обнял ствол. Но ствол принадлежал  
земле. А за спиной уничтожал  
следы поток. Просвечивало дно.  
И где-то щебетала Филомела.

Еще один продлись все это миг,  
сатир бы одиночество постиг,  
ручьям свою ненужность и земле;  
но в то мгновенье мысль его ослабла.  
Стемнело. Но из каждого угла  
«Не умер» повторяли зеркала.  
Подсвечник воцарился на столе,  
пленяя завершенностью ансамбля.

Нас ждет не смерть, а новая среда.  
От фотографий бронзовых вреда  
сатиру нет. Шагнув за Рубикон,  
он затвердел от пейс до гениталий.  
Наверно, тем искусство и берет,

что только уточняет, а не врет,  
поскольку основной его закон,  
бесспорно, независимость деталей.

Зажжем же свечи. Полно говорить,  
что нужно чей-то сумрак озарить.  
Никто из нас другим не властелин,  
хотя поползновения зловещи.  
Не мне тебя, красавица, обнять.  
И не тебе в слезах меня пенять;  
поскольку заливает стеарин  
не мысли о вещах, но сами вещи.

1968

1. Э. Ларионова

Э. Ларионова. Брюнетка. Дочь полковника и машинистки. Взглядом напоминала взгляд на циферблат. Она стремилась каждому помочь. Однажды мы лежали рядом на пляже и крошили шоколад. Она сказала, поглядев вперед — туда, где яхты не меняли галса, — что если я хочу, то я могу. Она любила целоваться. Рот напоминал мне о пещерах Карса. Но я не испугался.

Берегу  
воспоминанье это, как трофей,  
уж на каком-то непонятном фронте  
отбитый у неведомых врагов.  
Любитель сдобных баб, запечный котофей,  
Д. Куликов возник на горизонте,  
на ней женился Дима Куликов.  
Она пошла работать в женский хор,  
а он трубит на номерном заводе.  
Он — этакий костистый инженер...  
А я все помню длинный коридор  
и нашу свалку с нею на комод  
И Дима — некрасивый пионер.  
Куда все делось? Где ориентир?  
И как сегодня обнаружить то, чем  
их ипостаси преобразены?  
В ее глазах таился странный мир,  
еще самой ей непонятный. Впрочем,  
не понятый и в качестве жены.  
Жив Куликов. Я жив. Она — жива.

А этот мир — куда он подевался?  
А может, он их будит по ночам?..  
И я всё бормочу свои слова.  
Из-за стены несутся клочья вальса.  
И дождь шумит по битым кирпичам.

## 2. Олег Поддобрый

Олег Поддобрый. У него отец  
был тренером по фехтованью. Твердо  
он знал все это: выпады, укол.  
Он не был пожирателем сердец.  
Но, как это бывает в мире спорта,  
он из офсайда забивал свой гол.  
Офсайд был ночью. Мать была больна,  
и младший брат вопил из колыбели.  
Олег вооружился топором.  
Вошел отец, и началась война.  
Но вовремя соседи подоспели  
и сына одолели вчетвером.  
Я помню его руки и лицо,  
потом — рапиру с ручкой деревянной.  
Мы фехтовали в кухне иногда.  
Он раздобыл поддельное кольцо,  
плескался в нашей коммунальной ванной...  
Мы бросили с ним школу, и тогда  
он поступил на курсы поваров,  
а я — фрезеровал на «Арсенале».  
Он пек блины в Таврическом саду.  
Мы развлекались переноской дров  
и продавали елки на вокзале  
под Новый Год. Потом он, на беду,  
в компании с какой-то шантрапой  
взял магазин и получил три года.  
Он жарил свою пайку на костре.  
Освободился. Пережил запой.  
Работал на строительстве завода.  
Был, кажется, женат на медсестре.  
Стал рисовать. И будто бы хотел  
учиться на художника. Местами  
его пейзажи походили на —  
на натюрморт. Потом он залетел  
за фокусы с больничными листами.  
И вот теперь — настала тишина.

Я много лет его не вижу. Сам сидел в тюрьме, но там его не встретил. Теперь я на свободе. Но и тут нигде его не вижу.

По лесам он где-то бродит и вдыхает ветер. Ни кухня, ни тюрьма, ни институт не приняли его. И он — исчез. Как Дед Мороз, успев переодеться. Надеюсь, что он жив и невредим. И вот он возбуждает интерес, как остальные персонажи детства. Но больше, чем они, невозвратим.

### 3. Т. Зимина

Т. Зимина; прелестное дитя. Мать — инженер, а батюшка — учетчик. Я, впрочем, их не видел никогда. Была невпечатлительна. Хотя на ней женился пограничный летчик. Но это было после. А беда с ней раньше приключилась. У нее был родственник. Какой-то из райкома. С машиною. А предки жили врозь. У них там было, видимо, свое. Машина — это было незнакомо. Ну, с этого там все и началось. Она переживала. Но потом дела пошли как будто на поправку. Вдали маячил сумрачный грузин. Но вдруг он угодил в казенный дом. Она же — отдала себя прилавку в большой галантерейный магазин. Белье, одеколоны, полотно — ей нравилась вся эта атмосфера, секреты и поклонники подруг. Прохожие таращатся в окно. Вдали — Дом Офицеров. Офицеры, как птицы, с массой пуговиц, вокруг.

Тот летчик, возвратившись из небес, приветствовал ее за миловидность. Он сделал из шампанского салют.

Замужество. Однако, в ВВС  
ужасно уважается невинность,  
возводится в какой-то абсолюте.  
И этот род схоластики виной  
тому, что она чуть не утопилась.  
Нашла уж мост, но грянула зима.  
Канал покрылся коркой ледяной.  
И вновь она к прилавку торопилась.  
Ресницы опушила бахрому.  
На пепельные волосы струит  
сияние неоновая люстра.  
Весна — и у распахнутых дверей  
поток из покупателей бурлит.  
Она стоит и в сумрачное русло  
глядит из-за белья, как Лорелей.

#### 4. Ю. Сандул

Ю. Сандул. Добродушие хорька.  
Мордашка, заострявшаяся к носу.  
Наушничал. Всегда — воротничок.  
Испытывал восторг от козырька.  
Витийствовал в уборной по вопросу,  
прикалывать ли к кителю значок.  
Прикалывал. Испытывал восторг  
вообще от всяких символов и знаков.  
Чтил титулы и звания, до слез.  
Любил именовать себя «физорг».  
Но был старообразен, как Иаков,  
считал своим бичом фурункулез.  
Подвержен был воздействию простуд,  
отсиживался дома в непогоду.  
Дрочил таблицы Брадиса. Тоска.  
Знал химию и рвался в институт.  
Но после школы загремел в пехоту,  
в секретные подземные войска.

Теперь он что-то сверлит. Говорят,  
на «Дизеле». Возможно, и неточно.  
Но точность тут, пожалуй, ни к чему.  
Конечно, специальность и разряд.  
Но, главное, он учится заочно.  
И здесь мы приподнимем бахрому.  
Он в сумерках листает «Сопромат»  
и впитывает Маркса. Между прочим,

такие книги вечером как раз  
особый источают аромат.  
Не хочется считать себя рабочим.  
Охота, в общем, в следующий класс.  
Он в сумерках стремится к рубежам  
иным. Сопротивление металла  
в теории приятнее. О да!  
Он рвется в инженеры, к чертежам.  
Он станет им, во что бы то ни стало.  
Ну, как это... количество труда,  
прибавочная стоимость... прогресс...  
И вся эта схоластика о рынке...  
Он лезет сквозь дремучие леса.  
Женился бы. Но времени в обрез.  
И он предпочитает вечеринки,  
случайные знакомства, адреса.  
«Наш будущий — улыбка — инженер».  
Он вспоминает сумрачную массу  
и смотрит мимо девушек в окно.  
Он одинок на собственный манер.  
Он изменяет собственному классу.  
Быть может, перебарщиваю. Но  
использование класса напрокат  
опаснее мужского вероломства.  
— Грех молодости. Кровь, мол, горяча.—  
Я помню даже искренний плакат  
по поводу случайного знакомства.  
Но нет ни диспансера, ни врача  
от этих деклассированных, чтоб  
себя предохранить от воспаления.  
А если нам эпоха не жена,  
то чтоб не передать такой микроб  
из этого — в другое поколение.  
Такая эстафета не нужна.

## 5. А. Фролов

Альберт Фролов, любитель тишины.  
Мать штемпелем стучала по конвертам  
на почте. Что касается отца,  
он пал за независимость чухны,  
успев продлить фамилию Альбертом,  
но не выдав альбертова лица.

Сын гений свой воспитывал в тиши.  
Я помню эту шишку на макушке:  
он сполз на зоологии под стол,  
не выяснив отсутствия души  
в совместно распатроненной лягушке.  
Что позже обеспечило простор

полету его мыслей, каковым  
он предавался вплоть до института,  
где он вступил с архангелом в борьбу.  
И вот, как согрешивший херувим,  
он пал на землю с облака. И тут-то  
он обнаружил под рукой трубу.

Звук — форма продолженья тишины,  
подобье развивающейся ленты.  
Солируя, он скашивал зрочки  
на раструб, где мерцали, зажжены  
софитами,— пока аплодисменты  
их там не задували — светлячки.

Но то бывало вечером, а днем —  
днем звезд не видно. Даже из колодца.  
Жена ушла, не выстирав носки.  
Старуха-мать заботилась о нем.  
Он начал пить, впоследствии — колоться  
черт знает чем. Наверное, с тоски,

с отчаянья — но дьявол разберет.  
Я в этом, к сожалению, не сведущ.  
Есть и другая, кажется, шкала:  
когда играешь, видишь наперед  
на восемь тактов — ампулы ж, как светоч,  
шестнадцать озаряли... Зеркала

дворцов культуры, где его состав  
играл, вбирали хмуρο и учтиво  
черты, экземой траченные. Но  
потом, перевоспитывать устав  
его за разложение коллектива,  
уволили. И, выдавив: «говно!»

он, словно затухающее «ля»,  
не сделав из дальнейшего маршрута

досужих достояния очес,  
как строчка, что влезает на поля,  
вернее — доводя до абсолюта  
идею увольнения, исчез.

Второго января, в глухую ночь,  
мой теплоход ошвартовался в Сочи.  
Хотелось пить. Я двинул наугад  
по переулкам, уводящим прочь  
от порта к центру, и в разгаре ночи  
набрел на ресторацию «Каскад».

Шел Новый Год. Поддельная хвоя  
свисала с пальм. Вдоль столиков кружился  
грузинский сброд, поющий «Тбилисо».  
Везде есть жизнь, и тут была своя.  
Услышав соло, я насторожился  
и поднял над бутылками лицо.

«Каскад» был полон. Чудом отыскав  
проход к эстраде, в хаосе из лязга  
и запахов я сгорбленной спине  
сказал: «Альберт» и тронул за рукав;  
и страшная, чудовищная маска  
оборотилась медленно ко мне.

Сплошные стружья. Высохшие и  
набрякшие. Лишь слипшиеся пряди,  
нетронутые стружьями, и взгляд  
принадлежали школьнику, в мои,  
как я в его, косившему тетради  
уже двенадцать лет тому назад.

«Как ты здесь оказался в несезон?»  
Сухая кожа, сморщенная в виде  
коры. Зрачки — как белки из дупла.  
«А сам ты как?» «Я, видишь ли, Язон.  
Язон, застрявший на зиму в Колхиде.  
Моя экзема требует тепла...»

Потом мы вышли. Редкие огни,  
небес предотвращавшие с бульваром  
слияние. Квартальный — осетин.  
И даже здесь держащийся в тени

мой провожатый, человек с футляром.  
«Ты здесь один?» «Да, думаю, один».

Язон? Навряд ли. Иов, небеса  
ни в чем не упрекающий, а просто  
сливающийся с ночью на живот  
и смерть... Береговая полоса,  
и острый запах водорослей с Оста,  
незримой пальмы шорохи — и вот

все вдруг качнулось. И тогда во тьме  
на миг блеснуло что-то на причале.  
И звук поплыл, сплетаясь в тишину,  
вдогонку удалявшейся корме.

И я услышал, полную печали,  
«Высокую-высокую луну».

1966—1969

Сумев отгородиться от людей,  
я от себя хочу отгородиться.  
Не изгородь из тесаных жердей,  
а зеркало тут больше пригодится.  
Я озираю хмурые черты,  
щетину, бугорки на подбородке.  
Трельяж для разводящейся четы,  
пожалуй, лучший вид перегородки.  
В него влезают сумерки в окне,  
край пахоты с огромными скворцами  
и озеро — как брешь в стене,  
увенчанной еловыми зубцами.  
Того гляди,  
    что из озерных дыр  
да и вообще — через любую лужу  
сюда ползет посторонний мир.  
Иль этот уползет наружу.

1966

## 1 СЕНТЯБРЯ

День назывался «первым сентября».  
Детишки шли, поскольку — осень, в школу.  
А немцы открывали полосатый  
шлагбаум поляков. И с гуденьем танки,  
как ногтем — шоколадную фольгу,  
разгладили улан.

Достань стаканы  
и выпьем водки за улан, стоящих  
на первом месте в списке мертвецов,  
как в классном списке.

Снова на ветру  
шумят березы и листва ложится,  
как на оброненную конфедератку,  
на кровлю дома, где детей не слышно.  
И тучи с громыханием ползут,  
минуя закатившиеся окна.

1967

## ПОСЛАНИЕ К СТИХАМ

*«Скучен вам, стихи мои, ящик...»  
Кантемир*

Не хотите спать в столе. Прытко  
возражаете: «Быв здраву,  
корчиться в земле суть пытка».  
Отпускаю вас. А что ж? Праву  
на свободу возражать — грех. Мне же  
хватит и других — здесь, мыслю,  
не стихов: грехов. Все реже  
сочиняю вас. Да вот, кислу  
мину позабыл аж даве  
сделать на вопрос: «Как вирши?  
Прибавляете лучей к славе?»  
Прибавляю, говорю. Вы же  
оставляете меня. Что ж! Дай вам  
Бог того, что мне ждать поздно.  
Счастья, мыслю я. Даром,  
что я сам вас сотворил. Розно  
с вами мы пойдем: вы — к людям,  
я — туда, где все будем.

До свидания, стихи. В час добрый.  
Не боюсь за вас; есть средство  
вам перенести путь долгий:  
милые стихи, в вас сердце  
я свое вложил. Коль в Лету  
канет, то скорбеть мне перву.  
Но из двух оправ — я эту  
смело предпочел сему перлу.  
Вы и краше и добрей. Вы тверже  
тела моего. Вы проще  
горьких моих дум, что тоже  
много вам придаст сил, мощи.  
Будут за все то вас, верю,

более любить, чем ноне  
вашего творца. Все двери  
настеж будут вам всегда. Но не  
грустно эдак мне слыть нищу:  
я войду в одне. Вы — в тыщу.

*1967*

## ФОНТАН

Из пасти льва  
струя не журчит и не слышно рыка.  
Гиацинты цветут. Ни свистка, ни крика,  
никаких голосов. Неподвижна листва.  
И чужда обстановка сия для столь грозного лика,  
и нова.

Пересохла уста,  
и гортань проржавела: металл не вечен.  
Просто кем-нибудь наглухо кран заверчен,  
хоронящийся в куцах, в конце хвоста,  
и крапива опутала вентиль. Спускается вечер;

из куста  
сонм теней  
выбегает к фонтану, как львы из чащи.  
Окружают сородича, спящего в центре чаши,  
перепрыгнув барьер, начинают носиться в ней,  
лизжут морду и лапы вождя своего. И, чем чаще,  
тем темней

грозный облик. И вот  
наконец он сливается с ними и резко  
оживает и прыгает вниз. И все общество резво  
убегает во тьму. Небосвод

прячет звезды за тучу, и мыслящий трезво  
назовет

похищенье вождя —  
так как первые капли блестят на скамейке —  
назовет похищенье вождя приближеньем дождя.

Дождь спускает на землю косые линейки,  
строя в воздухе сеть или клетку для львиной семейки  
без узла и гвоздя.

Теплый  
дождь  
моросит.

Как и льву, им гортань  
не остудишь.  
Ты не будешь любим и забыт ты не будешь.  
И тебя в поздний час из земли воскресит,  
если чудищем был ты, компания чудищ.  
Разгласит  
твой побег  
дождь и снег.  
И, не склонный к простуде,  
все равно ты вернешься в сей мир на ночлег.  
Ибо нет одиночества больше, чем память о чуде.  
Так в тюрьму возвращаются в ней побывавшие люди  
и голубки — в ковчег.

1967

На Прачечном мосту, где мы с тобой  
уподоблялись стрелкам циферблата,  
обнявшись в двенадцать перед тем,  
как не на сутки, а навек расстаться,  
— сегодня здесь, на Прачечном мосту,  
рыбак, страдая комплексом Нарцисса,  
таращится, забыв о поплавке,  
на зыбкое свое изображение.

Река его то молодит, то старит.  
То проступают юные черты,  
то набегают на чело морщины.  
Он занял наше место. Что ж, он прав!  
С недавних пор все то, что одиноко,  
символизирует другое время;  
а это — ордер на пространство.

Пусть  
он смотрится спокойно в наши воды  
и даже узнает себя. Ему  
река теперь принадлежит по праву,  
как дом, в который зеркало внесли,  
но жить не стали.

1968

## ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ В ЯЛТЕ

Сухое левантинское лицо,  
упрятанное оспинками в бачки,  
когда он ищет сигарету в пачке,  
на безымянном тусклое кольцо  
внезапно преломляет двести ватт,  
и мой хрусталик вспышки не выносит;  
я жмурюсь — и тогда он произносит,  
глотаая дым при этом, «виноват».

Январь в Крыму. На черноморский берег  
зима приходит как бы для забавы:  
не в состояньи удержаться снег  
на лезвиях и остриях агавы.  
Пустуют рестораны. Дымят  
ихтиозавры грязные на рейде,  
и прелых лавров слышен аромат.  
«Налить вам этой мерзости?» «Налейте».

Итак — улыбка, сумерки, графин.  
Вдали буфетчик, стискивая руки,  
дает круги, как молодой дельфин  
вокруг хамсой заполненной фелюки.  
Квадрат окна. В горшках — желтофиоль.  
Снежинки, проносящиеся мимо.  
Остановись, мгновенье! Ты не столь  
прекрасно, сколько ты неновторимо.

*Январь, 1969 г.*

**из цикла**

**ОСТАНОВКА В ПУСТЫНЕ**

## СТИХИ НА СМЕРТЬ Т. С. ЭЛИОТА

### I

Он умер в январе, в начале года.  
Под фонарем стоял мороз у входа.  
Не успевала показать природа  
ему своих красот кордебалет.  
От снега стекла становились уже.  
Под фонарем стоял глашатай стужи.  
На перекрестках замерзали лужи.  
И дверь он запер на цепочку лет.

Наследство дней не упрекнет в банкротстве  
семейство муз. При всем своем сиротстве,  
поэзия основана на сходстве  
бегущих вдаль однообразных дней.  
Плеснув в зрачке и растворившись в лимфе,  
она сродни лишь эолийской нимфе,  
как друг Нарцисс. Но в календарной рифме  
она другим наверняка видней.

Без злых гримас, без промышленья злого,  
из всех щедрот Большого Каталога  
смерть выбирает не красоты слога,  
а неизменно самого певца.  
Ей не нужны поля и перелески,  
моря во всем великолепном блеске;  
она щедра, на небольшом отрезке,  
себе позволив накапливать сердца.

На пустырях уже пылали елки,  
и выметались за порог осколки,  
и водворялись ангелы на полке.  
Католик, он дожил до Рождества.  
Но, словно море в шумный час прилива,

за волнолом плеснувши, справедливо  
назад вбирает волны — торопливо  
от своего ушел он торжества.

Уже не Бог, а только Время, Время  
зовет его. И молодое племя  
огромных волн его движенья бремя  
на самый край цветущей бахромы  
легко возносит и, простившись, бьется  
о край земли. В избытке сил смеется.  
И январем его залив вдается  
в ту сушу дней, где остаемся мы.

## II

Читающие в лицах, маги, где вы?  
Сюда. И поддержите ореол:  
две скорбные фигуры смотрят в пол.  
Они поют. Как схожи их напевы!  
Две девы — и нельзя сказать, что девы.  
Не страсть, а боль определяет пол.  
Одна похожа на Адама впол-  
оборота, но прическа — Евы...

Склоняя лица сонные свои,  
Америка, где он родился, и  
и Англия, где умер он, унылы,  
стоят по сторонам его могилы.  
И туч плывут по небу корабли.

Но каждая могила — край земли.

## III

Аполлон, сними венок,  
положи его у ног  
Элиота, как предел  
для бессмертья в мире тел.

Шум шагов и лиры звук  
будет помнить лес вокруг.  
Будет памяти служить  
только то, что будет жить.

Будет помнить лес и дол.  
Будет помнить сам Эол.  
Будет помнить каждый знак,  
как хотел Гораций Флакк.

Томас Стернс, не бойся коз!  
Безопасен сенокос.  
Память — если не гранит —  
одуванчик сохранит.

Так любовь уходит прочь.  
Навсегда. В чужую ночь.  
Прерывая крик, слова.  
Став незримой, хоть жива.

Ты ушел к другим. Но мы  
называем царством тьмы  
этот край, который скрыт.  
Это ревность так велит!

Будет помнить лес и луг.  
Будет помнить все вокруг.  
Словно тело — мир не пуст —  
помнит ласку рук и уст.

12.I.1965

## ОДНОЙ ПОЭТЕССЕ

Я заражен нормальным классицизмом.  
А вы, мой друг, заражены сарказмом.  
Конечно, просто сделаться капризным,  
по ведомству акцизному служа.  
К тому ж, вы звали этот век железным.  
Но я не думал, говоря о разном,  
что зараженный классицизмом трезвым,  
я сам гулял по острию ножа.

Теперь конец моей и вашей дружбе.  
Зато — начало многолетней тяжбе.  
Теперь и вам продвинуться по службе  
мешает Бахус, но никто другой.  
Я оставляю эту ниву тем же,  
каким взошел я на нее, но так же  
я затвердел, как Геркуланум в пемзе,  
и я для вас не шевельну рукой.

Оставим счеты. Я давно в неволе.  
Картофель ем и сплю на сеновале.  
Могу прибавить, что теперь на воре  
уже не шапка — лысина горит.  
Я эпигон, я попугай. Не вы ли  
жизнь попугая от себя скрывали?  
Когда мне вышли от закона вилы,  
я вашим прорицаньем был согрет.

Служенье Муз чего-то там не терпит.  
Зато само обычно так торопит,  
что по рукам бежит священный трепет,  
и несомненна близость Божества.  
Один певец приготовляет рапорт,

другой — рождает приглушенный ропот,  
а третий знает, что он сам — лишь рупор,  
и он срывает все цветы родства.

И скажет смерть, что не поспеть сарказму  
за силой жизни. Проницая призму,  
способен он лишь увеличить плазму,  
ему, увы, не озарить ядра.

И вот, столь долго состоя при Музах,  
я отдал предпочтенье классицизму,  
хоть я и мог, как старец в Сиракузах,  
взирать на мир из глубины ведра.

Оставим счеты. Вероятно, слабость.  
Я, предвкушая ваш сарказм и радость,  
в своей глуши благословляю разность:  
жужжанье ослепительной осы  
в простой ромашке вызывает робость.  
Я сознаю, что предо мною пропасть.  
И крутится сознание, как лопасть  
вокруг своей негнущейся оси.

Сапожник строит сапоги. Пирожник  
сооружает крендель. Чернокнижник  
листает толстый фолиант. А грешник  
усугубляет, что ни день, грехи.  
Влекут дельфины по волнам треножник,  
и Аполлон обзревает ближних —  
в конечном счете, безгранично внешних.  
Шумят леса, и небеса глухи.

Уж скоро осень. Школьные тетради  
лежат в портфелях. Чаровницы, вроде  
вас, по утрам укладывают пряди  
в большой пучок, готовясь к холодам.  
Я вспоминаю эпизод в Тавриде,  
наш обоюдный интерес к природе,  
всегда в ее дикорастущем виде;  
и удивляюсь, и грущу, мадам.

1965

г. Норенская

## ДВА ЧАСА В РЕЗЕРВУАРЕ

*«Мне скушно, бес...»*

*А. С. Пушкин*

### I

Я есть антифашист и антифауст.  
Их либе жизнь и обожаю хаос.  
Их бин хотеть, геноссе официрен,  
дем цайт цум Фауст коротко шпацирен.

### II

Не подчиняясь польской пропаганде,  
он в Кракове грустил о Фатерлянде,  
мечтал о философском диаманте  
и сомневался в собственном таланте.  
Он поднимал платочки женщин с пола.  
Он горячился по вопросам пола.  
Играл в команде факультета в поло.

Он изучал картежный катехизис  
и познавал картезианства сладость.  
Потом полез в артезианский кладезь  
эгоцентризма. Боевая хитрость,  
которой отличался Клаузевиц,  
была ему, должно быть, незнакома,  
поскольку фатер был краснодеревец.

Цумбайшпиль, бушевала глаукома,  
чума, холера унд туберкулезен.  
Он защищался шварце папиросен.  
Его влекли цыгане или мавры.  
Потом он был помазан в бакалавры.  
Потом снискал лиценциата лавры  
и пел студентам: «Кембрий... Динозавры...»

Немецкий человек. Немецкий ум.

Тем более, когито эрго сум.  
Германия, конечно, юбер аллес.  
(В ушах звучит знакомый венский вальс.)  
Он с Краковом простился без надрыва  
и покатил на дрожках торопливо  
за кафедрой и честной кружкой пива.

### III

Сверкает в тучах месяц-молодчина.  
Огромный фолиант. Над ним — мужчина.  
Чернеет меж густых бровей морщина.  
В глазах — арабских кружев чертовщина.  
В руке дрожит кордовский черный грифель,  
в углу — его рассматривает в профиль  
арабский председатель Меф-ибн-Стофель.

Пылают свечи. Мышь скребет под шкафом.  
«Герр доктор, полночь». «Яволь, шлафен, шлафен».  
Две черных пасти произносят: «мяу».  
Неслышно с кухни входит идиш фрау.  
В руках ее шипит омлет со шпеком.  
Герр доктор чертит адрес на конверте:  
«Готт штрафе Ингланд, Лондон, Фрэнсис Бэкон».

Приходят и уходят мысли, черти.  
Приходят и уходят гости, годы...  
Потом не вспомнить платья, слов, погоды.  
Так проходили годы шито-крыто.  
Он знал арабский, но не знал санскрита.  
И с опозданием, гей, была открыта  
им айне кляйне фройляйн Маргарита.

Тогда он написал в Каир депешу,  
в которой отказал он черту душу.  
Приехал Меф, и он переоделся.  
Он в зеркало взглянул и убедился,  
что навсегда теперь переродился.  
Он взял букет и в будуар девицы  
отправился. Унд вени, види, вици.

### IV

Их либе ясность. Я. Их либе точность.  
Их бин просить не видеть здесь порочность.

Ви намекайт, что он любил цветочниц?  
Их понимайт, что дас ист ганце срочность.  
Но эта сделка махт дер гроссе минус.  
Ди тойчно шпрахе, махт дер гроссе синус:  
Душа и сердце найн гехапт на вынос.

От человека, аллес, ждять напрасно:  
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно».  
Меж нами дьявол бродит ежечасно  
и поминутно этой фразы ждет.  
Однако человек, майн либе геррен,  
настолько в сильных чувствах не уверен,  
что поминутно лжет, как сивый мерин,  
но, словно Гете, маху не дает.

Унд гроссер дихтер Гете дал описку,  
чем весь сюжет подверг а ганце риску.  
И Томас Манн сгубил свою подписку,  
а шер Гуно смутил свою артистку.  
Искусство есть искусство есть искусство...  
Но лучше петь в раю, чем врать в концерте.  
Ди Кунст гехапт потребность в правде чувства.

В конце концов, он мог бояться смерти.  
Он точно знал, откуда взялись черти.  
Он съел дер дог в Ибн-Сине и в Галене.  
Он мог дас вассер осушить в колене.  
И возраст мог он указать в полене.  
Он знал, куда уходят звезд дороги.

Но доктор Фауст ницц не знал о Боге.

## V

Есть мистика. Есть вера. Есть Господь.  
Есть разница меж них. И есть единство.  
Одним вредит, других спасает плоть.  
Неверье — слепота, а чаще — свинство.

Бог смотрит вниз. А люди смотрят вверх.  
Однако интерес у всех различен.  
Бог органичен. Да. А человек?  
А человек, должно быть, ограничен.

У человека есть свой потолок,  
держась вообще не слишком твердо.  
Но в сердце льстец всегда отыщет уголок,  
и жизнь уже видна не дальше черта.

Таков был доктор Фауст. Таковы  
Марло и Гете, Томас Манн и масса  
певцов, интеллигентов унд, увы,  
читателей в среде другого класса.

Один поток сметает их следы,  
их колбы, — доннерветтер! — мысли узы...  
И дай им Бог успеть спросить: «куды!»  
И услышать, что вслед им крикнут Музы.

А честный немец сам дер вег цурюк,  
не станет ждать, когда его попросят.  
Он вальтер достает из теплых брюк  
и навсегда уходит в вальтер-клозет.

## VI

Фроляйн, скажите: вас ист дас «инкубус?»  
Инкубус дас ист айне кляйне глобус.  
Нох гроссер дихтер Гете задал ребус!  
Унд ивиковы злые журавли,  
из веймарского выпорхнув тумана,  
ключ выхватили прямо из кармана.  
И не спасла нас зоркость Эккермана.  
И мы теперь, матрозен, на мели.

Есть истинно духовные задачи.  
А мистика есть признак неудачи  
в попытке с ними справиться. Иначе  
их бин не стоит это толковать.  
Цумбайшпиль, потолок — преддверье крыши.  
Поэмой больше, человеком-нищше.  
Я вспоминаю Богоматерь в нише,  
обильный фриштик, поданный в кровать.

Опять Зептембер. Скука. Полнолуние.  
В ногах мурлычет серая колдунья.  
А под подушку положил колун я.  
Сейчас бы шнапсу... это... апгемахт!  
Яволь, Зептембер. Портится характер.

Буксует в поле тарахтящий трактор.  
Их либе жизнь и «Фелькиш Беобахтер».  
Гут нахт, майн либер геррен. Я, гут нахт.

8 сентября 1965  
г. Норенская

## ОСТАНОВКА В ПУСТЫНЕ

Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре есть что-то безнадежное. А впрочем, концертный зал на тыщу с лишним мест не так уж безнадежен: это — храм, и храм искусства. Кто же виноват, что мастерство вокальное дает сбор больший, чем знамена веры? Жаль только, что теперь издалека мы будем видеть не нормальный купол, а безобразно плоскую черту. Но что до безобразия пропорций, то человек зависит не от них, а чаще от пропорций безобразья.

Прекрасно помню, как ее ломали. Была весна, и я как раз тогда ходил в одно татарское семейство, неподалеку жившее. Смотрел в окно и видел Греческую церковь. Все началось с татарских разговоров; а после в разговор вмешались звуки, сливавшиеся с речью поначалу, но вскоре — заглушившие ее. В церковный садик въехал экскаватор с подвешенной к стреле чугунной гирей. И стены стали тихо поддаваться. Смешно не поддаваться, если ты стена, а пред тобою — разрушитель.

К тому же, экскаватор мог считать ее предметом неодушевленным и, до известной степени, подобным себе. А в неодушевленном мире не принято давать друг другу сдачи. Потом — туда согнали самосвалы, бульдозеры... И как-то в поздний час сидел я на развалинах абсиды. В провалах алтаря зияла ночь. И я — сквозь эти дыры в алтаре — смотрел на убежавшие трамваи, на вереницу тусклых фонарей. И то, чего вообще не встретишь в церкви, теперь я видел через призму церкви.

Когда-нибудь, когда не станет нас, точнее — после нас, на нашем месте возникнет тоже что-нибудь такое, чему любой, кто знал нас, ужаснется. Но знавших нас не будет слишком много. Вот так, по старой памяти, собаки на прежнем месте задирают лапу. Ограда снесена давным-давно, но им, должно быть, грезится ограда. Их грезы перечеркивают явь. А может быть земля хранит тот запах: асфальту не осилить запах псины. И что им этот безобразный дом! Для них тут садик, говорят вам — садик. А то, что очевидно для людей, собакам совершенно безразлично. Вот это и зовут: «собачья верность». И если довелось мне говорить всерьез об эстафете поколений, то верю только в эту эстафету. Вернее, в тех, кто ощущает запах.

Так мало нынче в Ленинграде греков, да и вообще — вне Греции — их мало. По крайней мере, мало для того, чтоб сохранить сооруженья веры. А верить в то, что мы сооружаем, от них никто не требует. Одно, должно быть, дело нацию крестить,

а крест нести — уже совсем другое.  
У них одна обязанность была.  
Они ее исполнить не сумели.  
Непаханное поле заросло.  
«Ты, сеятель, храни свою соху,  
а мы решим, когда нам колоситься».  
Они свою соху не сохранили.

Сегодня ночью я смотрю в окно  
и думаю о том, куда зашли мы?  
И от чего мы больше далеки:  
от православья или эллинизма?  
К чему близки мы? Что там впереди?  
Не ждет ли нас теперь другая эра?  
И если так, то в чем наш общий долг?  
И что должны мы принести ей в жертву?

1966

## ПРОЩАЙТЕ, МАДМУАЗЕЛЬ ВЕРОНИКА

### I

Если кончу дни под крылом голубки,  
что вполне реально, раз мясорубки  
становятся роскошью малых наций —  
после множества комбинаций  
Марс перемещается ближе к пальмам;  
а сам я мухи не трону пальцем  
даже в ее опогей, в июле —  
словом, если я не умру от пули,  
если умру в постели, в пижаме,  
ибо принадлежу к великой державе,

### II

то лет через двадцать, когда мой отпрыск,  
не сумев отоварить лавровый отблеск,  
сможет сам зарабатывать, я осмелюсь  
бросить свое семейство — через  
двадцать лет, окружен опекой  
по причине безумия, в дом с аптекой  
я приду пешком, если хватит силы,  
за единственным, что о тебе в России  
мне напомнит. Хоть против правил  
возвращаться за тем, что другой оставил.

### III

Это в сфере нравов сочтут прогрессом.  
Через двадцать лет я приду за креслом,  
на котором ты предо мной сидела  
в день, когда для Христова тела  
завершались распятья муки —  
в пятый день Страстной ты сидела, руки

скрестив, как Буонапарт на Эльбе.  
И на всех перекрестках белели вербы.  
Ты сложила руки на зелень платья,  
не рискуя их раскрывать в объятья.

#### IV

Данная поза, при всей приязни,  
это лучшая гемма для нашей жизни.  
И она отнюдь не недвижность. Это —  
апофеоз в нас самих предмета,  
замена смиренья простым покоем.  
То есть, новый вид Христианства, коим  
долг дорожить и стоять на страже  
тех, кто, должно быть, способен даже,  
когда придет Гавриил с трубою,  
мертвый предмет продолжать собою!

#### V

У пророков не принято быть здоровым.  
Прорицатели в массе увечны. Словом,  
я не более зряч, чем назонов Калхас.  
Потому — прорицать все равно, что кактус  
или львиный зев подносить к забралу.  
Все равно, что учить алфавит по Брайлю.  
Безнадежно. Предметов, по крайней мере,  
на тебя похожих, наощупь в мире,  
что называется, кот наплакал.  
Каковы твои жертвы, таков оракул.

#### VI

Ты, несомненно, простишь мне этот  
гаерский тон. Это — лучший метод  
сильные чувства спасти от массы  
слабых. Греческий принцип маски  
снова в ходу. Ибо в наше время  
сильные гибнут. Тогда как племя  
слабых плодится, и врозь, и оптом.  
Прими же сегодня, как мой постскрипtum  
к теории Дарвина, столь пожухлой,  
эту новую правду джунглей.

## VII

Через двадцать лет — ибо легче вспомнить то, что отсутствует, чем восполнить это чем-то иным снаружи.  
Ибо отсутствие права хуже,  
чем твое отсутствие — новый Гоголь,  
насмотреться сумею, бесспорно, вдоволь,  
без оглядки вспять, без былой опаски,—  
как волшебный фонарь Христовой Пасхи  
оживляет под звуки воды из крана  
спинку кресла пустого, как холст экрана.

## VIII

В нашем прошлом величье, в грядущем — проза  
Ибо с кресла пустого не больше спроса,  
чем с тебя, в нем сидевшей Ла Гарды тише,  
руки сложив, как писал я выше.  
Впрочем, в сумме своей наших дней объятья  
много меньше раскинутых рук распятыя.  
Так что эта находка певца хромого  
сейчас, на Страстной Шестьдесят Седьмого,  
предо мной маячит подобьем вето  
на прыжки в девяностые годы века.

## IX

Если меня не спасет та птичка,  
то есть, если она не снесет яичка  
и в сем лабиринте без Ариадны  
(ибо у смерти есть варианты,  
предвидеть которые — тоже доблесть)  
я останусь один и, увы, сподоблюсь  
холеры, доноса, отправки в лагерь —  
то если только не ложь, что Лазарь  
был воскрешен, то я сам воскресну.  
Тем скорее, знаешь, приближусь к креслу.

## X

Впрочем, спешка глупа и греховна. *Vale!* \*  
То есть некуда так поспешать. Едва ли

---

\* Будь здоров! (Прощай!) (Лат.)

может крепкому креслу грозить погибель.  
Ибо у нас, на Востоке, мебель  
служит трем поколениям кряду.  
А я исключаю пожар и кражу.  
Страшней, что смешать его могут с кучей  
других при уборке. На этот случай  
я даже сделать готов зарубки,  
изобразив голубка́ голубки.

## XI

Пусть теперь кружит, как пчелы ульев,  
по общим орбитам столов и стульев  
кресло твое по ночной столовой.  
Клеймо — не позор, а основа новой  
астрономии, что — перейдем на шепот —  
подтверждает армейско-тюремный опыт:  
заклейменные вещи — источник твердых  
взглядов на мир у живых и мертвых.  
Так что мне не взирать, как в подобны лица,  
на похожие кресла с тоской Улисса.

## XII

Я не сборщик реликвий. Подумай, если  
эта речь длинновата, что речь о кресле  
только повод проникнуть в другие сферы.  
Ибо от всякой великой веры  
остаются, как правило, только мощи.  
Так суди же о силе любви, коль вещи,  
те, к которым ты прикоснулась ныне,  
превращаю — при жизни твоей — в святыни.  
Посмотри: доказуют такие нравы  
не величье певца, но его державы.

## XIII

Русский орел, потеряв корону,  
напоминает сейчас ворону.  
Его, горделивый недавно, клекот  
теперь превратился в картавый рокот.  
Это — старость орлов или — голос страсти,  
обернувшейся следствием, эхом власти.  
И любовная песня — немногим тише.

Любовь — имперское чувство. Ты же  
такова, что Россия, к своей удаче,  
говорить не может с тобой иначе.

#### XIV

Кресло стоит и вбирает теплый  
воздух прихожей. В стояк за каплей  
падает капля из крана. Скромно  
стрекочет будильник под лампой. Ровно  
падает свет на пустые стены  
и на цветы у окна, чьи тени  
стремятся за раму продлить квартиру.  
И вместе все создает картину  
того в этот миг — и вдали, и возле —  
как было до нас. И как будет после.

#### XV

Доброй ночи тебе, да и мне — не бденья.  
Доброй ночи стране моей для сведенья  
личных счетов со мной пожелай отсюда,  
где посредством верст или просто чуда  
ты превратишься в почтовый адрес.  
Деревья шумят за окном, и абрис  
крыш представляет границу суток...  
В неподвижном теле порой рассудок  
открывает в руке, как в печи, заслонку.  
И перо за тобою бежит вдогонку.

#### XVI

Не догонит!.. Поелику ты как облак.  
То есть, облик девы, конечно, облик  
души для мужчины. Не так ли, Муза?  
В этом причина и смерть союза.  
Ибо души — бесплотны. Ну что ж. Тем дальше  
ты от меня. Не догонит!.. Дай же  
на прощание руку. На том спасибо.  
Величава наша разлука, ибо  
навсегда расстаемся. Смолкает цитра.  
Навсегда — не слово, а вправду цифра,

чьи нули, когда мы зарастем травой,  
перекроют эпоху и век с лихвою.

1967

# **ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ**

## ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ

### I

«Ну, что тебе приснилось, Горбунов?»  
«Да, собственно, лисички». «Снова?» «Снова».  
«Ха-ха, ты насмешил меня, нет слов».  
«А я не вижу ничего смешного.  
Врач говорит: основа всех основ —  
нормальный сон». «Да ничего дурного  
я не хотел... хоть сон того, не нов».  
«А что попишешь, если нет иного?»  
«Мы, ленинградцы, видим столько снов,  
а ты никак из этого, грибного,

не вырвешься». «Скажи мне, Горчаков,  
а что вам, ленинградцам, часто снится?»  
«Да как когда... Концерты, лес смычков.  
Проспекты, переулки. Просто лица.  
(Сны состоят как будто из клочков).  
Нева, мосты. А иногда — страница,  
и я ее читаю без очков!  
(Их отбирает перед сном сестрица)».  
«Да, этот сон сильнее моих зрачков!»  
«Ну что ты? Часто снится и больница».

«Не нужно жизни. Знай себе смотри.  
Вот это сон! И вправду день не нужен.  
Такому сну мешает свет зари.  
И как, должно быть, злишься ты, разбужен...  
Проклятие, Мицкевич! Не ори!..  
Держу пари, что я проспал бы ужин».  
«Порой мне также снятся снегири.  
Порой ребенок прыгает по лужам.  
И это — я...» «Ну что ж ты, говори.  
Чего ж ты смолк?» «Я, кажется, простужен.

Тебе зачем всё это?» «Просто так».  
«Ну вот, я говорю, мне снится детство.  
Мы с пацанами лезем на чердак.  
И снится старость. Никуда не деться  
от старости... Какой-то кавардак:  
старик, мальчишка...» «Грустное соседство».  
«Ну, Горбунов, какой же ты протак!  
Ведь эти сновиденья только средство  
ночь провести поинтересней». «Как?!»  
«Чтоб ночью дня порастрясти наследство».

«Ты говоришь «наследство»? Вот те на!  
Позволь, я обращусь к тебе с вопросом:  
а как же старость? Старость не видна.  
Когда ж это ты был седоволосым?»  
«Зачем хрипит Бабанов у окна?  
Зачем Мицкевич вертится под носом?  
На что же нам фантазия дана?  
И вот воображеньем, как насосом,  
я втягиваю старость в царство сна».

«Но, Горчаков, тогда, прости, не ты,  
не ты себе приснишься». «Истуканов  
тебе подобных просто ждут Кресты,  
и там не выпускают из стаканов!  
А кто ж мне снится? Что молчишь? В кусты?»  
«Гор-кевич. В лучшем случае, Гор-банов».  
«Ты спятил, Горбунов!» «Твои черты,  
их — седина; таких самообманов  
полно и наяву до тошноты».  
«Ходить тебе в пижаме без карманов».

«Да я и так в пижаме без кальсон».  
«Порой мне снится печка, головешки...»  
«Да, Горчаков, вот это сон так сон!  
Проспекты, разговоры. Просто вещи.  
Рояль, поющий скрипке в унисон.  
И женщины. И, может, что похлеще».  
«Вчера мне снился стол на шесть персон».  
«А сны твои — они бывают вещи?  
Иль попросту всё мчится колесом?»  
«Да как сказать; те — вещи, те — зловещи».

«Фрейд говорит, что каждый — пленник снов».

«Мне говорили: каждый — раб привычки.  
Ты ничего не спутал, Горбунов?»  
«Да нет, я даже помню вид странички».   
«А Фрейд не врет?» «Ну, мало ли врунов...  
Но вот, допустим, хочется клубнички...»  
«То самое, в штанах?» «И без штанов.  
А снится, что клюют тебя синички.  
Сны откровенней всех говорунов».   
«А как же, Горбунов, твои лисички?»

«Мои лисички — те же острова.  
(Да и растут лисички островками.)  
Проспекты те же, улочки, слова.  
Мы говорим, как правило, рывками.  
Подобно тишине, меж них — трава.  
Но можно прикоснуться к ним руками!  
Отсюда их обширные права,  
и кажутся они мне поплавками,  
которые несет в себе Нева  
того, что у меня под башмаками».

«Так, значит, ты один из рыбаков,  
которые способны бесконечно  
взирать на положение поплавок,  
не правда ли?» «Пока что безупречно».   
«А в сумерках конструкции крючков  
прикидывать за ужином беспечно?»  
«И прятать по карманам червячков!»  
«Боюсь, что ты застрянешь здесь навечно».   
«Ты хочешь огорчить меня?» «Конечно.  
На то я, как известно, Горчаков».

## II

### Горбунов и Горчаков

«Ты ужинал?» «Да, миска киселя и овощи». «Ну, всё повеселее. А что снаружи?» «Звездные поля». «Смотрю, в тебе замашки Галилея». «Вторая половина февраля отмечена уходом Водолея, и Рыбы водворяются, суля, что скоро будет в реках потеплее». «А что земля?» «Что, собственно, земля?» «Ну, что внизу?» «Больничная аллея».

«Да, знаешь, ты действительно готов. Ты метишь, как я чувствую, в Ньютоны. На буйном тоже некий Хомутов — кругом галдеж, блевотина и стоны — твердит: я — Гамильтон, и я здоров; а сам храпит, как наши харитоны». «Шло при Петре строительство портов, и наезжали разные тевтоны. Фамилии нам стоили трудов. Возможно, Хомутовы — Гамильтоны».

«Натошено, а чувствую озноб». «Напрасно ты к окошку прислонился». «Из-за твоих сверкающих зазноб». «Ну что же, убедился?» «Усомнился. Я вижу лишь аллею и сугроб». «Вон Водолей с кувшином наклонился». «Нам телескоп иметь здесь хорошо б». «Да, хорошо б». «И ты б угомонился». «Что?! Телескоп?! На кой мне телескоп!» «Ну, Горбунов, чего ты взбеленился?»

«С ногами на постель мою ты влез.  
Я думаю, что мог бы потрудиться  
снять шлепанцы». «Но холодно мне без,  
без шлепанцев. Не следует сердиться.  
Я зябну потому, что интерес  
к сырым лисичкам в памяти гнездится».  
«Не снился Фрейд у этакий прогресс!  
Прогресса же не следует стыдиться:  
приснится активисту мокрый лес,  
и пассивист способен простудиться».

«Лисички не безвредны и, по мне,  
они враги душевному здоровью.  
Ты ценишь их?» «С любовью наравне».  
«А что ты понимаешь под любовью?»  
«Разлуку с одиночеством». «Вполне?»  
«Возможность наклониться к изголовью  
и к жизни прикоснуться в тишине  
дыханием, руками или бровью...»  
«На что ты там уставился в окне?»  
«Само сопротивление суесловью».

«Не дашь ли ты мне яблока?» «Лови».  
«Ну, что твои лисички-невелички?»  
«Я думаю обычно о любви  
всегда, когда смотрю я на лисички.  
Не знаю, где — в уме или в крови —  
но чувствую подобье переключки».  
«Привычка и нормальное, увы,  
стремление рассудка к обезличке».  
«То область рук. А в сфере головы —  
отсутствие какой-либо привычки».

«И, стало быть, во сне, когда темно,  
ты грезишь о лисичках?» «Постоянно».  
«Вернее, о любви?» «Ну всё равно.  
По-твоему, наверно, это странно?»  
«Не странно, а, по-моему, грешно.  
Грешно и, как мне думается, срамно!  
Чему ты улыбаешься?» «Смешно».  
«Не дашь ли ты мне яблока?» «Я дам, но  
понять тебе лисичек не дано».  
«Лисички — это, знаешь, полигамно».

«Вот! Я тебя разделал под орех!  
Есть горечь в горчаковской укоризне!»  
«Зачем ты говоришь, что это грех?  
Грех — то, что наказуемо при жизни.  
А как накажешь, если стрелы всех  
страданий жизни собрались, как в призме,  
в моей груди? Мне мнится без помех  
грядущее». «Мы, стало быть, на тризне  
присутствуем?» «И, стало быть, мой смех  
сегодня говорит об оптимизме».

«А Страшный Суд?» «А он — движенье вспять,  
в воспоминанья. Как в кинокартине.  
Да что там Апокалипсис! Лишь пять,  
пять месяцев в какой-нибудь пустыне.  
А я пол-жизни протрубил и спать  
с лисичками мне хочется отныне.  
Я помню то, куда мне отступать  
от Огненного Ангела Твердыни...»  
«Боль сокрушит гордыню». «Ни на пядь;  
боль напитала дерево гордыни».

«Ты, значит, не боишься темноты?»  
«В ней есть ориентиры». «Поклянись мне».  
«И я с ориентирами на ты.  
Полно ориентиров, только свистчи».  
«Находчивость — источник суеты».  
«Я не уверен в этом афоризме.  
Душа не ощущает тесноты».  
«Ты думаешь? А в мертвом организме?»  
«Я думаю, душа за время жизни  
приобретает смертные черты».

### III

#### Горбунов в ночи

«Больница. Ночь. Враждебная среда...  
Всё это не трагедия... К тому же  
и приговоры Страшного Суда  
тем легче для души моей, чем хуже  
ей было во плоти моей... Всегда,  
когда мне скверно, думаю, что ту же  
боль вынесу вторично без труда.  
Так мальчика прослеживают в муже...  
Лисички занесли меня сюда.  
А то, что с ними связано, снаружи.

Они теперь мне снятся. А жена  
не снится мне. И правильно, где тонко,  
там рвется. Эта мысль не лишена...  
Я сделал ей намеренно ребенка.  
Я думал, что останется она.  
Хоть это — психология подонка.  
Но, видимо, добрался я до дна.  
Не знаю, как душа, а перепонка  
цела. Я слышу шелест полотна.  
Поет в зубах Бабанова гребенка...

Я голос чей-то слышу в тишине.  
Но в нем с галлюцинациями слуха  
нет общего: давление на дне —  
давление безвредное для уха.  
И голос тот противоречит мне.  
Уверенно, настойчиво и глухо.  
Кому принадлежит он? Не жене.  
Не ангелам. Поскольку царство духа  
безмолвствует с женою наравне.  
Жаль, нет со мною старого треуха!

Больничная аллея. Ночь. Сутроб.  
Гудит ольха, со звездами сражаясь.  
Из-за угла в еврейский телескоп  
глядит медбрат, в жида преобразаясь.  
Сужается постель моя, как гроб.  
Хрусталик с ней сражается, сужаясь.  
И кровь шумит, как клюквенный сироп.  
И щиколотки стыннут, обнажаясь.  
И делится мой разум, как микроб,  
в молчаньи безгранично размножаясь!

Нас было двое. То-есть, к алтарю...  
Она ушла. Задетый за живое,  
теперь я вечно с кем-то говорю.  
Да, было двое. И осталось двое!  
Февраль идет на смену январю.  
Вот так, напоминая о конвое,  
алтарь, благодаря календарю,  
препятствует молчанью, каковое  
я тем уничтожаю, что творю  
в себе второе поле силовое.

Она ушла. Я одержим собой.  
Собой? А не позвать ли Горчакова?  
Эй, Горчаков!.. Да нет, уже отбой.  
Да так ли это, впрочем, бестолково,  
когда одни уста наперебой  
поют двоих в отсутствие алькова?  
Я сам слежу за собственной губой.  
Их пополам притягивает слово.  
Я — круг в сеченьи. Стало быть, любой  
из нас двоих — магнитная подкова.

Ночь. Губы на два голоса поют.  
Ты думаешь, не много ли мне чести?  
Но в этом есть особенный уют:  
пускай противоречие, но вместе.  
Они почти семейство создают  
в молчаньи. А тем более — в присесте.  
Возлюбленному верхняя приют.  
А нижняя относится к невесте.  
Но то, что на два делится, то тут  
разделится, бесспорно, и на двести.

А все, что увеличилось вдвойне,  
приемлемо и больше не ничтожно.  
Проблему одиночества вполне  
решить за счет раздвоенности можно.  
Отчаянье раскраивает мне,  
как доску, душу надвое, как нож, но  
не я с ним остаюсь наедине.  
А если двоедушие безбожно,  
то не дрова нуждаются в огне,  
а греет то, что противоположно.

Ты, Боже, если властен сразу двум,  
двум голосам внимать, притом бегущим  
из уст одних, и видеть в них не шум,  
а вид борьбы минувшего с грядущим,  
восхить к Себе мой кашляющий ум,  
микробы расселив его по кущам,  
и сумму дней и судорожных дум  
Ты раздели им жестом всемогущим.  
А мне оставь, как разность этих сумм,  
победу над молчаньем и удушьем.

А ежели мне впрямь необходим  
здесь слушатель, то, Господи, не мешкай:  
пошли мне небожителя. Над ним  
ни болью не возвышусь, ни усмешкой,  
поскольку он для них неуязвим.  
По мне, коль оборачиваться решкой,  
то пусть не Горчаков, а херувим  
возносится над грязною ночлежкой  
и кружит над рыданиями и слезкой  
прямым благословеньем Твоим».

## IV

### Горчаков и врачи

«Ну, Горчаков, давайте ваш доклад». «О Горбунове?» «Да, о Горбунове». «Он выражает беспартийный взгляд на вещи, на явления,— в основе своей диалектический; но ряд — но ряд его высказываний внове для нас». «Они, бесспорно, говорят о редкостной насыщенности крови азотом, разложившим аппарат самоконтроля». «Сросшиеся брови,

асимметричность подбородка, жир на подбородке. Нос его расцвечен сосудами, раздавшимися вширь...» «Я думаю, разрушенная печень». «Компрессами и путаницей жил асимметричный лоб его увенчан. Лисички — его слабость и кумир. Он так непривлекателен для женщин. — «Преувеличен внутренний наш мир, а внешний соответственно уменьшен» —

вот характерный для него язык. В таких вот выражениях примерных свой истинный показывает лик сторонник непартийных, эфемерных воззрений...» «В этом чувствуется сдвиг налево от открытий достоверных марксизма». «Недостаточно улики». «А как насчет явлений атмосферных?» «А он отвык от женщины?» «Отвык. В нем нет телодвижений характерных

для этого... ну как его... ах ты!..»  
«Спокойно, Горчаков!» «...для женолюбца».  
«А как он там... ну, в смысле наготы?..  
Там органы и прочее?» «Сугубо,  
сугубо от нужды и до нужды.  
Простите, что высказываюсь грубо».  
«Ну что вы! Не хотите ли воды?»  
«Воды?» «А вы хотели коньяку бы?»  
«Не признаю я этой ерунды».  
«Зачем же вы облизывали губы?»

«Не знаю... Что-то связано с водой».  
«Что именно?» «Не помню, извините».  
«Наверное, стакан перед едой?»  
«Да нет же, вы мне спутали все нити...  
Постойте, вижу... человек... худой...  
вокруг — пустыня... Азия... взгляните:  
ползут пески татарскою ордой,  
пылает солнце... как его?... в зените.  
Он окружен враждебною средой...  
И вдруг — колодец...» «Дальше! Не тяните!»

«А дальше вновь все пусто и мертво.  
Колодец... это самое... сокрылся».  
«Эй, Горчаков! Что с вами?» «Я... того.  
Я, знаете, того... заговорился.  
Во всем великолепии своего  
идеализма нынче он раскрылся».  
«Кто? Горбунов?» «Ну да, я про него.  
Простите мне, товарищи, что сбился».  
«Нет-нет, вы продолжайте. Ничего».  
«Я слишком в Горбунова углубился...»

Он — беспартийный, вот его беда!  
И если день особенно морозен,  
он сильно отклоняется туда...  
ну, влево, к отопленью...» «Грандиозен!»  
«А он религиозен?» «О, да-да!  
Он так религиозен... религиозен!  
Я даже опасаясь иногда:  
того гляди, что бухнется он о землю  
и станет Бога требовать сюда».  
«Он так от беспартийности нервозен».

«Он влево уклоняется». «Ха-ха!»  
«Чему вы усмехаетесь, коллега?»  
«Тому, что это, в общем, чепуха:  
от Горчакова батареи слева,  
от Горбунова, стало быть...» «Ага!  
Как в шахматах? Король и королева?  
Напротив!» «Справедливо». «От греха  
запишем, так сказать, для подогрева  
два мнения». «Идея неплоха».  
«Какая ж это песня без припева?»

Ну вот и заключение... шнурков!  
подшить!.. Эй, Горчаков, вы не могли бы  
автограф свой?» «Я нынче без очков».  
«Мои не подойдут?» «Да подошли бы.  
Так: «влево уклоняется»... каков!  
...«и вправо»... справедливо! Справедливы  
два мнения. Мы этих барчуков...  
Одно из двух: мы выкурим их, либо...»  
«Спасибо вам, товарищ Горчаков.  
На Пасху мы вас выпустим». «Спасибо.

Да-да. Благодарю. Благодарить...  
Не сделать ли поклона поясного?..  
Где Горбунов?! Глаза ему раскрыть!..  
О ужас, я же истины — ни слова...  
Да, собственно, откуда эта прыть?  
Плевать на параноика лесного!  
Уток теряет собственную нить,  
когда под ним беснуется основа.  
Как странно Горчакову говорить  
безумными словами Горбунова!»

## V

### Песня в третьем лице

«И он ему сказал». «И он ему  
сказал». «И он сказал». «И он ответил».  
«И он сказал». «И он». «И он во тьму  
воззрился и сказал». «Слова на ветер».  
«И он ему сказал». «Но, так сказать,  
сказать «сказал» сказать совсем не то, что  
он сам сказал». «И он «к чему влезать  
в подробности» сказал; всё ясно. Точка».  
«Один сказал другой сказал струит».  
«Сказал греха струит сказал к веригам».  
«И молча на столе сказал стоит».  
«И, в общем, отдает татарским игом».  
«И он ему сказал». «А он связал  
и свой сказал, и тот, чей отзвук замер».  
«И он сказал». «Но он тогда сказал».  
«И он ему сказал; и время занял».

«И он сказал». «Вот так булыжник вдруг  
швыряют в пруд. Круги — один, четыре...»  
«И он сказал». «И это — тот же круг,  
но радиус его, бесспорно, шире».  
«Сказал — кольцо». «Сказал — еще кольцо».  
«И вот его сказал уткнулся в берег».  
«И собственный сказал толкнул в лицо,  
вернувшись вспять». «И больше нет Америк».  
«Сказал». «Сказал». «Сказал». «Сказал». «Сказал».  
«Суть поезда». «Всё дальше, дальше рейсы».  
«И вот уже сказал почти вокзал».  
«Никто из них не хочет лечь на рельсы».  
«И он сказал». «А он сказал в ответ».  
«Сказал исчез». «Сказал пришел к перрону».  
«И он сказал». «Но раз сказал — предмет,

то также относится должно к он'у».

«И он ему». «И он». «И он ему».  
«И я готов считать, что вечер начат».  
«И он ему». «И это всё к тому,  
что оба суть одно взаимно значат».  
«Он, собственно, вопрос». «Ему — ответ».  
«Потом наоборот». «И нет различья».  
«Конечно, между ними есть просвет».  
«Но лишь как средство избежать двуличья».  
«Он кем (ему) приходится ему?»  
«И в неживой возможны ли природе  
сношенья, неподсудные уму?»  
«Пусть не родня обычная, но вроде?»  
«Чего не разберет судебный зал!  
Сидит судья; очки его без стекол».  
«Он кто ему?» «Да он ему — сказал».  
«И это грандиознее, чем свекор».

«Огромный дом. Слепые этажи.  
Два лика, побледневшие от вони».  
«Они не здесь». «А где они, скажи?»  
«Где? В он-ему-сказал'е или в он'е»  
«Огромный дом. Фигуры у окна.  
И гомон, как под сводами вокзала.  
Когда здесь наступает тишина?»  
«Лишь в промежутках он-ему-сказал'а».  
«Сказала, знаешь, требует она».  
«Но это же сказал во время он'а».  
«А всё-таки приятна тишина».  
«Страшнее, чем анафема с амвона».  
«Так, значит, тут страшатся тишины?»  
«Да нет; как обстоятельствами места  
и времени, все объединены  
сказал'ом, наподобие инцеста».

«И это — образ действия?» «О да.  
Они полны сношеньями своими».  
«Когда они умолкнут?» «Никогда».  
«Наверное, как собственное имя».  
«Да, собственное имя — концентрат.  
Оно не допускает переносов,  
замен, преобразований и утрат».  
«И это, в общем, двигатель вопросов».

«Вот именно! И косвенная речь  
в действительности — самая прямая».  
«И этим невозможно пренебречь  
без личного ущерба». «И, внимая,  
тому, что Он Сказал произнесет,  
как дети у церковного притвора,  
мы как бы приобщаемся высот,  
достигнутых еще до разговора».

«Что вам приснилось, Он Ему Сказал?»  
«Кругом — врачи». «Рассказывать подробно».  
«Мне ночью снился океанский вал.  
Мне снилось море». «Неправдоподобно!»  
«Должно быть, он забыл уже своих  
лисичек». «Невозможно!» «Вероятно».  
«Да нет, он отвечает за двоих».  
«И это уж, конечно, необъятно».  
«Я видел сонмы сумеречных вод.  
Отчетливо и ясно. Но, при этом,  
я видел столь же ясно небосвод...»  
«И это вроде выстрела дуплетом».  
«...И гребни, словно гривы жеребцов,  
расставшихся с утопленной повозкой».  
«А не было там, знаете, гребцов,  
утопленников?» «Я не Айвазовский.  
Я видел гребни пенившихся круч.  
И берег — как огромная подкова...  
И Он Сказал носился между туч  
с улыбкой Горбунова, Горчакова».

## VI

### Горбунов и Горчаков

«Ну, что тебе приснилось? Говори». «Да я ж тебе сказал о разговоре с комиссией». «Да брось ты, не хитри. Я сам его подслушал в коридоре». «Ну вот, я говорю...» «Держу пари, ты станешь утверждать, что снится море». «Да, море, разумеется». «Не ври, не верю». «Не настаиваю. Горе невелико». «Ты только посмотри, как залупись! Истинно на воре

и шапка загорается». «Ну, брось». «Чего ж это я брошу, интересно?» «Да я же, Горчаков, тебя насквозь...» «Нашелся рентгенолог!» «Неуместно подшучиваешь. Как бы не пришлось раскисаться». «Выдумашь!» «Честно. Как только мы оказывались врозь, комиссии вдруг делалось известно; о чем мы тут... Сексотничал, небось? Чего же ты зарделся, как невеста?»

«Ты сердишься?» «Да нет, я не сержусь». «Не мучь меня!» «Что, я — тебя? Занятно!» «Ты сердишься». «Ну, хочешь побожусь?» «Тебе же это будет неприятно». «Да нет, я не особенно стыжусь». «Вот это уже искренне». «Обратно за старое? Неужто я кажусь тебе достойным слежки? Непонятно». «А что ж не побожишься?» «Я боюсь, что ты мне не поверишь». «Вероятно».

«Я что-то в этом смысла не пойму».  
«Я смешиваю зёрна и половину».  
«Вот видишь, ты не веришь ничему:  
ни Знамению Крестному, ни слову».  
«Война в Крыму. Всё, видимо, в дыму.  
Цитирую по дедушке Крылову...  
Отсюда ты отправишься в тюрьму».  
«Ты шел бы, подобру да поздорову...»  
«Чего ты там таращишься во тьму?»  
«Уланову я вижу и Орлову».

«Я, знаешь ли, сметаюсь в коридор».  
«Зачем?» «Да так, покалывает темя».  
«Зачем ты вечно спрашиваешь?» «Вздор!»  
«Что, истины выискиваешь семя?»  
«Ты тоже ведь таращишься во двор».  
«Сексотись, вероятно, сучье племя».  
«Я просто расширяю кругозор».  
«Не веря?» «Недоверчивость не бремя.  
Ты знаешь, и донос, и разговор —  
всё это как-то скрашивает время».

«А время как-то скрашивает дни».  
«Вот, кажется, и темя отпустило...  
Ну, что тебе приснилось, не темни!»  
«А, всё это тоскливо и постыло...  
Ты лучше посмотрел бы на огни».  
«Ну, тени от дощатого настила...»  
«Орлова! и Уланова в тени...»  
«Ты знаешь, как бы кофе не остыло».  
«Война была, ты знаешь, и они  
являлись как бы символами тыла».

«Вторая половина февраля.  
Смотри-ка, что показывают стрелки».  
«Я думаю, лишь радиус нуля».  
«А цифры?» «Как бордюрчик на тарелке...  
Сервиз я видел, сделанный а ля  
Мейссенские...» «Мне нравятся подделки».  
«Там надпись: «мастерская короля»  
и солнце — вроде газовой горелки».  
«Сейчас я взял бы вермуту». «А я  
сейчас не отказался бы от грелки...»

Смотри, какие тени от куста!»  
«Прости, но я материю всё ту же...  
те часики...» «Обратно неспроста?»  
«Ты судишь обо мне гораздо хуже,  
чем я того...» «Виной твои уста».  
«Неужто ж ноль?» «Ага». «Но почему же?»  
«Да просто так; снаружи — пустота».  
«Зато внутри теплее, чем снаружи».  
«Ну, эти утепленные места  
являются лишь следствиями стужи».

«А как же быть со штабелями дров?»  
«Наверное, связующие звенья...»  
О Господи, как дует из углов!  
И холодно, и голоден как зверь я».  
«Болезни — это больше докторов».  
«Подворье грандиознее преддверья».  
«Но все-таки, ты знаешь, это кров».  
«Давай-ка, Горчаков, без лицемерья;  
и знай — реальность высказанных слов  
огромней, чем реальность недоверья».

«Да, стужа грандиознее тепла».  
«А время грандиознее, чем стрелка».  
«А дерево грандиознее дупла».  
«Дупло же грандиознее, чем белка».  
«А белка грациознее орла».  
«А рыбка... это самое... где мелко».  
«Мне хочется раздеться догола!»  
«Где радиус, там вилка и тарелка!»  
«А дерево, сгоревшее дотла...»  
«Едва ли грандиознее, чем грелка».

## VII

### Горбунов и Горчаков

«Ты ужинал?» «Да, прежняя трава.  
Всё овощи...» «Не стоит огорчаться.  
Нам птичьи тут отпущены права».  
«Но мясо не должно бы запрещаться».  
«Взгляни-ка лучше: новые дрова...»  
«Имею же я право возмущаться!»  
«Ну нет, администрация права,  
права в пределах радиуса». «Вжаться  
в сей радиус не жаждет голова,  
а брюхо...» «Не желаю возвращаться

к изложенному выше; и к тому ж,  
мне кажется, пошаливает почка».  
«Но сам-то я — вне радиуса». «Чушь!  
А кто же предо мной?» «Лишь оболочка».  
«Ну, о неограниченности душ  
слыхал я что-то в молодости. Точка».  
«Да нет, помимо этого, я — муж.  
Снаружи и жена моя, и дочка».  
«Тебе необходим холодный душ!  
Где именно?» «На станции Опочка».

«Наверное, приснилось». «Ни фига.  
Скорее, это я тебе приснился».  
«Опочка где-то в области». «Ага».  
«Далёко ты того... распространился».  
«Мне следует удариться в бега».  
«Не стоит. Ты весьма укоренился».  
«Ты прав. Но, говорят, одна нога...  
другая там. Вообще я обленился!  
Не сделать семимильного шага!»  
«Ну-ну, угомонись». «Угомонился».

«Ты сколько зарабатывал?» «Семьсот; по-старому». «И где же?» «В учрежденьи». «Боишься, что спросил и донесет?» «Ну кто себе откажет в наслажденьи?» «Тебя мое молчанье не спасет». «Да, знаешь ли, по зрелом рассужденье...» «Приятнее считать, что я сексот, чем размышлять о местонахожденьи». «Увы, до столь пронзительных высот мешает мне взорлить происхожденье».

«Так что ж ты заседаешь на меню?» «Еще не превратился в ветерана и трижды то же самое на дню...» «Ты меряешь в масштабах ресторана». «Я вписываю в радиус родню». «Тебе, должно быть, резали барана для ужина»: «Я, собственно, клоню к тому, что мне отказываться рано от прошлого». «Кончай пороть херню». «А что тебе не нравится?» «Пространно».

«Я радиус расширил до родни». «Тем хуже для тебя оно, тем хуже». «Я только ножка циркуля. Они — опора неподвижная снаружи». «И это как-то скрашивает дни, чем шире этот радиус?» «Чем уже. На свете так положено: одни стоят, другие двигаются вчуже». «Бывают неподвижные огни, расширенные радиусом лужи».

«Я двигаюсь!» «Не ведаю, где старт, но финиш — ленинградские сугробы». «Я жив, пока я двигаюсь. Декарт мне мог бы позавидовать». «Еще бы! Мне нравится твой искренний азарт». «А мне твои душевные трущобы наскучили». «А что твой миллиард — ну, звездные ковши и небоскребы?» «Восходит Овн, курирующий март». «Иметь здесь телескоп нам хорошо бы».

«Вот именно. Нам стали бы видны опоры наши дальние». «Начатки движения». «Мы чувствовать должны устойчивость Опочки и Камчатки». «Я в марте родился. Мне суждены шатания. Мне сняли отпечатки... Как жаль, что мы дрожать принуждены: опоры наши дальние столь шатки...» «Которые под Овном рождены, должны ходить в каракулевой шапке».

«Ты думаешь, от холода дрожу?»  
«А сверься с посиневшими пальцами». «А ты?» «Я Близнецам принадлежу. Я в мае родился, под Близнецами». «Тепло тебе?» «Поскольку я сужу...» «Короче! Не мудри с немудрецами!» «В сравнении с тобой я нахожу, что вовсе мне не холодно». «С концами!» «В чем дело, Горчаков?» «Не выношу!» «Да нет, всё это правда — с месяцами».

«Увы, на телескоп не наскрести, и мы своих опор не наблюдаем». «Пусть радиус у жизни не в чести, сам циркуль, Горчаков, неувядаем». «Еще умру тут, Господи, прости, считая, что тот свет необитаем». «Нет, не умрешь; напрасно не грусти». «Ты думаешь?» «Обсудим». «Обсуждаем». «Тот груз, которым нынче обладаем, в другую жизнь нельзя перенести».

## VIII

### Горбунов в ночи

«Твой довод мне бессмертие сулит!  
Мой разум, как извилины подстилки,  
сияньем твоих доводов залит —  
не к чести моей собственной коптилки...  
Проклятие, что делает колит!  
И мысли — словно демоны в бутылке.  
Твой светоч мой фитиль не веселит!  
О Горбунов! от слов твоих в затылке,  
воспламеняясь, кровь моя бурлит —  
от этой искры, брошенной в опилки!

Ушел... Мне остается монолог.  
Плюс радиус ночного циферблата...  
Оставил только яблоки в залог  
и смылся, наподобие Пилата!  
Попробуем забиться в уголок,  
исследуем окраины халата.  
Водрузим на затылок котелок  
с присохшими остатками салата...  
Какие звезды?! Пол и потолок.  
В окошке — отражается палата.

Ночь. Окна — бесконечности оплот.  
Палата в них двоится и клубится.  
За окнами — решетки переплет:  
наружу отраженью не пробиться.  
В пространстве этом — задом-наперед —  
постелью мудрено не ошибиться.  
Но сон меня сегодня не берет.  
Уснуть бы... и вообще — самоубиться!  
Рискуя — раз тут все наоборот —  
тем самым в свою душу углубиться!

Уснуть бы... Санитары на посту.  
Приносит ли им пользу отраженьё?  
Оно лишь умножает тесноту,  
поскольку бесконечность — умноженьё.  
Я сам уже в глазах своих расту,  
и стёкла, подхлестнув воображеньё,  
сжимают между койками версту...  
Я чувствую во внутренностях жженьё,  
взирая на далекую звезду.  
Основа притяженья — торможеньё!

Нормальный сон — основа всех основ!  
Верней, выздоровления основа.  
Эй, Горбунов!.. на кой мне Горбунов?!  
Уменьшим свою речь на Горбунова!  
Сны откровенней всех говорунов  
и грандиозней яблока глазного.  
Фрейд говорит, что каждый — пленник снов.  
Как странно в это вдумываться снова...  
Могилы исправляют горбунов!..  
Конечно, за отсутствием иного

лекарства... А сия галиматья —  
лишь следствие молчания соседних  
кроватей. Ибо чувствую, что я  
тогда лишь есмь, когда есть собеседник!  
В словах я приобщаюсь бытия!  
Им нужен продолжатель и наследник!  
Ты, Горбунов, мой высший судья!  
А сам я — только собственный посредник  
меж спящим и лишенным забытья,  
смотритель своих выбитых передних...

Ночь. Форточка... О если бы медбрат  
открыл ее!... Не может быть и речи.  
На этот — ныне запертый — квадрат  
приходятся лицо мое и плечи.  
Ведь это означало бы разврат,  
утечку отражения. А течи  
тем плохи, что любой дегенерат  
решился бы, поскольку недалече,  
удрать хоть головою в Ленинград...  
О Горбунов! я чувствую при встрече

с тобою, как нормальный идиот,  
себя всего лишь радиусом стрелки!  
Никто меня, я думаю, не ждет  
ни здесь, ни за пределами тарелки,  
заполненной цифирью. Анекдот!  
Увы, тебе масштабы эти мелки!  
Грядет твое мучение. Ты тот,  
которому масштаб его по мерке.  
Весь ужас, что с тобой произойдет,  
ступеньки разновидность или дверки

туда, где заждались тебя. Грешу  
лишь тем, что не смогу тебя дозваться.  
Ты, Горбунов! Покуда я дышу,  
во власть твою я должен отдаваться!  
К тебе свои молитвы возношу!  
Мне некуда от слов твоих деваться!  
Приди ко мне! Я слов твоих прошу.  
Им нужно надо мною раздаваться!  
Затем-то я на них и доношу,  
что с ними неспособен расставаться,

когда ты удаляешься... Прости!  
Не то, чтобы страшился я разлуки...  
Зажав освобождение в горсти,  
к тебе свои протягиваю руки.  
Как всё, что предстоит перенести —  
источник равнодушия и скуки —  
не помни, Горбунов, меня, не мсти!  
Как эхо, продолжающее звуки,  
стремясь их от забвения спасти,  
люблю и предаю тебя на муки.

## IX

### Горбунов и врачи

«Ну, Горбунов, рассказывайте нам».  
«О чём?» «О ваших снах». «Об оболочке».  
«И называйте всех по именам».  
«О циркуле». «Рассказывай о дочке».  
«Дочь не имеет отношенья к снам».  
«Давай-ка, Горбунов, без проволоочки».  
«Мне снилось море». «Ну его к хренам».  
«Да, лучше обойдемся без примочки».  
«Без ваших по морям да по волнам».  
«Начните, если хочется, с Опочки».

«Зачем вам это?» «Нужно». «И сполна».  
«Для вашей пользы». «Реплика во вкусе  
вопросов Красной Шапочки. Она,  
вы помните, спросила у бабуси  
насчет ушей, чья странная длина...  
«не бойся» — та в ответ,— «ахти, боюси»,  
«чтоб лучше слышать внучку!» «Вот те на!  
Не думали о вас мы, как о трусе».  
«К тому ж, в итоге крошка спасена».  
«Во всем есть плюсы». «Думайте о плюсе».

«Чего молчите?» «Просто невтерпеж!  
Дождется, что придется рассердиться!»  
«Чего ты дожидаясь?» «Что ложь,  
не встретив возражений, испарится».  
«И что тогда?» «Естественнее всё ж  
на равных толковать, как говоритесь».  
«Ну, мне осточертел его скулеж.  
Давайте впрыснем кальцию, сестрица».  
«Он весь дрожит». «Естественная дрожь.  
То мысли обостряются от шприца».

«Ну, Горбунов, припомнили ли вы, что снилось?» «Только море». «А лисички?» «Увы, их больше не было». «Увы!» «Я свыкся с ними. Это — по привычке». «О женщинах, когда они мертвы или смотались к черту на кулички, так сетуют мужчины». «Вы правы: «увы» — мужская реплика. Кавычки». «Но может быть и возгласом вдовы». «Запишем обе мысли в рапортичке».

«Сны обнажают тайную канву того, что совершается в мужчине». «А то, что происходит наяву, не так нас занимает по причине...» «Причину я и сам вам назову». «Да: Горчаков. Но дело не в личине, им принятой скорей по озорству; но в снах у вас — тенденция к пучине». «Вы сон мой превращаете в Неву, А устье говорит не о кончине;

скорей, о размножении». «Едва ль терпимо, чтоб у всяческих отбросов пошло потомство». «Экая печаль. Река, как уверяет нас философ, стоит на месте, убегая вдаль». «И это, говорят, вопрос вопросов». «Отсюда Ньютон делает мораль». «Ага! опять Ньютон!» «И Ломоносов». «А что у нас за окнами?» «Февраль. Пора метелей, спячки и доносов».

«Как месяц, он единственный в году по дням своим». «Подобие калеки». «Но легче ведь прожить его?» «К стыду, признаюсь: легче легкого». «А реки?» «Что — реки?» «Замыкаются во льду». «Но мы-то говорим о человеке». «Вы знаете, что ждет вас?» «На беду, подозреваю: справка об опеке?» «Со всем, что вы имеете в виду, вы, в общем, здесь останетесь навеки».

«За что?!... а впрочем, следует в узде держать себя... нет выхода другого». «И кликнуть Горчакова». «О звезде с ним можно побеседовать». «Толково». «Везде есть плюсы». «Именно: везде». «И сам он вездесущ, как Иегова; хотя он и доносит». «На гвозде, как правило, и держится подкова». «Как странно Горбунову на кресте рассчитывать внизу на Горчакова».

«Зачем преувеличивать?» «К чему, милейший, эти мысли о Голгофе?» «Но это — катастрофа». «Не пойму: вы вечность приравнили к катастрофе?» «Он вечности не хочет потому, что вечность точно пробка в полуштофе». «Да, всё это ему не по уму». «Эй, Горбунов, желаете ли кофе?» «Почто меня покинул!» «Вы к кому вызываете?» «Опять о Горчакове

тоскует он». «Не дочка, не жена, а Горчаков!» «Всё дело в эгоизме». «Да Горчаков ли?» «Форма не важна. Эй, Горбунов, а ну-ка покажись мне. Твоя, ты знаешь, участь решена». «А Горчаков?» «Предайся укоризне: отныне вам разлука суждена. Отпустим. Не вздыхай об этом слизи». «Отныне, как обычно после жизни, начнется вечность». «Просто тишина».

## Х

### Разговор на крыльце

«Огромный город в сумраке густом».  
«Расчерченная школьная тетрадка».  
«Стоит огромный сумасшедший дом».  
«Как вакуум внутри миропорядка».  
«Фасад скрывает выстуженный двор,  
заваленный сугробами, дровами».  
«Не есть ли это тоже разговор,  
коль скоро все описано словами?»  
«Здесь — люди, и сошедшие с ума  
от ужасов — утробных и загробных».  
«А сами люди? Именно сама  
возможность называть себе подобных  
людьми?» «Но выражение их глаз?  
Конечности их? Головы и плечи?»  
«Вещь, имя получившая, тотчас  
становится немедля частью речи».  
«И части тела?» «Именно они».  
«А место это?» «Названо же домом».  
«А дни?» «Поименованы же дни».  
«О, все это становится Содомом  
слов алчущих! Откуда их права?»  
«Тут имя прозвучало бы зловеще».  
«Как быстро разбухает голова  
словами, пожирающими вещи!»  
«Бесспорно, это голову кружит».  
«Как море — Горбунову; нездорово».  
«Не море, значит, на берег бежит,  
а слово надвигается на слово».  
«Слова — почти подобие мощей!»  
«Коль вещи эти где-нибудь да висли...  
Названия — защита от вещей».  
«От смысла жизни». «В некотором смысле».

«Ужель и от страдания Христа?»  
«От всякого страдания». «Бог с вами!»  
«Он сам словами пользовал уста...  
Но он и защитил себя словами».  
«Тем, собственно, пример его и вещь!»  
«Гарантия, что в море — не утонем».  
«И смерть его — единственная вещь  
двузначная». «И, стало быть, синоним».

«Но вечность-то? Иль тоже на столе  
стоит она сказалом в казакине?»  
«Единственное слово на земле,  
предмет не поглотившее поныне».  
«Не это ли защита от словес?»  
«Едва ли». «Осеняющийся Крестным  
Знаменем спасется». «Но не весь».  
«В синониме не более воскреснем».  
«Не более». «А ежели в любви?  
Она — сопротивленью суесловью».  
«Вы либо небожитель; либо вы  
мешаете потенцию с любовью».  
«Нет слова, столь лишенного примет».  
«И нет непроницаемой покрова,  
столь полно поглотившего предмет;  
и более щемящего, как слово».  
«Но ежели взглянуть со стороны,  
то можно, в общем, сделать замечанье:  
и слово — вещь. Тогда мы спасены!»  
«Тогда и начинается молчанье».

Молчанье — это будущее дней,  
катящихся навстречу нашей речи,  
со всем, что мы подчеркиваем в ней,  
с присутствием прощания при встрече.  
Молчанье — это будущее слов,  
уже пожравших гласными всю вещьность,  
страшащуюся собственных углов;  
волна, перекрывающая вечность.  
Молчанье есть грядущее любви;  
пространство, а не мертвая помеха,  
лишающее бьющийся в крови  
фальцет ее и отклика, и эха.  
Молчанье — настоящее для тех,  
кто жил до нас. Молчание — как сводня,  
в себе объединяющая всех,

в глаголющее вхожая сегодня.  
Жизнь — только разговор перед лицом  
молчанья». «Пререкания движений».  
«Речь сумерек с расплывшимся концом».  
«И стены — воплощенье возражений».

«Огромный город в сумраке густом».  
«Речь хаоса, изложенная кратко».  
«Стоит огромный сумасшедший дом,  
как вакуум внутри миропорядка».  
«Проклятие, как дует из углов!»  
«Мой слух твое проклятие не колет:  
не жизнь передо мной — победа слов».  
«О как из существительных глаголет!»  
«Так птица вылетает из гнезда,  
гонимая заботами о харче».  
«Восходит над равниною звезда  
и ищет собеседника поярче».  
«И самая равнина, сколько взор  
охватывает, с медленностью почты  
поддерживает ночью разговор».  
«Чем именно?» «Неровностями почвы».  
«Как различить ночных говорунов,  
хоть смысла в этом нету никакого?»  
«Когда повыше — это Горбунов,  
а где пониже — голос Горчакова».

## ХІ

### Горбунов и Горчаков

«Ну, что тебе приснилось?» «Как всегда».  
«Тогда я и не спрашиваю». «Так-то,  
проснулось чувство — как его? — стыда».  
«Скорее, чувство меры или такта».  
«Хорош!» «А что поделаешь? Среда  
заела. И зависимость от факта».  
«Какого?» «Попадания сюда».  
«Ты довести способен до инфаркта».  
«Пошел ты вместе с фактами... туда».  
«Давай не будем прерывать контакта».

«Зачем тебе?» «А кто его». «Ну что ж...  
Так ты меня покинешь?» «После Пасхи».  
«Куда же ты отсюдова пойдешь?»  
«Домой пойду». «А примут без опаски?»  
«Я думаю». «А где же ты живешь?»  
«Не предаю я адреса огласке».  
«Сдается мне, дружок, что это ложь».  
«Как хочешь». «Не рассказывай мне сказки».  
«Ты всё равно ко мне не попадешь».  
«О чем ты?» «Я всё больше о развязке».

«Тогда ты прав». «Я думаю, что прав».  
«Лишь думаешь?» «Ну, вырвалось случайно.  
Я сомневаться не имею прав».  
«А чем займешься дома?» «Это тайна».  
«Подобный стиль беседовать избрав,  
контакта хочешь? Странно чрезвычайно».  
«Не стиль таков, а, собственно, мой нрав».  
«А может, хочешь яблока ты?» «Дай, но  
не расколюсь я, яблоко забрав...  
Поднять и бросить, вира или майна —

вот род моих занятий основной.  
Всё прочее считаю посторонним». «Глаза мне застилает пеленой!  
Поднять и бросить! — это же синоним  
всего происходящего со мной». «Ну, мы тебя, не бойся, не уроним». «Что значит «мы»? «Не нервничай, больной. Хоть, научу гаданью по ладоням?» «Прости, я повернусь к тебе спиной». «Ужель мы нашу дружбу похороним?!

Ты должен быть, по-моему, добрей». «Таким я вышел, видимо, из чрева». «Но бытие...» «Чайку тебе?» «Налей... определяет...» «Греть?» «Без подогрева... сознание... Ну ладно, подогрей». «Прочел бы это справа ты налево». «Да что же я, по-твоему — еврей?» «Еврей снял это яблоко со древа познания». «Ты, братец, дуралей. Сняла-то Ева». «Видно, он и Ева».

«А всё ж, он был по-своему умен. Является создателем науки. И имя звучно». «Лучше без имен. Боюсь, не отхватили бы мне руки за этот смысловой палиндромон». «Он тоже обрекал себя на муки. Теперь он вождь народов и племен». «Панмонголизм! как много в этом звуке». «Он тоже вроде бы приговорен». «Наверно, не к разлуке». «Не к разлуке».

«Что есть разлука?» «Знаешь, не пойму, зачем тебе?» «Считай, для картотеки». «Разлука — это судя по тому, с кем расстаешься. Дело в человеке. Где остаешься. Можно ль одному остаться там, подавшись в имяреки? Коль с близким, — отдаешь его кому? Надолго ли?» «А ежели навеки?» «Тогда стоишь и пялишься во тьму такую, как опущенные веки

обычно создают тебе для сна.  
И вздрагиваешь изредка от горя,  
поскольку мрака явственность ясна.  
И ни тебе лисичек или моря».  
«А ежели за окнами весна?  
Весной все легче». «Спорно это». «Споря,  
не забывай, что в окнах — белизна».  
«Тогда ты — словно вырванное с поля».  
«Земля не кровоточит, как десна».  
«Ну, видимо, на то Господня воля...

А что тебе разлука?» «Трепотня...  
Ну, за спиной закрывшиеся двери.  
И, если это день, сиянье дня».  
«А если ночь?» «Смотря по атмосфере.  
Ну, может, свет горящего огня.  
А нет — скамья, пустующая в сквере».  
«Ты расставался с кем-нибудь, храня  
воспоминанья?» «Лучше на примере».  
«Ну, что ты скажешь, потеряв меня?»  
«Вообще-то я не чувствую потери».

«Не чувствуешь? А все твоё нытьё  
о дружбе?» «Это верно и поныне.  
Пока у нас совместное житьё,  
нам лучше, видно, вместе по причине  
того, что бытиё...» «Да не на ё!»  
«Не бытиё, а бытие». «Да ты не —  
не придирайся... да, небытиё,  
когда меня не будет уж в помине,  
придаст однообразию равнине».  
«Ты, стало быть, молчание мое...»

## ХИ

### Горбунов и Горчаков

«Ты ужинал?» «Я ужинал. А ты?»  
«Я ужинал». «И как тебе капуста?»  
«Щи оставляют в смысле густоты  
желать, конечно, лучшего: не густо».  
«А щи вообще, как правило, пусты.  
Есть даже поговорка». «Это грустно.  
Хоть уксуса чуть-чуть для остроты!»  
«Всё — пусто». «Отличается на вкус-то,  
наверно, пустота от пустоты».  
«Не жвачки мне хотелось бы, а хруста».

«В такие нас забросило места,  
что ничего не остается, кроме  
как постничать задолго до Поста».  
«Ты говоришь о сумасшедшем доме?»  
«Да, наша география проста».  
«А что потом?» «Ты вечно о потом'е!  
Когда — потом?» «По снятии с креста».  
«О чем ты?!» «Отнесись как к идиоме».  
«Положат хоть лаврового листа».  
«А разведут по-прежнему на бrome».

«Да, все это не кончится добром.  
Бром вреден — так я думаю — здоровью».  
«И волосы вылазят. Это — бром!  
Ты приглядишься к любому изголовью:  
Бабанов расстается с серебром,  
Мицкевич с высыпающей бровью.  
И у меня на темени разгром.  
Он медленно приводит к малокровью».  
«Бром — стенка между бесом и ребром,  
чтоб мы мозги не портили любовью».

Я в армии глотал его». «Один?»  
«Всей армией. Мы выдумали слово.  
Он назывался «противостоин».  
Какая с ним Уланова-Орлова!»  
«Я был брюнет, а делаюсь блондин.  
Пробор разрушен! Жалкая основа...  
А ткани нет... не вышло до седин  
дожить...» «Не забывай же основного».  
«Чего не забывать мне, господин?»  
«Быть может, не потребуются снова».

«Кто?» «Кудри». «Вероятно». «Не дрожи».  
«Мне холодно». «Засунул бы ты руки  
под одеяло». «Правильно». «Скажи,  
что есть любовь?» «Сказал...» «Но в каждом звуке  
другие рубежи и этажи».  
«Любовь есть предисловие к разлуке».  
«Не может быть!» «Я памятником лжи  
согласен стать, чтоб правнуки и внуки  
мне на голову клали!» «Не блажи».  
«Я это, как и прочее, от скуки».

«Проклятие, как дует от окна».  
«Залеплено замазкой». «Безобразно».  
Смотри, и батарея холодна!»  
«Здесь вообще и холодно и грязно...  
Смотри, звезда над деревом видна —  
без телескопа». «Видно и на глаз, но  
звезда не появляется одна».  
«Я вдруг подумал — но, конечно, праздно —  
что если крест да распилить бы на  
дрова, взойдет ли дым крестообразно?»

«Ты спятил!» «Я не спятил, а блюду  
твой интерес». «Похвальная сердечность».  
Но что имеешь, собственно, в виду?»  
«Согреть окоченевшую конечность».  
«Да, все мои конечности во льду».  
«Я прав». «Но в этом есть бесчеловечность».  
Сложи поленья лучше как звезду».  
«Звезда, ты прав, напоминает вечность;  
не то, что крест, к великому стыду».  
«Не вечность, а дурную бесконечность».

«Который час?» «По-видимому, ночь».  
«Молю, не начинай о Зодиаке».  
«Снаружи и жена моя, и дочь.  
Что о любви, то верно и о браке».  
«Я тоже поджениться бы не прочь.  
А вот тебе не следовало». «Паки  
и паки я гляжу, тебе невмочь,  
что я женат». «Женился бы на мраке!»  
«Ну, я к однообразью неохоч.  
В семье есть ямы, есть и буераки».

«Который час?» «Да около ноля».  
«О, это поздно». «Не имея вкуса  
к цифири, я скажу тебе, что для  
меня все «о» — предшественницы плюса».  
«Ну, дали мои губы кругаля...  
То ж следствие зевоты и прикуса.  
Чего ты добиваешься, валя  
всё в кучу?». «Недоступности Эльбруса».  
«А соразмерной впадины земля  
не создала?» «Отпраздновала труса».

«Уж если размышляешь о горе,  
то думай о Голгофе, по причине  
того, что уже март в календаре,  
и я исчезну где-нибудь в лощине».  
«Иль в облаке сокрывшись, как в чадре,  
сыграешь духа в этой чертовщине».  
«На свой аршин ты меряешь, тире,  
твоей двуглавой снеговой вершине  
не уместиться ввек в моем аршине,  
сжимающем сугробы во дворе».

### ХІІІ

#### Разговоры о море

«Твой довод мне бессмертие сулит.  
Но я, твоим пророчествам на горе,  
уже наполовину инвалид.  
Как снов моих прожектор в коридоре,  
твой светоч мою тьму не веселит...  
Но это не в укор и не в укор  
всё дело. То-есть, пусть его горит!...  
В открытом и в смежающемся взоре  
всё время что-то мощное бурлит,  
как будто море. Думаю, что море».

«Больница. Ночь. Враждебная среда.  
Внимать я не могу тебе без дрожи  
от холода, но также от стыда  
за светоч. Ибо море — это всё же  
есть впадина. Однако же, туда  
я не сойду, хоть истина дороже...  
Но я не причиню тебе вреда!  
Куда уж больше! Видимо, ты тоже  
не столь уверен, море ли... Беда.  
На что всё это, Господи, похоже?»

«Пожалуй, море... Чайки на молу  
над бабой, в них швыряющейся коркой.  
И ветер треплет драную полу,  
хлеца волнообразною оборкой  
ей туфли... И стоит она в пыли  
визгливой битвы, с выбившейся челкой,  
швыряет хлеб и пялится во мглу...  
Как будто, став внезапно дальнотзоркой,  
высматривает в Турции пчелу».

«Да, это море. Именно оно.  
Пучина бытия, откуда все мы,  
как витязи, явились так давно,  
что, не коснись ты снова этой темы,  
забыл бы я, что существует дно  
и горизонт, и прочие системы  
пространства, кроме той, где суждено  
нам видеть только крашенные стены  
с лиловыми их полосами; но  
умеющие слышати да немы».

«Есть в жизни нечто большее, чем мы,  
что греет нас, само себя не грея,  
что громоздит на впадины холмы  
— хотя бы и при помощи Борея,  
друг другу их несущего взаимы.  
Я чувствую, что шествую во сне я  
ступеньками, ведущими из тьмы  
то в бездну, то в преддверье эмпирея,  
один, среди цветущей бахромы —  
бессонным эскалатором Нероя.

«Но море слишком чуждая среда,  
чтоб верить в чьи-то странствия по водам.  
Конечно, если не было там льда.  
Похоже, Горбунов, твоим невзгодам  
конца не видно. Видно, на года,  
как вся эта история с исходом,  
рассчитаны они... Невесть куда  
всё дальше побредешь ты с каждым годом,  
туда, где с небом соткана вода.  
К кому воззвать под этим небосводом?»

«Для этого душа моя слаба.  
Я волны, а не крашенные наши  
простенки узрю всюду, где судьба  
прибьет меня — от Рая до параша.  
И это, Горчаков, не похвальба:  
в таком водонебесном ералаше,  
о чем бы и была моя мольба?  
Для слышати умеющего краше  
валов артиллерийская пальба,  
чем слезное моление о чаше».

«Но это — грех!... да что же я? Браня тебя, забыл о выходке с дровами... Мне помнится, ты спрашивал меня, что снится мне. Я выразил словами, и я сказал, что сон — наследье дня, а ты назвал лисички островами. Я это говорю тебе, клоня к тому, что жестко нам под головами. Теперь ты видишь море — трепотня! И тот же сон, хоть с большими правами».

«А что есть сон?» «Основа всех основ».  
«И мы в него впадаем, словно реки».  
«Мы в темноту впадаем, и хренов твой вымысел. Что спрашивать с калеки!»  
«Сон — выход из потемок». «Горбунов! В каком живешь ты забываешь веке. Твой сон не нов!» «И человек не нов».  
«Зачем ты говоришь о человеке?»  
«А человек есть выходец из снов».  
«И что же в нем решающее?» «Веки.

Закроешь их и видишь темноту».  
«Хотя бы и при свете?» «И при свете... И вдруг заметишь первую черту. Одна, другая... третья на примете. В ушах шумит и холодно во рту. Потом бегут по набережной дети, и чайки хлеб хватают на лету...»  
«А нет ли там меня, на парапете?»  
«И все, что вижу я в минуту ту, реальнее, чем ты на табурете».

## XIV

### Разговор в разговоре

«Но это — бред! Ты слышишь, это бред!  
Поди сюда, Бабанов, ты — свидетель!  
Смотри: вот я встаю на табурет!  
На мне халат без пуговиц и петель!  
Ну, Горбунов, узрел меня ты?» «Нет».  
«А цвет кальсон?» «Ей-Богу, не заметил».  
«Сейчас я размозжу тебе портрет!  
Ну, Горбунов, считай, поднялся ветер!  
Сейчас из моря будет винегрет!  
Ты слышишь, гад?» «Да я уже ответил».

«Ах так! Так пустим в дело кулаки!  
Учить, учить приходится болванов!  
На, получай! А ну-ка, прореки,  
кто вдарил: Горчаков или Бабанов?»  
«По-моему, Гор-банов». «Ты грехи  
мне отпускаешь, вижу я! Из кранов  
сейчас польет твой окиян!» «Хи-хи».  
«А ты что ржешь?! У, скопище баранов!»  
«Чего вы расшумелись, старики?»  
«Уйди, Мицкевич!» «Я из ветеранов,

и я считаю, ежели глаза  
чувак закрыл, — завязывай; тем боле,  
что ночь уже». «Да я и врезал за,  
за то, что он закрыл их не от боли».  
«Сказал тебе я: жми на тормоза».  
«Ты что, Мицкевич? Охренел ты, что ли?  
Да на кого ты тянешь, стрекоза?»  
«Я пасть-те разорву!» «Ой-ой, мозоли!»  
«Эй, мужики, из-за чего буза?»  
«Да пес поймет». «На хвост кому-то соли

насыпали». «Атас, идут врачи!»  
«В кровати, живо!» «Я уже в постели!»  
«Ты, Горбунов, закройся и молчи,  
как будто спишь». «А он и в самом деле  
уже заснул». «Атас, звенят ключи!»  
«Заснул? Не может быть! Вы обалдели!»  
«Заткнись, кретин!» «Бабанов, не дрочи».  
«Оставь его» «Я, правда, еле-еле».  
«Ну, Горбунов, попробуй настучи».  
«Да он заснул». «Ну, братцы, залетели».

«Как следует приветствовать врачей?»  
«Вставанием... вставайте, раскоряки!»  
«Есть жалобы у вас насчет харчей?»  
«Я слышал шум, но я не вижу драки».  
«Какая драка, свет моих очей?»  
«Медбрат сказал, что здесь дерутся». «Враки».  
«Ты не юли мне». «Чей это ручей?»  
«Да это ссака». «Я же не о ссаке».  
«Не из чего, я спрашиваю — чей?»  
«Да, чей, орлы?» «Кубанские казаки».

«Мицкевич!» «Ась?» «Чтоб вытереть, аспид!»  
«Да, мы, врачи, заботимся о быте».  
«А Горбунов что не встает?» «Он спит».  
«Он, значит, спит, а вы еще не спите».  
«Сейчас ложимся». «Верно, это стыд».  
«Ну, мы пошли». «Смотрите, не храпите».  
«Чтоб слышно, если муха пролетит!»  
«Мне б на оправку». «Утром, потерпите».  
«Ты, Горчаков, ответственный за быт».  
«Да, вот вам новость: спутник на орбите».

«Ушли». «Эй, Горчаков, твоя моча?»  
«Иди ты на...» «Ну, закрываем глазки».  
«На Пасху хорошо бы кулича».  
«Да, разговеться. Маслица, колбаски...»  
«Чего же не спросил ты у врача?»  
«Ты мог бы это сделать без опаски:  
он спрашивал». «Забыл я сгоряча».  
«Заткнитесь, вы. Заладили о Пасхе».  
«Глянь, Горчаков-то, что-то бормоча,  
льнет к Горбунову». «Это для отмазки».

«Ты вправду спишь? Да, судя по всему,  
ты вправду спишь... Как спутались все пряди...  
Как все случилось, сам я не пойму.  
Прости меня, прости мне, Бога ради.  
Постой, подушку дай приподниму...  
Удобней так?... Я сам с собой в разладе.  
Прости... мне это все не по уму.  
Спи... если вправду говорить о взгляде,  
тут задержаться не на чем ему.  
Тут всё преграда. Только на преграде.

Спи, Горбунов. Пока труба отбой  
не пропоет... Всем предпочту наградам  
стеречь твой сон... а впрочем, с ней, с трубой!  
Ты не привык, а я привык к преградам.  
Прости меня с моею похвальбой.  
Прости меня со всем моим разладом...  
Спи, спи, мой друг. Я посижу с тобой.  
Не над тобой, не под — а просто рядом.  
А что до сроков — я прожду любой,  
пока с тобой не повстречаюсь взглядом...

Что видишь? Море? Несколько морей?  
И ты бредешь сквозь волны коридором...  
И рыбы молча смотрят из дверей...  
Я — за тобой... но тотчас перед взором  
всплывают мириады пузырей...  
Мне не пройти, не справиться с напором...  
Что ты сказал?!... Почудилось... Скорей  
всего, я просто брежу разговором...  
Смотри-ка, как бесчинствует Борей:  
подушка смята, конечно с пробором...»

1965-68

**ИЗ КНИГИ**

# **КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ**

**стихотворения \* 1964—1971**

---

\* Два стихотворения из книги «Конец прекрасной эпохи» включены позднее И. Бродским в книгу «Новые стансы к Августе», где читатель найдет их в окончательной авторской редакции.

Второе Рождество на берегу  
незамерзающего Понта.  
Звезда Царей над изгородью порта.  
И не могу сказать, что не могу  
жить без тебя — поскольку я живу.  
Как видно из бумаги. Существу;ю;  
глотая пиво, пачкаю листву и  
топчу траву.

Теперь в кофейне, из которой мы,  
как и пристало временно счастливым,  
беззвучным были выброшены взрывом  
в грядущее, под натиском зимы  
бежав на Юг, я пальцами черчу  
твое лицо на мраморе для бедных;  
поодаль нимфы прыгают, на бедрах  
задрав парчу.

Что, боги, — если бурое пятно  
в окне символизирует вас, боги —  
стремились вы нам высказать в итоге?  
Грядущее настало, и оно  
переносимо; падает предмет,  
скрипач выходит, музыка не длится,  
и море все морщинистей, и лица.  
А ветра нет.

Когда-нибудь оно, а не — увы —  
мы, захлестнет решетку променада  
и двинется под возгласы «не надо»,  
вздымая гребни выше головы,  
туда, где ты пила свое вино,

спала в саду, просушивала блузку,—  
круша столы, грядущему моллюску  
готовя дно.

*1971, Ялта*

## РЕЧЬ О ПРОЛИТОМ МОЛОКЕ

### 1

Я пришел к Рождеству с пустым карманом  
Издатель тянет с моим романом.  
Календарь Москвы заражен Кораном.  
Не могу я встать и поехать в гости  
ни к приятелю, у которого плачут детки,  
ни в семейный дом, ни к знакомой девке.  
Всюду необходимы деньги.  
Я сижу на стуле, трясусь от злости.

### 2

Ах, проклятое ремесло поэта.  
Телефон молчит, впереди диета.  
Можно в месткоме занять, но это —  
все равно, что занять у бабы.  
Потерять независимость много хуже,  
чем потерять невинность. Вчуже  
полагаю, приятно мечтать о муже,  
приятно произносить «пора бы».

### 3

Зная мой статус, моя невеста  
пятый год за меня ни с места;  
и где она нынче, мне неизвестно:  
правды сам черт из нее не выбьет.  
Она говорит: «Не горюй напрасно.  
Главное — чувства! Единогласно?»  
И это с ее стороны прекрасно.  
Но сама она, видимо, там, где выпьет.

#### 4

Я вообще отношусь с недоверьем к ближним.  
Оскорбляю кухню желудком лишним.  
В довершение всего досаждаю личным  
взглядом на роль человека в жизни.  
Они считают меня бандитом,  
издеваются над моим аппетитом.  
Я не пользуюсь у них кредитом.  
«Наливайте ему пожиже!»

#### 5

Я вижу в стекле себя холостого.  
Я факта в толк не возьму простого,  
как дожил до от Рождества Христова  
Тысяча Девятьсот Шестьдесят Седьмого.  
Двадцать шесть лет непрерывной тряски,  
рытья по карманам, судейской таски,  
ученья строить Закону глазки,  
изображать немого.

#### 6

Жизнь вокруг идет как по маслу.  
(Подразумеваю, конечно, массу.)  
Маркс оправдывается. Но по Марксу  
давно пора бы меня зарезать.  
Я не знаю, в чью пользу сальдо.  
Мое существование парадоксально.  
Я делаю из эпохи сальто.  
Извините меня за резвость!

#### 7

То есть, все основания быть спокойным.  
Никто уже не кричит «По коням!».  
Дворяне выведены под корень.  
Ни тебе Пугача, ни Стеньки.  
Зимний взят, если верить байке.  
Джугашвили хранится в консервной банке.  
Молчит орудие на полубаке.  
В голове моей — только деньги.

8

Деньги прячутся в сейфах, в банках,  
в полу, в чулках, в потолочных балках,  
в несгораемых кассах, в почтовых бланках.  
Наводняют собой Природу!  
Шумят пачки новеньких ассигнаций,  
словно вершины берез, акаций.  
Я весь во власти галлюцинаций.  
Дайте мне кислороду!

9

Ночь. Шуршание снегопада.  
Мостовую тихо скребет лопата.  
В окне напротив горит лампада.  
Я торчу на стальной пружине.  
Вижу только лампаду. Зато икону  
я не вижу. Я подхожу к балкону.  
Снег на крыши кладет попону,  
и дома стоят, как чужие.

II

10

Равенство, брат, исключает братство.  
В этом следует разобраться.  
Рабство всегда порождает рабство.  
Даже с помощью революций.  
Капиталист развел коммунистов.  
Коммунисты превратились в министров.  
Последние плодят морфинистов.  
Почитайте, что пишет Луций.

11

К нам не плышет золотая рыбка.  
Маркс в производстве не вяжет лыка.  
Труд не является товаром рынка.  
Так говорить — оскорблять рабочих.  
Труд — это цель бытия и форма.  
Деньги — как бы его платформа.  
Нечто помимо путей прокорма.  
Размотаем клубочек.

## 12

Вещи больше, чем их оценки.  
Сейчас экономика просто в центре.  
Объединяет нас вместо церкви,  
объясняет наши поступки.  
В общем, каждая единица  
по своему существу — девица.  
Она желает объединиться.  
Брюки просятся к юбке.

## 13

Шарик обычно стремится в лузу.  
(Я, вероятно, терзаю Музу.)  
Не Конкуренции, но Союзу  
принадлежит прекрасное завтра.  
(Я отнюдь не стремлюсь в пророки.  
Очень возможно, что эти строки  
сократят ожидания сроки:  
«Год засчитывать за два».)

## 14

Пробил час, и пора настала  
для брачных уз Труда-Капитала.  
Блеск презираемого металла  
(далее — изображение в лицах)  
приятней, чем пустота карманов,  
проще, чем чехарда тиранов,  
лучше цивилизации наркоманов,  
общества, выросшего на шприцах.

## 15

Грех первородства — не суть сиротства.  
Многим, бесспорно, любезней скотство.  
Проще различье найти, чем сходство:  
«У Труда с Капиталом контактов нету.»  
Тьфу-тьфу, мы выросли не в Исламе,  
хватит трепаться о пополаме.  
Есть влечение между полами.  
Полюса создают планету.

16

Как холостяк, я грущу о браке.  
Не жду, разумеется, чуда в раке.  
В семье есть ямы и буераки.  
Но супруги — единственный тип владельцев  
того, что они создают в усладе.  
Им не требуется «не укради».  
Иначе все пойдем Христа ради.  
Поберегите своих младенцев!

17

Мне, как поэту, все это чуждо.  
Больше: я знаю, что «коемуждо...»  
Пишу и вздрагиваю: вот чуть-то,  
неужто я против законной власти?  
Время спасет, коль они неправы.  
Мне хватает скандальной славы.  
Но плохая политика портит нравы.  
Это уж — по нашей части!

18

Деньги похожи на добродетель.  
Не падая сверху — Аллах свидетель, —  
деньги чаще летят на ветер  
не хуже честного слова.  
Ими не следует одолжаться.  
С нами в гроб они не ложатся.  
Им предписано умножаться,  
словно в баснях Крылова.

19

Задние мысли сильнее передних.  
Любая душа переплунет ледник.  
Конечно, обществу проповедник  
нужней, чем слесарь, науки.  
Но, пока нигде не слышать пророка,  
предлагаю — дабы еще до срока  
не угодить в объятья порока —  
займите чем-нибудь руки.

## 20

Я не занят, в общем, чужим блаженством.  
Это выглядит красивым жестом.  
Я занят внутренним совершенством:  
полночь — полбанки — лира.  
Для меня деревья дороже леса.  
У меня нет общего интереса.  
Но скорость внутреннего прогресса  
больше, чем скорость мира.

## 21

Это — основа любой известной  
изоляции. Дружба с бездной  
представляет сугубо местный  
интерес в наши дни. К тому же,  
это свойство несовместимо  
с братством, равенством и, вестимо,  
благородством невозместимо,  
недопустимо в муже.

## 22

Так, тоскуя о превосходстве,  
как Топтыгин на воеводстве,  
я пою вам о производстве.  
Буде указанный выше способ  
всеми правильно будет понят,  
общество лучших сынов нагонит,  
факел разума не уронит,  
осчастливит любую особь.

## 23

Иначе — верх возьмут телепаты,  
буддисты, спириты, препараты,  
фрейдисты, неврологи, психопаты.  
Кайф, состояние эйфории,  
диктовать нам будет свои законы.  
Наркоманы прицепят себе погоны.  
Шприц повесят вместо иконы  
Спасителя и Святой Марии.

24

Душу затянут большой вуалью.  
Объединят нас сплошной спиралью.  
Воткнут в розетку с этил-моралью.  
Речь освободят от глагола.  
Благодаря хорошему зелью,  
закружимся в облаках каруселью.  
Будем опускаться на землю  
исключительно для укола.

25

Я уже вижу наш мир, который  
покрыт паутиной лабораторий.  
А паутиною траекторий  
покрыт потолок. Как быстро!  
Это неприятно для глаза.  
Человечество увеличивается в три раза.  
В опасности белая раса.  
Неизбежно смертоубийство.

26

Либо нас перережут цветные.  
Либо мы их сошлем в иные  
миры. Вернемся в свои пивные.  
Но то и другое — не Христианство.  
Православные! Это не дело.  
Что вы смотрите обаддело?!  
Мы бы предали Божье Тело,  
расчищая себе пространство.

27

Я не воспитывался на софистах.  
Есть что-то дамское в пацифистах.  
Но чистых отделять от нечистых —  
не наше право, поверьте.  
Я не указываю на скрижали.  
Цветные нас, бесспорно, прижали.  
Но не мы их на свет рожали,  
не нам предавать их смерти.

## 28

Важно многим создать удобства.  
(Это можно найти у Гоббса.)  
Я сижу на стуле, считаю до ста.  
Чистка — грязная процедура.  
Не принято плясать на могиле.  
Создать изобилие в тесном мире —  
это по-христиански. Или:  
в этом и состоит Культура.

## 29

Нынче поклонники оборота  
«Религия — опиум для народа»  
поняли, что им дана свобода,  
дожили до золотого века.  
Но в таком реестре (издержки слога)  
свобода не выбрать — весьма убога.  
Обычно тот, кто плюет на Бога,  
плюет сначала на человека.

## 30

«Бога нет. А земля в ухабах.»  
«Да, не видать. Отключусь на бабах.»  
Творец, творящий в таких масштабах,  
делает слишком большие рейды  
между объектами. Так что то, что  
там Его царствие — это точно.  
Оно от мира сего заочно.  
Сядьте на свои табуреты!

## 31

Ночь. Переулок. Мороз блокады.  
Вдоль тротуаров лежат карпаты.  
Планеты раскачиваются, как лампы,  
которые Бог возжег в небосводе  
в благоговеньи Своем великом  
перед непознанным нами ликом  
(поэзия делает смотр уликам),  
как в огромном кивоте.

### III

#### 32

В Новогоднюю ночь я сижу на стуле.  
Ярким блеском горят кастрюли.  
Я прикладываюсь к микстуре.  
Нерв разошелся, как черт в сосуде.  
Ощущаю легкий пожар в затылке.  
Вспоминаю выпитые бутылки,  
вологодскую стражу, Кресты, Бутырки.  
Не хочу возражать по сути.

#### 33

Я сижу на стуле в большой квартире.  
Ниагара клоочет в пустом сортире.  
Я себя ощущаю мишенью в тире,  
вздрагиваю при малейшем стуке.  
Я закрыл парадное на засов, но  
ночь в меня целит рогами Овна,  
словно Амур из лука, словно  
Сталин в XVII-ый съезд из «тулки».

#### 34

Я включаю газ, согреваю кости.  
Я сижу на стуле, трясусь от злости.  
Не желаю искать жемчуга в компосте!  
Я беру на себя эту смелость!  
Пусть изучает навоз кто хочет.  
Патриот, господа, не крыловский кочет.  
Пусть КГБ на меня не дробит.  
Не бренчи ты в подкладке, мелочь!

#### 35

Я дышу серебром и харкаю медью!  
Меня ловят багром и дырявой сетью.  
Я дразню гусей и иду к бессмертью,  
дайте мне хворостину!  
Я беснуюсь, как мышь в пустоте сусека!  
Выносите святых и портрет Генсека!

Раздается в лесу топор дровосека!  
Поваляюсь в сугробе, авось, остыну.

### 36

Ничего не остыну! Вообще забудьте!  
Я помышляю почти о бунте!  
Не присягал я косому Будде,  
за червонец помчусь за зайцем!  
Пусть закроется — где стамеска! —  
яснополянская хлеборезка!  
Непротивленье, панове, мерзко.  
Это мне — как серпом по яйцам!

### 37

Как Аристотель на дне колодца,  
откуда не ведаю что берется.  
Зло существует, чтоб с ним бороться,  
а не взвешивать в коромысле.  
Всех, скорбящих по индивиду,  
всех, подверженных конъюнктивиту,  
— всех к той матери по алфавиту:  
демократия в полном смысле!

### 38

Я люблю родные поля, лощины,  
реки, озера, холмов морщины.  
Все хорошо. Но дерьмо мужчины.  
В теле, а духом слабы.  
Это я верный закон накнокал.  
Все утирается ясный сокол.  
Господа, разбейте хоть пару стекол!  
Как только терпят бабы?

### 39

Грустная ночь у меня сегодня.  
Смотрит с обоев былая сотня.  
Можно поехать в бордель, и сводня —  
нумизматка — будет согласна.  
Лень отклеивать, суетиться.  
Остается тихо сидеть, поститься

да напротив в окно креститься,  
пока оно не погасло.

40

«Зелень лета, эх, зелень лета!  
Что мне шепчет куст бересклета?  
Хорошо пройтись без жилета!  
Зелень лета вернется.  
Ходит девочка, эх, в платочке.  
Ходит по полю, рвет цветочки.  
Взять бы в дочки, эх, взять бы в дочки.  
В небе ласточка вьется.»

*Январь 1967*

## ОТКРЫТКА ИЗ ГОРОДА К.

*Томасу Венцлова*

Развалины есть праздник кислорода  
и времени. Новейший Архимед  
прибавить мог бы к старому закону,  
что тело, помещенное в пространство,  
пространством вытесняется.

Вода  
дробит в зеркале пасмурном руины  
Дворца Курфюрста; и, небось, теперь  
пророчествам реки он больше внимлет,  
чем в те самоуверенные дни,  
когда курфюрст его отгрохал.

Кто-то  
среди развалин бродит, вороша  
листву запрошлогоднюю. То — ветер,  
как блудный сын, вернулся в отчий дом  
и сразу получил все письма.

1967

## ПАМЯТИ Т. Б.

### 1

Пока не увяли цветы и лента  
еще не прошла через зелень лета,  
покуда черна и вольна цыганить,  
ибо настолько длинна, что память  
моя, как бы внемля ее призыву,  
потянет ее, вероятно, в зиму,—

### 2

прими от меня эту рифмо-лепту,  
которая если пройдет сквозь Лету,  
то потому, что пошла с тобою  
опередившей меня стопою;  
и это будет тогда, подруга,  
твоя последняя мне услуга.

### 3

Вот уж не думал увидеть столько  
роз; это — долг, процент, неустойка  
лета тому, кто бесспорно должен  
сам бы собрать их в полях, но дожил  
лишь до цветенья, а им оставил  
полную волю в трактовке правил.

### 4

То-то они тут и спят навалом.  
Ибо природа честна и в малом,  
если дело идет о боли  
нашей; однако, не в нашей воле  
эти мотивы назвать благими;  
смерть — это то, что бывает с другими.

## 5

Смерть — это то, что бывает с другими.  
Даже у каждой пускай богини  
Есть фавориты в разряде смертных,  
точно известно, что вовсе нет их  
у Персефоны; а рябь извилин  
тем доверяет, чей брак стабилен.

## 6

Все это помнить, пока есть сила,  
пока все это свежо и сыро,  
пока оболочка твоя, вернее —  
прощанье с ней для меня больнее,  
чем расставанье с твоей душою,  
о каковой на себя с большою

## 7

радостью Бог — о котором после,  
будет ли то Магомет, Христос ли,  
словом, кого сама избрала ты  
раньше, при жизни — возьмет заботы  
о несомненном грядущем благе; —  
пока сосуд беззащитной влаги,

## 8

с того разреши мне на этом свете  
сказать о ее, оболочки, смерти,  
о том, что случилось в тот вечер в Финском  
заливе и стало на зависть сфинксам  
загадкой — ибо челнок твой вовсе  
не затонул, но остался возле.

## 9

Вряд ли ты знала тогда об этом,  
лодка не может и быть предметом  
бдений души, у которой сразу  
масса забот, недоступных глазу,  
стоит ей только покинуть тело;  
вряд ли ты знала, едва ль хотела

## 10

мучить нас тайной, чья сложность либо усугубляет страданье (ибо повод к разлуке важней разлуки), либо она облегчает муки при детективном душевном складе; даже пускай ты старалась ради

## 11

этих последних, затем что, все же, их большинство, все равно похоже, что и для них, чьи глаза от плача ты пожелала сберечь, задача неразрешима; и блеск на перлах их многоточия — слезы первых.

## 12

Чаек не спросишь, и тучи скрылись. Что бы смогли мы увидеть, сияясь глянуть на все это птичьим взглядом? Как ты качалась на волнах рядом с лодкой, не внемля их резким крикам, лежа в столь малом и в столь великом

## 13

от челнока расстоянья. Точно так и бывает во сне; но то, что ты не цеплялась, — победа яви: ибо, страдая во сне, мы вправе разом проснуться и с дрожью в теле впитаться пальцами в край постели.

## 14

Чаек не спросишь, и нету толка в гомоне волн. Остаются только тучи — но их разгоняет ветер. Ибо у смерти всегда свидетель он же и жертва. И к этой новой роли двойной ты была готовой.

## 15

Впрочем и так, при любом разбросе складов душевных, в самом вопросе «Чем это было?» разгадки средство. Самоубийством? Разрывом сердца в слишком холодной воде залива? Жизнь позволяет поставить «либо».

## 16

Эта частица отнюдь не фора воображенью, но просто форма тождества двух вариантов, выбор между которыми — если выпал — преобразует неподвижность чистых. двух параллельных в поток волнистых.

## 17

Эта частица — кошмар пророков — способ защиты от всех упреков в том, что я в саване хищно роюсь, в том, что я «плохо о мертвой» — то есть, самоубийство есть грех и вето; а я за тобой полагаю это.

## 18

Ибо, включая и этот случай, все ж, ты была христианкой лучшей, нежели я. И, быть может, с точки зрения тюркских певцов чьи строчки пела ты мне, и вообще Ислама, в этом нет ни греха, ни срама.

## 19

Толком не знаю. Но в каждой вере есть та черта, что по крайней мере объединяет ее с другими: то не запреты, а то, какими люди были внизу, при жизни, в полной серпов и крестов отчизне.

## 20

Так что ты можешь идти без страха:  
ризы Христа иль чалмы Аллаха,  
соединенье газели с пловом  
или цветущие кущи — словом,  
в два варианта Эдема двери  
настежь раскрыты, смотря по вере.

## 21

То есть, одетый в любое платье  
Бог тебя примет в свое объятие,  
и не в любви тут дело Отчей:  
в том, что, нарушив довольно общий  
смутный завет, ты другой, подробный,  
твердо хранила: была ты доброй.

## 22

Это на счетах любых дороже:  
здесь на земле, да и в горних тоже.  
Время повсюду едино. Годы  
жизни повсюду важней, чем воды,  
рельсы, петля или вскрытие вены;  
все эти вещи почти мгновенны.

## 23

Так что твой грех, говоря по сути,  
равен — относится к той минуте,  
когда ты глотнула последний воздух,  
в легких с которым лежать на водах  
так и осталась, качаясь мерно.  
А добродетель твоя, наверно,

## 24

эту минуту и ветра посвист  
перерастет, как уже твой возраст  
переросла, ибо день, когда я  
данные строки, почти рыдая,  
соединяю, уже превысил  
разность выбитых в камне чисел.

25

Черная лента цыганит с ветром.  
Странно тебя оставлять нам в этом  
месте, под грудой цветов, в могиле,  
здесь, где люди лежат, как жили:  
в вечной своей темноте, в границах;  
разница вся в тишине и птицах.

26

Странно теперь, когда ты в юдоли  
лучшей, чем наша, нам плакать. То ли  
вера слаба, то ли нервы слабы:  
жалость уместней Господней Славы  
в мире, где души живут лишь в теле.  
Плачу, как будто на самом деле

27

что-то остаться могло живое.  
Ибо, когда расстаются двое,  
то, перед тем как открыть ворота,  
каждый берет у другого что-то  
в память о том, как их век был прожит:  
тело — незримость; душа, быть может,

28

зренье и слух. Оттого и плачу,  
что неглубоко надежду прячу,  
будто ты слышишь меня и видишь,  
но со словами ко мне не выйдешь:  
ибо душа, что набрала много,  
речь не взяла, чтоб не гневить Бога.

29

Плачу. Вернее, пишу, что слезы  
льются, что губы дрожат, что розы  
вянут, что запах лекарств и дерна  
резок. Писать о вещах, бесспорно,  
тебе до смерти известных, значит  
плакать за ту, что сама не плачет.

### 30

Разве ты знала о смерти больше,  
нежели мы? Лишь о боли. Боль же  
учит не смерти, но жизни. Только  
то ты и знала, что сам я. Столько  
было о смерти тебе известно,  
сколько о браке узнать невеста

### 31

может: не о любви — о браке.  
Не о накале страстей, о шлаке  
этих страстей, о холодном, колком  
шлаке — короче, об этом долгом  
времени жизни, о зимах, летах.  
Так что сейчас, в этих черных лентах

### 32

ты как невеста. Тебе, не знавшей  
брака при жизни, из жизни нашей  
прочь уходящей, покрытой дерном,  
смерть — это брак, это свадьба в черном,  
это те узы, что год от года  
только прочнее, раз нет развода.

### 33

Слышишь, опять Персефоны голос?  
Тонкий в руках ее вьется волос  
жизни твоей, рассеченный Паркой.  
То Персефона поет над прялкой  
песню о верности вечной мужу;  
только напев и плывет наружу.

### 34

Будем помнить тебя. Не будем  
помнить тебя. Потому что людям  
свойственна тяга к объектам зримым  
или к предметам настолько мнимым,  
что не под силу сердечным нетям.  
И, не являясь ни тем, ни этим,

### 35

ты остаешься мазком, наброском,  
именем, чуждым своим же тезкам  
и не бросающим смертной тени  
даже на них. Что поделаться с теми,  
тел у кого, чем имен, намного  
больше? Но эти пока два слога —

### 36

ТАНЯ — еще означают тело  
только твое, не пуская в дело  
анестезию рассудка, ими  
губы свои раздвигая, имя  
я подвергаю твое огласке  
в виде последней для тела ласки.

### 37

Имя твое расстается с горлом  
сдавленным. Пользуясь впредь глаголом,  
созданным смертью, чтоб мы пропажи  
не замечали, кто знает, даже  
сам я считать не начну едва ли  
будто тебя «умерла» и звали.

### 38

Если сумею живым, здоровым  
столько же с этим прожить я словом  
лет, сколько ты прожила на свете,  
помни, в Две Тысячи Первом лете,  
с риском быть вписанным в святотатцы,  
стану просить, чтоб расширить святцы.

### 39

Так, не сумевши ступать по водам,  
с каждым начнешь становиться годом,  
туфельки следом на волнах тая,  
все беспредметней; и — сам когда я,  
не дотянувши до этой даты,  
посуху двину туда, куда ты

## 40

первой ушла, в ту страну, где все мы души всего лишь, бесплотны, немы, то есть где все,— мудрецы, придурки,— все на одно мы лицо, как тюрки,— вряд ли сыщу тебя в тех покоях, встреча с тобой оправданье коих.

## 41

Может, и к лучшему. Что сказать бы смог бы тебе я? Про наши свадьбы, роды, разводы, поход сквозь трубы медные, пламень, чужие губы; то есть, с каким беспримерным рвением трудимся мы над твоим забвеньем.

## 42

Стоит ли? Вряд ли. Не стоит строчки. Как две прямых расстанутся в точке, пересекаясь, простимся. Вряд ли свидимся вновь, будь то Рай ли, Ад ли. Два этих жизни посмертной вида лишь продолжение идей Эвклида.

## 43

Спи же. Ты лучше была, а это в случае смерти всегда примета, знак невозможности, как при жизни, с худшим свиданья. Затем, что вниз не спустишься. Впрочем, долой ходули — до несвиданья в Раю, в Аду ли.

1968

## ПИСЬМО ГЕНЕРАЛУ Z

*«Война, Ваша Светлость, пустая игра.  
Сегодня — удача, а завтра — дыра...»*

*Песнь об осаде Ла-Рошели*

Генерал! Наши карты — дерьмо. Я пас.  
Север вовсе не здесь, но в Полярном Круге.  
И Экватор шире, чем ваш лампас.  
Потому что фронт, генерал, на Юге.  
На таком расстоянии любой приказ  
превращается рацией в буги-вуги.

Генерал! Ералаш перерос в бардак.  
Бездорожье не даст подвести резервы  
и сменить белье: простыня — наждак;  
это, знаете, действует мне на нервы.  
Никогда до сих пор, полагаю, так  
не был загажен алтарь Минервы.

Генерал! Мы так долго сидим в грязи,  
что король червей загодя ликует,  
и кукушка безмолвствует. Упаси,  
впрочем, нас услышать, как она кукует.  
Я считаю, надо сказать мерси,  
что противник не атакует.

Наши пушки уткнулись стволами вниз,  
ядра размякли. Одни горнисты,  
трубы свои извлекая из  
чехлов, как заядлые онанисты,  
драют их сутками так, что вдруг  
те исторгают звук.

Офицеры бродят, презрев устав,  
в галифе и кителях разной масти.  
Рядовые в кустах на сухих местах  
предаются друг с другом постыдной страсти,

и краснеет, спуская пунцовый стяг,  
наш сержант-холостяк.

---

Генерал! Я сражался всегда, везде,  
как бы ни были шансы малы и шатки.  
Я не нуждался в другой звезде,  
кроме той, что у вас на шапке.  
Но теперь я как в сказке о том гвозде:  
вбитом в стену, лишенном шляпки.

Генерал! К сожалению, жизнь — одна.  
Чтоб не искать доказательств вящих,  
нам придется испить до дна  
чашу свою в этих скромных чашах:  
жизнь, вероятно, не так длинна,  
чтоб откладывать худшее в долгий ящик.

Генерал! Только душам нужны тела.  
Души ж, известно, чужды злорадства,

и сюда нас, думаю, завела  
не стратегия даже, но жажда братства;  
лучше в чужие встречать дела,  
коли в своих нам не разобратся.

Генерал! И теперь у меня — мандраж.  
Не пойму, отчего: от стыда ль, от страха ль?  
От нехватки дам? Или просто — блажь?  
Не помогает ни врач, ни знахарь.  
Оттого, наверно, что повар ваш  
не разбирает, где соль, где сахар.

Генерал! Я боюсь, мы зашли в тупик.  
Это — месь пространства косой сажени.  
Наши пики ржавеют. Наличье пик —  
это еще не залог мишени.  
И не двинется тень наша дальше нас  
даже в закатный час.

---

Генерал! Вы знаете, я не трус.  
Выньте досье, наведите справки.  
К пуле я безразличен. Плюс  
я не боюсь ни врага, ни ставки.

Пусть мне прилепят бубновый туз  
между лопаток — прошу отставки!

Я не хочу умирать из-за  
двух или трех королей, которых  
я вообще не видал в глаза  
(дело не в шорах, но в пыльных шторах).  
Впрочем, и жить за них тоже мне  
неохота. Вдвойне.

Генерал! Мне все надоело. Мне  
скучен крестовый поход. Мне скучен  
вид застывших в моем окне  
гор, перелесков, речных излучин.  
Плохо, ежели мир вовне  
изучен тем, кто внутри измучен.

Генерал! Я не думаю, что ряды  
ваши покинув, я их ослаблю.  
В этом не будет большой беды:  
я не солист, но я чужд ансамблю.  
Вынув мундштук из своей дуды,  
жгу свой мундир и ломаю саблю.

---

Птиц не видать, но они слышны.  
Снайпер, томясь от духовной жажды,  
то ли приказ, то ль письмо жены,  
сидя на ветке, читает дважды,  
и берет от скуки художник наш  
пушку на карандаш.

Генерал! Только Время оценит вас,  
ваши Канны, флешы, каре, когорты.  
В академиях будут впадать в экстаз;  
ваши баталии и натюрморты  
будут служить расширенью глаз,  
взглядов на мир и вообще аорты.

Генерал! Я вам должен сказать, что вы  
вроде крылатого льва при входе  
в некий подъезд. Ибо вас, увы,  
не существует вообще в природе.

Нет, не то, что бы вы мертвы  
или же биты — вас нет в колоде.

Генерал! Пусть меня отдадут под суд!  
Я вас хочу ознакомить с делом:  
сумма страданий дает абсурд;  
пусть же абсурд обладает телом!  
И да маячит его сосуд  
чем-то черным на чем-то белом.

Генерал, скажу вам еще одно:  
Генерал! Я взял вас для рифмы к слову  
«умирал» — что было со мною, но  
Бог до конца от зерна полу  
не отделил, и сейчас ее  
употреблять — вранье.

---

На пустыре, где в ночи горят  
два фонаря и гниют вагоны,  
наполовину с себя наряд  
сняв шутовской и сорвав погоны,  
я застываю, встречая взгляд  
камеры Лейц или глаз Горгоны.

Ночь. Мои мысли полны одной  
женщиной, чудной внутри и в профиль.  
То, что творится сейчас со мной,  
ниже небес, но превыше кровель.  
То, что творится со мной сейчас,  
не оскорбляет вас.

---

Генерал! Вас нету, и речь моя  
обращена, как обычно, ныне  
в ту пустоту, чьи края — края  
некой обширной, глухой пустыни,  
коей на картах, что вы и я  
видеть могли, даже нет в помине.

Генерал! Если все-таки вы меня  
слышите, значит, пустыня прячет  
некий оазис в себе, маня  
всадника этим; а всадник, значит,

я; я пришпориваю коня;  
конь, генерал, никуда не скачет.

Генерал! Воевавший всегда, как лев,  
я оставляю пятно на флаге.  
Генерал, даже карточный домик — хлев.  
Я пишу вам рапорт, припадаю к флаге.  
Для переживших великий блеф  
жизнь оставляет клочок бумаги.

1968

## ПОСВЯЩАЕТСЯ ЯЛТЕ

История, рассказанная ниже, правдива. К сожалению, в наши дни не только ложь, но и простая правда нуждается в солидных подтверждениях и доводах. Не есть ли это знак, что мы вступаем в совершенно новый, но грустный мир? Доказанная правда есть, собственно, не правда, а всего лишь сумма доказательств. Но теперь не говорят «я верю», а «согласен».

В атомный век людей волнуют больше не вещи, а строение вещей. И, как ребенок, распатронив куклу, рыдает, обнаружив в ней труху, так подоплеку тех или иных событий мы обычно принимаем за самые события. В этом есть свое очарование, поскольку мотивы, отношения, среда и прочее — все это жизнь. А к жизни нас приучили относиться как к объекту наших умозаключений.

И кажется порой, что нужно только переплести мотивы, отношения, среду, проблемы — и произойдет событие; допустим, преступление. Ан нет. За окнами — обычный день, накрапывает дождь, бегут машины, и телефонный аппарат (клубок катодов, спаек клемм, сопротивлений)

безмолвствует. Событие, увы,  
не происходит. Впрочем, слава Богу.

Описанное здесь случилось в Ялте. Естественно, что я пойду навстречу указанному выше представленью о правде — то есть, стану потрошить ту куколку. Но да простит меня читатель добрый, если кое-где прибавлю к правде элемент Искусства, которое, в конечном счете, есть основа всех событий (хоть искусство писателя не есть Искусство жизни, а лишь его подобье).

Показанья свидетелей даются в том порядке, в каком они снимались. Вот пример зависимости правды от искусства, а не искусства — от наличья правды.

## 1

«Он позвонил в тот вечер и сказал, что не придет. А мы с ним сговорились еще во вторник, что в субботу он ко мне заглянет. Да, как раз во вторник. Я позвонил ему и пригласил его зайти, и он сказал: «В субботу». С какою целью? Просто мы давно хотели сесть и разобрать совместно один дебют Чигорина. И все. Другой, как вы тут выразились, цели у встречи нашей не было. При том условии, конечно, что желанье увидеться с приятным человеком не называют целью. Впрочем, вам видней... но, к сожалению, в тот вечер он, позвонив, сказал, что не придет. А жаль! Я так хотел его увидеть.

Как вы сказали: был взволнован? Нет. Он говорил своим обычным тоном. Конечно, телефон есть телефон; но, знаете, когда лица не видно,

чуть-чуть острее воспринимаешь голос. Я не слышал волнения... Вообще-то он как-то странно составлял слова. Речь состояла более из пауз, всегда смущавших несколько. Ведь мы молчанье собеседника обычно воспринимаем как работу мысли. А это было чистое молчанье. Вы начинали ощущать свою зависимость от этой тишины, и это сильно раздражало многих. Нет, я-то знал, что это результат контузии. Да, я уверен в этом. А чем еще вы объясните... Как? Да, значит, он не волновался. Впрочем, ведь я сужу по голосу, и только. Скажу, во всяком случае, одно: тогда во вторник и потом в субботу он говорил обычным тоном. Если за это время что-то и стряслось, то не в субботу. Он же позвонил! Взволнованные так не поступают! Я, например, когда волнуюсь... Что? Как протекал наш разговор? Извольте. Как только прозвучал звонок, я тотчас снял трубку. «Добрый вечер, это я. Мне нужно перед вами извиниться. Так получилось, что придти сегодня я не сумею». Правда? Очень жаль. Быть может, в среду? Мне вам позвонить? Помилуйте, какие тут обиды! Так до среды? И он: «Спокойной ночи». Да, это было около восьми. Повесив трубку, я прибрал посуду и вынул доску. Он в последний раз советовал пойти ферзем Е-8. То был какой-то странный, смутный ход. Почти нелепый. И совсем не в духе Чигорина. Нелепый, странный ход, не изменявший ничего, но этим на нет сводивший самый смысл этюда. В любой игре существенен итог: победа, поражение, пусть ничейный, но все же — результат. А этот ход —

он как бы вызывал у тех фигур сомнение в своем существовании. Я просидел с доской до поздней ночи. Быть может, так когда-нибудь и будут играть, но что касается меня... Простите, я не понял: говорит ли мне что-нибудь такое имя? Да. Пять лет назад мы с нею разошлись. Да, правильно: мы не были женаты. Он знал об этом? Думаю, что нет. Она бы говорить ему не стала. Что? Эта фотография? Ее я убирал перед его приходом. Нет, что вы! вам не нужно извиняться. Такой вопрос естественен, и я... Откуда мне известно об убийстве? Она мне позвонила в ту же ночь. Вот у кого взволнованный был голос!»

## 2

«Последний год я виделась с ним редко, но виделась. Он приходил ко мне два раза в месяц. Иногда и реже. А в октябре не приходил совсем. Обычно он предупреждал звонком заранее. Примерно за неделю. Чтоб не случилось путаницы. Я, вы знаете, работаю в театре. Там вечно неожиданности. Вдруг заболевает кто-нибудь, сбегает на киносъемку — нужно заменять. Ну, в общем, в этом духе. И к тому же — к тому ж он знал, что у меня теперь... Да, верно. Но откуда вам известно? А впрочем, это ваше амплуа. Но то, что есть теперь, ну, это, в общем, серьезно. То есть я хочу сказать, что это... Да, и несмотря на это, я с ним встречалась. Как вам объяснить! Он, видите ли, был довольно странным и непохожим на других. Да все, все люди друг на друга непохожи, Но он был непохож на всех других.

Да, это в нем меня и привлекало. Когда мы были вместе, все вокруг существовать переставало. То есть, все продолжало двигаться, вертеться — мир жил; и он его не заслонял. Нет! я вам говорю не о любви! Мир жил. Но на поверхности вещей — как движущихся, так и неподвижных — вдруг возникало что-то вроде пленки, вернее — пыли, придававшей им какое-то бессмысленное сходство. Так, знаете, в больницах красят белым и потолки, и стены, и кровати. Ну, вот представьте комнату мою, засыпанную снегом. Правда, странно? А вместе с тем, не кажется ли вам, что мебель только выиграла б от такой метаморфозы? Нет? А жалко. Я думала тогда, что это сходство и есть действительная внешность мира. Я дорожила этим ощущением.

Да, именно поэтому я с ним совсем не порывала. А во имя чего, простите, следовало мне расстаться с ним? Во имя капитана? А я так не считаю. Он, конечно, серьезный человек, хоть офицер. Но это ощущение для меня всего важнее! Разве он сумел бы мне дать его? О Господи, я только сейчас и начинаю понимать, насколько важным было для меня то ощущение! Да, и это странно... Что именно? Да то, что я сама отныне стану лишь частичкой мира, что и на мне появится налет той патины. А я-то буду думать, что непохожа на других!.. Пока мы думаем, что мы неповторимы, мы ничего не знаем. Ужас, ужас.

Простите, я налью себе вина. Вы тоже? С удовольствием. Ну что вы,

я ничего не думаю! Когда  
и где мы познакомились? Не помню.  
Мне кажется, на пляже. Верно, там:  
в Ливадии, на санаторском пляже.  
А где еще встречаешься с людьми  
в такой дыре, как наша? Как, однако,  
вам все известно обо мне! Зато  
вам никогда не угадать тех слов,  
с которых наше началось знакомство.  
А он сказал мне: «Понимаю, как  
я вам противен, но...» — что было дальше,  
не так уж важно. Правда, ничего?  
Как женщина, советую принять  
вам эту фразу на вооруженье.  
Что мне известно о его семье?  
Да ровным счетом ничего. Как будто,  
как будто сын был у него — но где?  
А впрочем, нет, я путаю: ребенок  
у капитана. Да, мальчишка, школьник.  
Угрюм; но, в общем, вылитый отец...  
Нет, о семье я ничего не знаю.  
И о знакомых тоже. Он меня  
ни с кем, насколько помню, не знакомил.  
Простите, я налью себе еще.  
Да, совершенно верно: душный вечер.

Нет, я не знаю, кто его убил.  
Как вы сказали? Что вы! Это — тряпка.  
Сошел с ума от ферзевых гамбитов.  
К тому ж, они приятели. Чего  
я не могла понять, так этой дружбы.  
Там, в ихнем клубе, они так дымят,  
что могут завонять весь Южный Берег.  
Нет, капитан в тот вечер был в театре.  
Конечно, в штатском! Я не выношу  
их форму. И потом мы возвращались  
обратно вместе.

Мы его нашли  
в моем парадном. Он лежал в дверях.  
Сначала мы решили — это пьяный.  
У нас в парадном, знаете, темно.  
Но тут я по плащу его узнала:  
на нем был белый плащ, но весь в грязи.  
Да, он не пил. Я знаю это твердо;

да, видимо, он полз. И долго полз.  
Потом? Ну, мы внесли его ко мне  
и позвонили в отделение. Я?  
Нет — капитан. Мне было просто худо.

Да, все это действительно кошмар.  
Вы тоже так считаете? Как странно.  
Ведь это — ваша служба. Вы правы:  
да, к этому вообще привыкнуть трудно.  
И вы ведь тоже человек... Простите!  
Я неудачно выразилась... Да,  
пожалуйста, но мне не наливайте.  
Мне хватит. И к тому ж я плохо сплю,  
а утром — репетиция. Ну, разве  
как средство от бессонницы. Вы в этом  
убеждены? Тогда — один глоток.  
Вы правы, нынче очень, очень душно.  
И тяжело. И совершенно нечем  
дышать. И все мешает. Духота.  
Я задыхаюсь, Да. А вы? А вы?  
Вы тоже, да? А вы? А вы? Я больше —  
я больше ничего не знаю. Да?  
Я совершенно ничего не знаю.  
Ну что вам нужно от меня? Ну что вы...  
Ну что ты хочешь? А? Ну что? Ну что?»

### 3

«Так вы считаете, что я обязан  
давать вам объяснения? Ну что ж,  
обязан так обязан. Но учтите:  
я вас разочарую, так как мне  
о нем известно, безусловно, меньше,  
чем вам. Хотя того, что мне известно,  
достаточно, чтобы сойти с ума.  
Вам, полагаю, это не грозит,  
поскольку вы... Да, совершенно верно:  
я ненавижу этого субъекта.  
Причины вам, я думаю, ясны.  
А если нет — вдаваться в объяснения  
бессмысленно. Тем более, что вас,  
в конце концов, интересуют факты.  
Так вот: я признаю, что ненавижу.

Нет, мы с ним не были знакомы. Я — я знал, что у нее бывает кто-то. Но я не знал, кто именно. Она, конечно, ничего не говорила. Но я-то знал! Чтоб это знать, не нужно быть Шерлок Холмсом вроде вас. Вполне достаточно обычного внимания. Тем более... Да, слепота возможна. Но вы совсем не знаете ее! Ведь если она мне не говорила об этом типе, то не для того, чтоб что-то скрыть! Ей просто не хотелось расстраивать меня. Да и скрывать там, в общем, было нечего. Она же сама призналась — я ее припер к стене — что скоро год, как ничего уже меж ними не было... Не понял — поверил ли я ей? Ну да, поверил. Другое дело, стало ли мне легче.

Возможно, вы и правы. Вам видней. Но если люди что-то говорят, то не затем, чтоб им не доверяли. По мне, уже само движение губ существенней, чем правда и неправда: в движении губ гораздо больше жизни, чем в том, что эти губы произносят. Вот я сказал вам, что поверил; нет! Здесь было нечто большее. Я просто увидел, что она мне говорит. (Заметьте, не услышал, но увидел!) Поймите, предо мной был человек. Он говорил, дышал и шевелился. Я не хотел считать все это ложью, да и не мог... Вас удивляет, как с таким подходом к человеку все же я ухитрился получить четыре звезды? Но это — маленькие звезды. Я начинал совсем иначе. Те, с кем начинал я, — те давно имеют большие звезды. Многие и по две. (Прибавьте к вашей версии, что я еще и неудачник; это будет способствовать ее правдоподобью.)

Я, повторяю, начинал иначе.  
Я, как и вы, везде искал подвох.  
И находил, естественно. Солдаты —  
такой народ — все время норовят  
начальство охмурить... Но как-то я  
под Кошице, в сорок четвертом, понял,  
что это глупо. Предо мной в снегу  
лежало двадцать восемь человек,  
которым я не доверял, — солдаты.  
Что? Почему я говорю о том,  
что не имеет отношения к делу?  
Я только отвечал на ваш вопрос.

Да, я вдовец. Уже четыре года.  
Да, дети есть. Один ребенок, сын.  
Где находился вечером в субботу?  
В театре. А потом я провожал  
ее домой. Да, он лежал в парадном.  
Что? Как я реагировал? Никак.  
Конечно, я узнал его. Я видел  
их вместе как-то раз в универмаге.  
Они там что-то покупали. Я  
тогда и понял...

Дело в том, что с ним  
я сталкивался изредка на пляже.  
Нам нравилось одно и то же место —  
там, знаете, у сетки. И всегда  
я видел у него на шее пятна...  
те самые, ну, знаете... Ну вот.  
Однажды я сказал ему — ну, что-то  
насчет погоды — и тогда он быстро  
ко мне нагнулся и, не глядя на  
меня, сказал: «Мне как-то с вами неохота»,  
и только через несколько секунд  
добавил: «разговаривать». При этом  
все время он смотрел куда-то вверх.  
Вот в ту минуту я, клянусь вам, мог  
убить его. В глазах моих стемнело,  
я ощутил, как заливают мозг  
горячая волна, и на мгновение,  
мне кажется, я потерял сознание.  
Когда я, наконец, пришел в себя,  
он возлежал уже на прежнем месте,  
накрыв лицо газетой, и на шее

темнели эти самые подтеки...  
Да, я не знал тогда, что это — он.  
По счастью, я еще знаком с ней не был.  
Потом? Потом он, кажется, исчез;  
я как-то не встречал его на пляже.  
Потом был вечер в Доме Офицеров,  
и мы с ней познакомились. Потом  
я увидал их там, в универмаге...  
Поэтому его в субботу ночью  
я сразу же узнал. Сказать вам правду,  
я до известной степени был рад.  
Иначе все могло тянуться вечно,  
и всякий раз после его визитов  
она была немного не в себе.  
Теперь, надеюсь, все пойдет как надо.  
Сначала будет малость тяжело,  
но я-то знаю, что в конце концов  
убитых забывают. И к тому же  
мы, видимо, уедем. У меня  
есть вызов в Академию. Да, в Киев.  
Ее возьмут в любой театр. А сын  
с ней очень дружит. И, возможно, мы  
с ней заведем и своего ребенка.  
Я — хахаха — как видите, еще...  
Да, я имею личное оружие.  
Да нет, не «стечкин» — просто у меня  
еще с войны трофейный парабеллум.  
Ну да, раненье было огнестрельным».

#### 4

«В тот вечер батя отвалил в театр,  
а я остался дома вместе с бабкой.  
Ага, мы с ней смотрели телевизор.  
Уроки? Так ведь то ж была суббота!  
Да, значит телевизор. Про чего?  
Сейчас уже не помню. Не про Зорге?  
Ага, про Зорге! Только до конца  
я не смотрел — я видел это раньше.  
У нас была экскурсия в кино.  
Ну вот... С какого места я ушел?  
Ну, это там, где Клаузен и немцы.  
Верней, японцы... и потом они  
еще плывут вдоль берега на лодке.

Да, это было после девяти.  
Наверно. Потому что гастроном  
они в субботу закрывают в десять,  
а я хотел мороженого. Нет,  
я посмотрел в окно — ведь он напротив.  
Да, и тогда я захотел пройтись.  
Нет, бабке не сказался. Почему?  
Она бы зарычала — ну, пальто,  
перчатки, шапка — в общем, все такое.  
Ага, был в куртке. Нет, совсем не в этой,  
а в той, что с капюшоном. Да, она  
на молнии.

Да, положил в карман.  
Да нет, я просто знал, где ключ он прячет...  
Конечно, просто так! И вовсе не  
для хвастовства! Кому бы стал я хвастать?  
Да, было поздно и вообще темно.  
О чем я думал? Ни о чем не думал.  
По-моему, я просто шел и шел.

Что? Как я очутился наверху?  
Не помню... в общем, потому что сверху  
спускаешься когда, перед тобой  
все время — гавань. И огни в порту.  
Да, верно, и стараешься представить,  
что там творится. И вообще когда  
уже домой — приятнее спускаться.  
Да, было тихо и была луна.  
Ну, в общем было здорово красиво.  
Навстречу? Нет, никто не попадался.  
Нет, я не знал, который час. Но «Пушкин»  
в субботу отправляется в двенадцать,  
а он еще стоял — там, на корме,  
салон для танцев, где цветные стекла,  
и сверху это вроде изумруда.  
Ага, и вот тогда...

Чего? Да нет же!  
Еённый дом над парком, а его  
я встретил возле выхода из парка.  
Чего? а вообще у нас какие  
с ней отношения? Ну как — она  
красивая. И бабка так считает.  
И вроде ничего, не лезет в душу.  
Но мне-то это, в общем, все равно.

Папаша разберется...

Да, у входа.

Ага, курил. Ну да, я попросил, а он мне не дал и потом... Ну, в общем, он мне сказал: «А ну катись отсюда» и чуть попозже — я уж отошел шагов на десять, может быть, и больше — вполголоса прибавил: «негодяй». Стояла тишина, и я услышал. Не знаю, что произошло со мной! Ага, как будто кто меня ударил. Мне словно чем-то залило глаза, и я не помню, как я обернулся и выстрелил в него! Но не попал: он продолжал стоять на прежнем месте и, кажется, курил. И я... и я... Я закричал и бросился бежать. А он — а он стоял...

Никто со мною так никогда не говорил! А что, а что я сделал? Только попросил. Да, папиросу. Пусть и папиросу! Я знаю, это плохо. Но у нас почти все курят. Мне и не хотелось курить-то даже! Я бы не курил, я только подержал бы... Нет же! нет же! Я не хотел себе казаться взрослым! Ведь я бы не курил! Но там, в порту, везде огни и светлячки на рейде... И здесь бы тоже... Нет, я не могу как следует все это... Если можно, прошу вас: не рассказывайте бате! А то убьет... Да, положил на место. А бабка? Нет, она уже уснула. Не выключила даже телевизор, и там мелькали полосы... Я сразу, я сразу положил его на место и лег в кровать! Не говорите бате! Не то убьет! Ведь я же не попал! Я промахнулся! Правда? Правда? Правда?!»

## 5

Такой-то и такой-то. Сорок лет.  
Национальность. Холост. Дети — прочерк.

Откуда прибыл. Где прописан. Где, когда и кем был найден мертвым. Дальше идут подозреваемые: трое. Итак, подозреваемые — трое. Вообще, сама возможность заподозрить трех человек в убийстве одного весьма красноречива. Да, конечно, три человека могут совершить одно и то же. Скажем, съесть цыпленка. Но тут — убийство. И в самом том факте, что подозрение пало на троих, залог того, что каждый был способен убить. И этот факт лишает смысла все следствие — поскольку в результате расследования только узнаешь, кто именно; но вовсе не о том, что другие не могли... Ну что вы! Нет! Мороз по коже? Экий вздор! Но в общем способность человека совершить убийство и способность человека расследовать его — при всей своей преимственности видимой — бесспорно не равнозначны. Вероятно, это как раз эффект их близости... О да, все это грустно...

Как? Как вы сказали?!

Что именно само уже число лиц, на которых пало подозрение, объединяет как бы их и служит в каком-то смысле алиби? Что нам трех человек не накормить одним цыпленком? Безусловно. И, выходит, убийца не внутри такого круга, но за его пределами. Что он из тех, которых не подозреваешь!? Иначе говоря, убийца — тот, кто не имеет повода к убийству!? Да, так оно и вышло в этот раз. Да-да, вы правы... Но ведь это... это... Ведь это — апология абсурда! Апофеоз бессмысленности! Бред! Выходит, что тогда оно — логично. Постойте! Объясните мне тогда, в чем смысл жизни? Неужели в том,

что из кустов выходит мальчик в куртке  
и начинает в вас палить?! А если,  
а если это так, то почему  
мы называем это преступлением?  
И, сверх того, расследуем! Кошмар.  
Выходит, что всю жизнь мы ждем убийства,  
что следствие — лишь форма ожидания,  
и что преступник вовсе не преступник,  
и что...

Простите, мне нехорошо.  
Поднимемся на палубу; здесь душно...  
Да, это Ялта. Видите — вон там —  
там этот дом. Нет, чуть повыше, возле  
Мемориала... Как он освещен!  
Красиво, правда?.. Нет, не знаю, сколько  
дадут ему. Да, все это уже  
не наше дело. Это — суд. Наверно,  
ему дадут... Простите, я сейчас  
не в силах размышлять о наказании.  
Мне что-то душно. Ничего, пройдет.  
Да, в море будет несомненно легче.  
Ливадия? Она вон там. Да-да,  
та группа фонарей. Шикарно, правда?  
Да, хоть и ночью. Как? Я не расслышал?  
Да, слава Богу. Наконец плывем.

---

«Колхида» вспенила бурун, и Ялта —  
с ее цветами, пальмами, огнями,  
отпускниками, льнущими к дверям  
закрытых заведений, точно мухи  
к зажженным лампам, — медленно качнулась  
и стала поворачиваться. Ночь  
над морем отличается от ночи  
над всякой сушею примерно так же,  
как в зеркале встречающийся взгляд —  
от взгляда на другого человека.  
«Колхида» вышла в море. За кормой  
струился пенистый, шипящий след,  
и полуостров постепенно таял  
в полночной тьме. Вернее, возвращался  
к тем очертаньям, о которых нам  
твердит географическая карта.

Январь-февраль 1969

## С ВИДОМ НА МОРЕ

*И. Н. Мегведевой*

### 1

Октябрь. Море поутру  
лежит щекой на волнорезе.  
Стручки акаций на ветру,  
как дождь на кровельном железе,  
чечетку выбивают. Луч  
светила, вставшего из моря,  
скорей пронзителен, чем жгуч;  
его пронзительности вторя,  
на весла севшие гребцы  
глядят на снежные зубцы.

### 2

Покуда храбрая рука  
Зюйд-Веста о незримых пальцах  
расчесывает облака,  
в агавах взрывчатых и пальмах  
производя переполох,  
свершивший туалет без мыла  
пророк, застигнутый врасплох  
при сотворении кумира,  
свой первый кофе пьет уже  
на набережной в неглиже.

### 3

Потом он прыгает, крестясь,  
в прибой, но в схватке рукопашной  
он терпит крах. Обзаведясь  
в киоске прессою вчерашней,  
он размещается в одном  
из алюминиевых кресел;  
гниют баркасы кверху дном,

дымит на горизонте крейсер,  
и сохнут водоросли на  
затылке плоском валуна.

#### 4

Затем он покидает брег.  
Он лезет в гору без усилий.  
Он возвращается в ковчег  
из алеандр и бугенвилей,  
настолько сросшийся с горой,  
что днище течь дает как будто,  
когда сквозь заросли порой  
внизу проглядывает бухта;  
и стол стоит в ковчеге том,  
давно покинутом скотом.

#### 5

Перо. Чернильница. Жара.  
И льнет линолеум к подошвам...  
И речь бежит из-под пера  
не о грядущем, но о прошлом;  
затем что автор этих строк,  
чьей проницательности беркут  
мог позавидовать, пророк,  
который нынче опровергнут,  
утратив жажду прорицать,  
на лире пробует бряцать.

#### 6

Приехать к морю в несезон,  
помимо матерьяльных выгод,  
имеет тот еще резон,  
что это — временный, но выход  
за скобки года, из ворот  
тюрьмы. Посмеиваясь криво,  
пусть Время взяток не берет —  
Пространство, друг, сребролюбиво!  
Орел двугривенника прав,  
четыре времени поправ!

7

Здесь виноградники с холма  
бегут темно-зеленым туком.  
Хозяйки белые дома  
здесь топят розоватым буком.  
Петух вечерний голосит.  
Крутя замедленное сальто,  
луна разбиться не грозит  
о гладь щербатую асфальта:  
ее и тьму других светил  
залив бы с легкостью вместил.

8

Когда так много позади  
всего, в особенности — горя,  
поддержки чьей-нибудь не жди,  
сядь в поезд, высадись у моря.  
Оно обширнее. Оно  
и глубже. Это превосходство —  
не слишком радостное. Но  
уж если чувствовать сиротство,  
то лучше в тех местах, чей вид  
волнует, нежели язвит.

*Октябрь 1969*  
*Гурзуф*

## КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

Потому что искусство поэзии требует слов,  
я — один из глухих, облысевших, угрюмых послдов  
второсортной державы, связавшейся с этой, —  
не желая насиловать собственный мозг,  
сам себе подавая одежду, спускаюсь в киоск  
за вечерней газетой.

Ветер гонит листву. Старых лампочек тусклый накал  
в этих грустных краях, чей эпитафия — победа зеркал,  
при содействии луж порождает эффект избытка.  
Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя.  
Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, —  
это чувство забыл я.

В этих грустных краях все рассчитано на зиму: сны,  
стены тюрем, пальто, туалеты невест белизны  
новогодней, напитки, секундные стрелки.  
Воробьиные кофты и грязь по числу щелочей;  
пуританские нравы. Белье. И в руках скрипачей —  
деревянные грелки.

Этот край недвижим. Представляя объем валовой  
чугуна и свинца, обалделой тряхнешь головой,  
вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих  
нагайках.

Но садятся орлы, как магнит, на железную смесь.  
Даже стулья плетеные держатся здесь  
на болтах и на гайках.

Только рыбы в морях знают цену свободе; но их  
немота вынуждает нас как бы к созданию своих  
этикеток и касс. И пространство торчит преискурантом.  
Время создано смертью. Нуждаясь в телах и вещах,  
свойства тех и других оно ищет в сырых овощах.  
Кочет внемет курантам.

Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав, к сожалению, трудно. Красавице платье задрал, видишь то, что искал, а не новые дивные дивы. И не то что бы здесь Лобачевского твердо блюдут, но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут — тут конец перспективы.

То ли карту Европы украли агенты властей, то ль пятерка шестых остающихся в мире частей чересчур далека. То ли некая добрая фея надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу. Сам себе наливаю кагор — не кричать же слугу — да чешу котофея...

То ли пулю в висок, словно в место ошибки перстом, то ли дернуть отсюда по морю новым Христом. Да и как не смешать с пьяных глаз, обалдев от мороза, паровоз с кораблем — все равно не сгоришь от стыда: как и челн на воде, не оставит на рельсах следа колесо паровоза...

Что же пишут в газетах в разделе «Из зала суда»? Приговор приведен в исполнение. Взглянувши сюда, обыватель узрит сквозь очки в оловянной оправе, как лежит человек вниз лицом у кирпичной стены; но не спит. Ибо брезговать кумполом сны продырявленным вправо.

Зоркость этой эпохи корнями вплетается в те времена, неспособные в общей своей слепоте отличать выпадавших из люлек от выпавших люлек. Белоглазая чужь дальше смерти не хочет взглянуть. Жалко, блюдоц полно, только не с кем стола вертануть, чтоб спросить с тебя, Рюрик.

Зоркость этих времен — это зоркость к вещам тупика. Не по древу умом растекаться пристало пока, но плевком по стене. И не князя будить — динозавра. Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера. Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора да зеленого лавра.

## РАЗГОВОР С НЕБОЖИТЕЛЕМ

Здесь, на земле,  
где я впадал то в истовость, то в ересь,  
где жил, в чужих воспоминаньях греясь,  
как мышь в золе,  
где хуже мыши  
глодал петит родного словаря,  
тебе чужого, где, благодаря  
тебе, я на себязираю свыше,

уже ни в ком  
не видя места, коего глаголом  
коснуться мог бы, не владея горлом,  
давясь кивком  
звонкоголосой падали, слюной  
кропя уста взамен кастальской влаги,  
кренясь Пизанской башнею к бумаге  
во тьме ночной,

тебе твой дар  
я возвращаю — не зарыл, не пропил;  
и, если бы душа имела профиль,  
ты б увидал,  
что и она  
всего лишь слепок с горестного дара,  
что более ничем не обладала,  
что вместе с ним к тебе обращена.

Не стану жечь  
тебя глаголом, исповедью, просьбой,  
проклятыми вопросами — той оспой,  
которой речь  
почти с пелен

заражена — кто знает? — не тобой ли;  
надежным, то есть, образом от боли  
ты удален.

Не стану ждать  
твоих ответов, Ангел, поелику  
столь плохо представляемому лику,  
как твой, под стать,  
должно быть, лишь  
молчанье — столь просторное, что эха  
в нем не сподобятся ни всплески смеха,  
ни вопль: «Услышь!»

Вот это мне  
и блазнит слух, привыкший к разнобою,  
и облегчает разговор с тобою  
наедине.

В Ковчег птенец  
не возвратившись, доказует то, что  
вся вера есть не более, чем почта  
в один конец.

Смотри ж, как, наг  
и сир, жлоблюсь о Господе, и это  
одно тебя избавит от ответа.  
Но это — подтверждение и знак,  
что в нищете  
влачащий дни не устрашится кражи,  
что я кладу на мысль о камуфляже.  
Там, на кресте

не возоплю: «Почто меня оставил?!»  
Не превращу себя в благую весть!  
Поскольку боль — не нарушение правил:  
страданье есть  
способность тел,  
и человек есть испытатель боли.  
Но то ли свой ему неведом, то ли  
ее предел.

\*

Здесь, на земле,  
все горы — но в значении их узком —  
кончаются не пиками, но спуском

в крошечной мгле,  
и, сжав уста,  
стигматы завернув свои в дерюгу,  
идешь на вещи по второму кругу,  
сойдя с креста.

Здесь, на земле,  
от нежности до умоисступленья  
все формы жизни есть приспособленье.  
И в том числе  
взгляд в потолок  
и жажда слиться с Богом, как с пейзажем,  
в котором нас разыскивает, скажем,  
один стрелок.

Как на сопле,  
все виснет на крюках своих вопросов,  
как вор трамвайный, бард или философ  
здесь, на земле,  
из всех углов  
несет, как рыбой, с одесной и с левой  
слиянием с природой или с девой  
и башней слов!

Дух-исцелитель!  
Я из бездонных мозеровских блюд  
так нахлебался варева минут  
и римских литер,  
что в жадный слух,  
который прежде не был привередлив,  
не входят щебет или шум деревьев —  
я нынче глух.

О нет, не помощь  
зову твою, означенная высь!  
Тех нет объятий, чтоб не разошлись,  
как стрелки в полночь.  
Не жгу свечи,  
когда, разжав железные объятия,  
будильники, завернутые в платья,  
гремят в ночи!

И в этой башне,  
в правнучке вавилонской, в башне слов,  
все время недостроенной, ты кров

найти не дашь мне!  
Такая тишь  
там, наверху, встречается золоторотца,  
что, на чердак карабкаясь, летишь  
на дно колодца.

Там, наверху...  
услышь одно: благодарю за то, что  
ты отнял все, чем на своем веку  
владел я. Ибо созданное прочно,  
продукт труда  
есть пища вора и прообраз Рая,  
верней — добыча времени: теряя  
(пусть навсегда)

что-либо, ты  
не смей кричать о преданной надежде:  
то Времени, невидимые прежде,  
в вещах черты  
вдруг проступают, и теснится грудь  
от старческих морщин; но этих линий —  
их не разгладишь, тающих, как иней,  
коснись их чуть.

Благодарю...  
Верней, ума последняя крупница  
благодарит, что не дал прилепиться  
к тем кущам, корпусам и словарю,  
что ты не в масть  
моим задаткам, комплексам и формам  
зашел — и не предал их жалким формам  
меня во власть.

\*

Ты за утрату  
горазд все это отомщеньем счесть,  
моим приспособленьем к циферблату,  
борьбой, слияньем с Временем — Бог весть!  
Да полно, мне ль!  
А если так — то с временем неблизким,  
затем что чудится за каждым диском  
в стене — туннель.

Ну что же, рой!  
Рой глубже и, как вырванное с мясом,

шей сердцу страх пред грустною порой,  
    перед смертным часом.  
    Шей бездну мук,  
    старайся, перебарщивай в усердьи!  
Но даже мысль о — как его! — бессмертьи  
    есть мысль об одиночестве, мой друг.

Вот эту фразу  
хочу я прокричать и посмотреть  
вперед — раз перспектива умереть  
    доступна глазу —  
    кто издали  
откликнется? Последует ли эхо?  
Иль ей и там не встретится помеха,  
    как на земли?

Ночная тишь...  
Стучит башкой об стол, заснув, заочник.  
Кирпичный будоражит позвоночник  
    печная мышь.  
И за окном  
толпа деревьев в деревянной раме,  
как легкие на школьной диаграмме,  
    объята сном.

Все откололось...  
И время. И судьба. И о судьбе...  
Осталась только память о себе,  
    негромкий голос.  
Она одна.  
И то — как шлак перегоревший, гравий,  
за счет каких-то писем, фотографий,  
    зеркал, окна,  
    исподтишка...  
и горько, что не вспомнить основного!  
Как жаль, что нету в Христианстве бога —  
    пускай божка —  
вспоминаний, с пригоршней ключей  
от старых комнат — идолища с ликом  
старьевщика — для коротанья слишком  
    глухих ночей.

Ночная тишь.  
Вороньи гнезда, как каверны в бронхах.  
Отрепья дыма роются в обломках

больничных крыш.  
Любая речь  
безадресна, увы, об эту пору —  
чем я сумел, друг-небожитель, спору  
нет, пренебречь.

Страстная. Ночь.  
И вкус во рту от жизни в этом мире,  
как будто наследил в чужой квартире  
и вышел прочь!

И мозг под током!  
И там, на тридевятом этаже  
горит окно. И, кажется, уже  
не помню толком

о чем с тобой  
витийствовал — верней, с одной из кукол,  
пересекающих полночный купол.

Теперь отбой  
и невдомек,  
зачем так много черного на белом?  
Гортань исходит грифелем и мелом,  
и в ней — комок

не слов, не слез,  
но странной мысли о победе снега —  
отбросов света, падающих с неба, —  
почти вопрос.

В мозгу горчит,  
и за стеною в толщину страницы  
вопит младенец, и в окне больницы  
старик торчит.

Апрель. Страстная. Все идет к весне.  
Но мир еще во льду и в белизне.

И взгляд младенца,  
еще не начинавшего шагов,  
не допускает таянья снегов.

Но и не деться  
от той же мысли — задом наперед —  
в больнице старику в начале года:  
он видит снег и знает, что умрет  
до таянья его, до ледохода.

## С ФЕВРАЛЯ ПО АПРЕЛЬ

### 1

Морозный вечер.  
Мосты в тумане. Жительницы грота  
на кровле Биржи клацают зубами.  
Бесчеловечен,  
верней, безлюден перекресток. Рота  
матросов с фонарем идет из бани.

В глубинах роста —  
вороний кашель. Голые деревья,  
как легкие на школьной диаграмме.  
Вороньи гнезда  
чернеют в них кавернами. Отрепья  
швыряет в небо газовое пламя.

Река — как блузка,  
на фонари расстегнутая. Садик  
дворцовый пуст. Над статуями кровель  
курится люстра  
луны, в чьем свете император-всадник  
свой высеребрил изморозью профиль.

И барку возле  
одним окном горящего Сената  
тяжелым льдом в норд-ост перекосило.  
Дворцы промерзли,  
и ждет весны в ночи их колоннада,  
как ждут плоты на Ладоге буксира.

### 2

В пустом, закрытом на просушку парке  
старуха в окружении овчарки —

в том смысле, что она дает круги  
вокруг старухи — вяжет красный свитер,  
и налетевший на деревья ветер,  
терзая волосы, щадит мозги.

Мальчишка, превращающий в рулады  
посредством палки кружево ограды,  
бежит из школы, и пунцовый шар  
садится в деревянную корзину,  
распластывая тени по газону;  
и тени ликвидируют пожар.

В проулке тихо, как в пустом пенале.  
Остатки льда, плывущие в канале,  
для мелкой рыбы — те же облака,  
но как бы опрокинутые навзничь.  
Над ними мост, как неподвижный Гринвич;  
и колокол гудит издалека.

Из всех щедрот, что выделила бездна,  
лишь зренье тебе служит безвозмездно,  
и счастлив ты, и, несмотря ни на  
что, жив еще. А нынешней весной  
так мало птиц, что вносишь в записную  
их адреса, и в святцы — имена.

### 3

#### Шиповник в апреле

Шиповник каждую весну  
пытается припомнить точно  
свой прежний вид:  
свою окраску, кривизну  
изогнутых ветвей — и то, что  
их там кривит.

В ограде сада поутру  
в чугунных обнаружив прутьях  
источник зла,  
он суетится на ветру,  
от утверждает, что не будь их,  
проник бы за.

Он корни запустил в свои  
же листья, а до во исчадь,  
храм на крови.  
Не воскрешение, но и  
не непорочное зачатъ,  
не плод любви.

Стремясь предохранить мундир,  
вернее — будущую зелень,  
бутоны, тень,  
он как бы проверяет мир;  
но самый мир недостоверен  
в столь хмурый день.

Безлиственный, сухой, нагой,  
он мечется в ограде, тыча  
иглой в металл  
копья чугунного — другой  
апрель не дал ему добычи  
и март не дал.

И все ж умение куста  
свой прах преобразить в горнило,  
загнать в нутро  
способно разомкнуть уста  
любые. Отыскать чернила.  
И взять перо.

## 5

### Фонтан памяти героев обороны полуострова Ханко

Здесь должен быть фонтан, но он не бьет.  
Однако сырость северная наша  
освобождает власти от забот,  
и жажды не испытывает чаша.

Нормальный дождь, обещанный в четверг,  
надежней ржавых труб водопровода.  
Что позабудет сделать человек,  
то наверстает за него природа.

И вы, герои Ханко, ничего

не потеряли: метеопрогнозы  
твердят о постоянстве  $H_2O$ ,  
затмившем человеческие слезы.

*1969—1970*

## ПЕНЬЕ БЕЗ МУЗЫКИ

F. W.

Когда ты вспомнишь обо мне  
в краю чужом — хоть эта фраза  
всего лишь вымысел, а не  
пророчество, о чем для глаза,

вооруженного слезой,  
не может быть и речи: даты  
из омута такой лесой  
не вытащишь — итак, когда ты

за тридевять земель и за  
морями, в форме эпилога  
(хоть повторяю, что слеза,  
за исключением бывшего,

все уменьшает) обо мне  
вспомнянешь все-таки в то Лето  
Господне и вздохнешь — о не  
вздыхай! — обозревая это

количество морей, полей,  
разбросанных меж нами, ты не  
 заметишь, что толпу нулей  
возглавила сама.

В гордыне  
твоей иль в слепоте моей  
все дело, или в том, что рано  
об этом говорить, но ей —  
же Богу, мне сегодня странно,

что, будучи кругом в долгу.  
поскольку ограждал так плохо

тебя от худших бед, могу  
от этого избавить вздоха.

Грядущее есть форма тьмы,  
сравнимая с ночным покоем.  
В том будущем, о коем мы  
не знаем ничего, о коем,

по крайности, сказать одно  
сейчас я в состоянии точно:  
что порознь нам суждено  
с тобой в нем пребывать, и то, что

оно уже настало — рев  
метели, превращенье крика  
в глухое толковище слов  
есть первая его улика —

в том будущем есть нечто, вещь,  
способная утешить или  
— настолько-то мой голос вещь! —  
занять воображенье в стиле

рассказов Шахразады, с той  
лишь разницей, что это больше  
посмертный, чем весьма простой  
страх смерти у нее — позволь же

сейчас, на языке родных  
осин, тебя утешить; и да  
пусть тени на снегу от них  
толпятся, как триумф Эвклида.

\* \* \*

Когда ты вспомнишь обо мне,  
дня, месяца, Господня Лета  
такого-то, в чужой стране,  
за тридевять земель — а это

гласит о двадцати восьми  
возможностях — и каплей влаги  
зрачок вооружишь, возьми  
перо и чистый лист бумаги

и перпендикуляр стоймя  
восставь, как небесам опору,  
меж нашими с тобой двумя  
— да, точками: ведь мы в ту пору

уменьшимся и там, Бог весть,  
невидимые друг для друга,  
почтем еще с тобой за честь  
слыть точками; итак, разлука

есть проведение прямой,  
и жаждущая встречи пара  
любowników — твой взгляд и мой —  
к вершине перпендикуляра

поднимется, не отыскав  
убежища, помимо горных  
высот, до ломоты в висках;  
и это ли не треугольник!

Рассмотрим же фигуру ту,  
которая в другую пору  
заставила бы нас в поту  
холодном пробуждаться, полу-

безумных лезть под кран, дабы  
рассудок не спалила злоба;  
и если от такой судьбы  
избавлены мы были оба —

от ревности, примет, комет,  
от приворотов, порч, снадобья  
— то, видимо, лишь на предмет  
черчения его подобья.

Рассмотрим же. Всему есть срок,  
поскольку теснота, незрячесть  
объятия — сама залог  
незримости в разлуке — прячась

друг в друге, мы скрывались от  
пространства, положив границей  
ему свои лопатки — вот  
оно и воздает сторицей

предательству; возьми перо  
и чистую бумагу — символ  
пространства — и, представив пропорцию —  
а нам по силам

представить все пространство: наш  
мир все же ограничен, властью  
Творца, пусть не наличием страж  
заоблачных, так чьей-то страстью

заоблачной — представь же ту  
пропорцию прямой, лежащей  
меж нами — ко всему листу  
и, карту подстелив для вящей

подробности, разбей чертеж  
на градусы, и в сетку втисни  
длину ее — и ты найдешь  
зависимость любви от жизни.

Итак, пускай длина черты  
известна нам, а нам известно,  
что это — как бы вид четы,  
пределов тех, верней, где места

свиданья лишена она,  
и ежели сия оценка  
верна (она, увы, верна),  
то перпендикуляр, из центра

восставленный, есть сумма сих  
пронзительных двух взглядов; и на  
основе этой силы их  
находится его вершина

в пределах стратосферы — вряд  
ли суммы наших взглядов хватит  
на большее; а каждый взгляд,  
к вершине обращенный, — катет.

Так двух прожекторов лучи,  
исследуя враждебный хаос,  
находят свою цель в ночи,  
за облаком пересекаясь;

но цель их — не мишень солдат:  
она — для них сама услуга,  
как зеркало, куда глядят  
не смеющие друг на друга

взглянуть; итак, кому ж, как не  
мне, катету, незриму, нему,  
доказывать тебе вполне  
обыденную теорему

обратную, где, муча глаз  
доказанных обильем пугал,  
жизнь требует найти от нас  
то, чем располагаем: угол.

Вот то, что нам с тобой Д А Н О.  
Надолго. Навсегда. И даже  
пускай в неошутимой, но  
в материи. Почти в пейзаже.

Вот место нашей встречи. Грот  
заоблачный. Беседка в тучах.  
Приют гостеприимный. Род  
угла; притом, один из лучших

хотя бы уже тем, что нас  
никто там не застигнет. Это  
лишь наших достоянье глаз,  
верх собственности для предмета.

За годы, ибо негде до —  
до смерти нам встречаться боле,  
мы это обживем гнездо,  
таща туда по равной доле

скарб мыслей одиноких, хлам  
невысказанных слов — все то, что  
мы скопим по своим углам;  
и рано или поздно точка

указанная обретет  
почти материальный облик,  
достоинство звезды и тот  
свет внутренний, который облак

не застит — ибо сам Эвклид  
при сумме двух углов и мрака  
вокруг еще один сулит;  
и это как бы форма брака.

Вот то, что нам с тобой дано.  
Надолго. Навсегда. До гроба.  
Невидимым друг другу. Но  
оттуда обозримы оба

так будем и в ночи и днем,  
от Запада и до Востока,  
что мы, в конце концов, начнем  
от этого зависеть ока

всевидящего. Как бы явь  
на тьму ни налагала арест,  
возьми его сейчас и вставь  
в свой новый гороскоп, покамест

всевидящее око слов  
не стало разбирать. Разлука  
есть сумма наших трех углов,  
а вызванная ею мука

есть форма тяготенья их  
друг к другу; и она намного  
сильней подобных форм других.  
Уж точно, что сильней земного.

\* \* \*

Схоластика, ты скажешь. Да,  
схоластика и в прятки с горем  
лишенная примет стыда  
игра. Но и звезда над морем —

что есть она как не (позволь  
так молвить, чтоб высокий в этом  
не узрела ты штиль) мозоль,  
натертая в пространстве светом?

Схоластика. Почти. Бог весть.  
Возможно. Усмотри в ответе

согласие. А что не есть  
схоластика на этом свете?

Бог ведает. Клонясь ко сну,  
я вижу за окном кончину  
зимы; и не найти весну:  
ночь хочет удержать причину

от следствия. В моем мозгу  
какие-то квадраты, даты,  
твоя или моя к виску  
прижатая ладонь...

Когда ты  
однажды вспомнишь обо мне,  
окутанную вспомни мраком,  
висящую вверху, вовне,  
там где-нибудь, над Скагерраком,

в компании других планет,  
мерцающую слабо, тускло,  
звезду, которой, в общем, нет.  
Но в том и состоит искусство

любви, вернее, жизни — в том,  
чтоб видеть, чего нет в природе,  
и в месте прозревать пустом  
сокровища, чудовищ — вроде

крылатых женогрудых львов,  
божков невероятной мощи,  
вещающих судьбу орлов.  
Подумай же, насколько проще

творения подобных дел,  
плетения их оболочки  
и прочих кропотливых дел  
вселение в пространство точки!

Ткни пальцем в немоту. Невесть  
куда. Куда укажет ноготь.  
Не в том суть жизни, что в ней есть,  
но в вере в то, что в ней должно быть.

Ткни пальцем в темноту — туда,  
где в качестве высокой ноты  
должна была бы быть звезда;  
и, если ее нет, длинноты,

затасканных сравнений лоск  
прости: как запоздалый кочет,  
униженный разлукой мозг  
возвыситься невольно хочет.

1970

## ОКТЯБРЬСКАЯ ПЕСНЯ

Чучело перепелки  
стоит на каминной полке.  
Старые часы, правильно стрекоча,  
радуют ввечеру смятые перепонки.  
Дерево за окном — пасмурная свеча.

Море четвертый день глухо гудит у дамбы.  
Отложи свою книгу, возьми иглу;  
штопай мое белье, не зажигая лампы:  
от золота волос  
светло в углу.

1971

## POST AETATEM NOSTRAM \*

А. Я. Сергееву

### I

«Империя — страна для дураков».  
Движение перекрыто по причине  
приезда Императора. Толпа  
теснит легионеров — песни, крики;  
но паланкин закрыт. Объект любви  
не хочет быть объектом любопытства.

В пустой кофейне позади дворца  
бродяга-грек с небритым инвалидом  
играют в домино. На скатертях  
лежат отбросы уличного света,  
и отголоски ликованья мирно  
шевелият шторы. Проигравший грек  
считает драхмы; победитель просит  
яйцо вкрутую и щепотку соли.

В просторной спальне старый откупщик  
рассказывает молодой гетере,  
что видел Императора. Гетера  
не верит и хохочет. Таковы  
прелюдии у них к любовным играм.

### II

#### Дворец

Изваянные в мраморе сатир  
и нимфа смотрят в глубину бассейна,  
чья гладь покрыта лепестками роз.

---

\* После нашей эры (лат.).

Наместник, босиком, собственноручно  
кровавит морду местному царю  
за трех голубок, угоревших в тесте  
(в момент разделки пирога взлетевших,  
но тотчас же попадавших на стол).  
Испорчен праздник, если не карьера.

Царь молча извивается на мокром  
полу под мощным, жилистым коленом  
Наместника. Благоуханье роз  
туманит стены. Слуги безучастно  
глядят перед собой, как изваянья.  
Но в гладком камне отраженья нет.

В неверном свете северной луны,  
свернувшись у трубы дворцовой кухни,  
бродяга-грек в обнимку с кошкой смотрят,  
как два раба выносят из дверей  
труп повара, завернутый в рогожу,  
и медленно спускаются к реке.  
Шуршит щебенка.

Человек на крыше  
старается зажать кошачью пасть.

### III

Покинутый мальчишкой брадобрей  
глядится молча в зеркало — должно быть,  
грустя о нем и начисто забыв  
намыленную голову клиента.  
«Наверно, мальчик больше не вернется».  
Тем временем клиент спокойно дремлет  
и видит чисто греческие сны:  
с богами, с кифаредами, с борьбой  
в гимназиях, где острый запах пота  
щекочет ноздри.

Снявшись с потолка,  
большая муха, сделав круг, садится  
на белую намыленную щеку  
заснувшего и, утопая в пене,  
как бедные пельтасты Ксенофонта  
в снегах армянских, медленно ползет  
через провалы, выступы, ущелья

к вершине и, минуя жерло рта,  
взобраться норовит на кончик носа.

Грек открывает страшный черный глаз,  
и муха, взыв от ужаса, взлетает.

#### IV

Сухая послепраздничная ночь.  
Флаг в подворотне, схожий с конской мордой,  
жует губами воздух. Лабиринт  
пустынных улиц залит лунным светом:  
чудовище, должно быть, крепко спит.

Чем дальше от дворца, тем меньше статуи  
и луж. С фасадов исчезает лепка.  
И если дверь выходит на балкон,  
она закрыта. Видимо, и здесь  
ночной покой спасают только стены.  
Звук собственных шагов вполне зловещ  
и в то же время беззащитен; воздух  
уже пронизан рыбою: дома  
кончаются.

Но лунная дорога  
струится дальше. Черная фелукка  
ее пересекает, словно кошка,  
и растворяется во тьме, дав знак,  
что дальше, собственно, идти не стоит.

#### V

В расклеенном на уличных щитах  
«Послании к властителям» известный,  
известный местный кифаред, кипя  
негодованьем, смело выступает  
с призывом Императора убрать  
(на следующей строчке) с медных денег.

Толпа жестикулирует. Юнцы,  
седые старцы, зрелые мужчины  
и знающие грамоте гетеры  
единогласно утверждают, что  
«такого прежде не было» — при этом  
не уточняя, именно чего

«такого»:

мужества или холуйства.

Поэзия, должно быть, состоит  
в отсутствии отчетливой границы.

Невероятно синий горизонт.  
Шуршание прибоя. Растянувшись,  
как ящерица в марте, на сухом  
горячем камне, голый человек  
лушит ворованный миндаль. Поодаль  
два скованных между собой раба,  
сбравшиеся, видно, искупаться,  
смеясь друг другу помогают снять  
свое тряпье.

Невероятно жарко;  
и грек сползает с камня, закатив  
глаза, как две серебряные драхмы  
с изображеньем новых Диоскуров.

## VI

Прекрасная акустика! Строитель  
недаром вшей кормил семнадцать лет  
на Лемносе. Акустика прекрасна.

День тоже восхитителен. Толпа,  
отлившаяся в форму стадиона,  
застыв и затаив дыханье, внемлет

той ругани, которой два бойца  
друг друга осыпают на арене,  
чтоб, распаясь, схватиться за мечи.

Цель состязанья вовсе не в убийстве,  
но в справедливой и логичной смерти.  
Законы драмы переходят в спорт.

Акустика прекрасна. На трибунах  
одни мужчины. Солнце золотит  
кудратых львов правительственной ложи.  
Весь стадион — одно большое ухо.

«Ты падаль!» — «Сам ты падаль.» — «Мразь и падаль!»

И тут Наместник, чье лицо подобно  
гноящемуся вымени, смеется.

## VII

### Башня

Прохладный полдень.  
Теряющийся где-то в облаках  
железный шпиль муниципальной башни  
является в одно и то же время  
громоотводом, маяком и местом  
подъема государственного флага.  
Внутри же — размещается тюрьма.

Подсчитано когда-то, что обычно —  
в сатрапиях, во время фараонов,  
у мусульман, в эпоху христианства —  
сидело иль бывало казнено  
примерно шесть процентов населения.  
Поэтому еще сто лет назад  
дед нынешнего цезаря задумал  
реформу правосудья. Отменив  
безнравственный обычай смертной казни,  
он с помощью особого закона  
те шесть процентов сократил до двух,  
обязанных сидеть в тюрьме, конечно,  
пожизненно. Неважно, совершил ли  
ты преступление или невиновен;  
закон, по сути дела, как налог.  
Тогда-то и воздвигли эту Башню.

Слепящий блеск хромированной стали.  
На сорок третьем этаже пастух,  
лицо просунув сквозь иллюминатор,  
свою улыбку посылает вниз  
пришедшей навестить его собаке.

## VIII

Фонтан, изображающий дельфина  
в открытом море, совершенно сух.  
Вполне понятно: каменная рыба  
способна обойтись и без воды,

как та — без рыбы, сделанной из камня.

Таков вердикт третейского суда.  
Чьи приговоры отличает сухость.

Под белой колоннадою дворца  
на мраморных ступеньках кучка смуглых  
вождей в измятых пестрых балахонах  
ждет появления своего царя,  
как брошенный на скатерти букет —  
заполненной водой стеклянной вазы.

Царь появляется. Вожди встают  
и потрясают копьями. Улыбки,  
объятия, поцелуи. Царь слегка  
смущен: но вот удобство смуглой кожи:  
на ней не так видны кровоподтеки.

Бродяга-грек зовет к себе мальчика.  
«О чем они болтают?» — «Кто, вот эти?»  
«Ага». — «Благодарят его.» — «За что?»  
Мальчишка поднимает ясный взгляд:  
«За новые законы против нищих».

## IX

### Зверинец

Решетка, отделяющая льва  
от публики, в чугунном варианте  
воспроизводит путаницу джунглей.

Мох. Капли металлической росы.  
Лиана, оплетающая лотос.

Природа имитируется с той  
любовью, на которую способен  
лишь человек, которому не все  
равно, где заблудиться: в чаще или  
в пустыне.

## Император

Атлет-легионер в блестящих латах,  
несущий стражу возле белой двери,  
из-за которой слышится журчанье,  
глядит в окно на проходящих женщин.  
Ему, торчащему здесь битый час,  
уже казаться начинает, будто  
не разные красавицы внизу  
проходят мимо, но одна и та же.

Большая золотая буква М,  
украшившая дверь, по сути дела,  
лишь прописная по сравнению с той,  
огромной и пунцовой от натуги,  
согнувшейся за дверью над проточной  
водою, дабы рассмотреть во всех  
подробностях свое отображенье.

В конце концов, проточная вода  
ничуть не хуже скульпторов, все царство  
изображеньем этих наводнивших.

Прозрачная, журчащая струя.  
Огромный, перевернутый Верзувий,  
над ней нависнув, медлит с изверженьем.

Все вообще теперь идет со скрипом.  
Империя похожа на трирему  
в канале, для триремы слишком узком.  
Гребцы колотят веслами по суше,  
и камни сильно обдирают борт.  
Нет, не сказать, чтоб мы совсем застряли!  
Движенье есть, движенье происходит.  
Мы все-таки плывем. И нас никто  
не обгоняет. Но, увы, как мало  
похоже это на былую скорость!  
И как тут не вздохнешь о временах,  
когда все шло довольно гладко.

Гладко.

## XI

Светильник гаснет, и фитиль чадит  
уже в потемках. Тоненькая струйка  
всплывает к потолку, чья белизна  
в крошечном мраке в первую минуту  
согласна на любую форму света.  
Пусть даже копоть.

За окном всю ночь  
в неполатом саду шумит тяжелый  
азиатский ливень. Но рассудок — сух.  
Настолько сух, что, будучи охвачен  
холодным бледным пламенем объятья,  
воспламеняешься быстрее, чем лист  
бумаги или старый хворост.

Но потолок не видит этой вспышки.

Ни копотю, ни пепла по себе  
не оставляя, человек выходит  
в сырую темень и бредет к калитке.  
Но серебристый голос козодоя  
велит ему вернуться.

Под дождем  
он, повинувшись, снова уходит в кухню  
и, снявши пояс, высыпает на  
железный стол оставшиеся драхмы.  
Затем выходит.  
Птица не кричит.

## XII

Задумав перейти границу, грек  
достал вместительный мешок и после  
в кварталах возле рынка изловил  
двенадцать кошек (почерней) и с этим  
скребущимся, мяукающим грузом  
он прибыл ночью в пограничный лес.

Луна светила, как она всегда  
в июле светит. Псы сторожевые  
конечно заливали все ущелья  
тоскливым лаем: кошки перестали  
в мешке скандалить и почти притихли.  
И грек промолвил тихо: «В добрый час.

Афина, не оставь меня. Ступай  
передо мной», — а про себя добавил:  
«На эту часть границы я кладу  
всего шесть кошек. Ни одной больше». Собака не взберется на сосну.  
Что до солдат — солдаты суеверны.

Все вышло лучшим образом. Луна,  
собаки, кошки, суеверье, сосны —  
весь механизм сработал. Он взобрался  
на перевал. Но в миг, когда уже  
одной ногой стоял в другой державе,  
он обнаружил то, что упустил:

оборотившись, он увидел море.

Оно лежало далеко внизу.  
В отличие от животных, человек  
уйти способен от того, что любит  
(чтоб только отличиться от животных).  
Но, как слюна собачья, выдают  
его животную природу слезы:

«О, Талласса!..»

Но в этом скверном мире  
нельзя торчать так долго на виду,  
на перевале, в лунном свете, если  
не хочешь стать мишенью. Вскинув ношу,  
он осторожно стал спускаться вниз,  
в глубь континента; и вставал навстречу  
еловый гребень вместо горизонта.

#### ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА

Диоскуры.— Кастор и Поллукс (Кастор и Полидевк), в греческой мифологии символ нерасторжимой дружбы. Их изображение помещалось на греческих монетах. Греки классического периода считали богохульством чеканить изображения государей; изображались только боги или их символы; также — мифологические персонажи.

Лемнос.— Остров в Эгейском море, служил и служит местом ссылки.

Верзувий.— От славянского «верзать».

Талласса.— (греч.) море.

## ЧАЕПИТИЕ

«Сегодня ночью снился мне Петров.  
Он, как живой, стоял у изголовья.  
Я думала спросить насчет здоровья.  
но поняла бестактность этих слов.»

Она вздохнула и перевела  
взгляд на гравюру в деревянной рамке,  
где человек в соломенной панамке  
сопровождал угрюмого вола.

Петров женат был на ее сестре,  
но он любил свояченицу; в этом  
сознавшись ей, он позапрошлым летом,  
поехав в отпуск, утонул в Днестре.

Вол. Рисовое поле. Небосвод.  
Погонщик. Плуг. Под бороздою новой  
как зернышки: «на память Ивановой»  
и вовсе неразборчивое: «от...»

Чай выпит. Я встаю из-за стола.  
В ее зрачке поблескивает точка  
звезды — и понимание того, что,  
воскресни он, она б ему дала.

Она спускается за мной во двор  
и обращает скрытый поволокой,  
верней, вооруженный ею взор  
к звезде, математически далекой.

1970

## ДЕБЮТ

### 1

Сдав все свои экзамены, она  
к себе в субботу пригласила друга;  
был вечер, и закупорена туго  
была бутылка красного вина.

А воскресенье началось с дождя;  
и гость, на цыпочках прокравшись между  
скрипучих стульев, снял свою одежду  
с непрочно в стенку вбитого гвоздя.

Она достала чашку со стола  
и выплеснула в рот остатки чая.  
Квартира в этот час еще спала.  
Она лежала в ванне, ощущая

всей кожей облупившееся дно,  
и пустота, благоухая мылом,  
ползла в нее через еще одно  
отверстие, знакомящее с миром.

### 2

Дверь тихо притворившая рука  
была — он вздрогнул — выпачкана; пряча  
ее в карман, он услышал, как сдача  
с вина плеснула в недрах пиджака.

Проспект был пуст. Из водосточных труб  
лилась вода, сметавшая окурки.  
Он вспомнил гвоздь и струйку штукатурки,  
и почему-то вдруг с набрякших губ

слетела ругань. Глядя в пустоту,  
он покраснел и, осознав нелепость,  
так удивился собственному рту,  
что врос бы в грунт, не покажись троллейбус.

Он раздевался в комнате своей,  
не глядя на припахивавший потом  
ключ, подходящий к множеству дверей,  
ошеломленный первым оборотом.

1970

Время года — зима. На границах спокойствие. Сны переполнены чем-то замужним, как вязким вареньем, и глаза праотца наблюдают за дрожью блесны, торжествующей втуне победу над щучьим веленьем.

Хлопни оземь хвостом, и в морозной декабрьской мгле ты увидишь, опричь своего неприкрытого срама — полумесяц плывет в запыленном оконном стекле над крестами Москвы, как лихая победа Ислама.

Куполов, что голов, да и шпилей — что задранных ног. Как за смертным порогом, где встречу друг другу назначим, где от пуза кумирен, градирен, кремлей, синагог, где и сам ты хорош со своим минаретом стоячим.

Не купишь на басах, не сорвись на глухой фистуле. Коль не подлую власть, то самих мы себя перебором. Застегни же зубчатую пасть. Ибо если лежать на столе, то не все ли равно — ошибиться крюком или морем.

1967—1970

# ЛИТОВСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

Томасу Венцлова

## 1. Вступление

Вот скромная приморская страна.  
Свой снег, аэропорт и телефоны,  
свой евреи. Бурый особняк  
диктатора. И статуя певца,  
отечество сравнившего с подругой,

в чем проявился пусть не тонкий вкус,  
но знание географии: южане  
здесь по субботам ездят к северянам  
и, возвращаясь под хмельком пешком,  
порой на Запад забредают — тема  
для скетча. Расстоянья таковы,  
что здесь могли бы жить гермафродиты.

Весенний полдень. Лужи, облака,  
бесчисленные ангелы на кровлях  
бесчисленных костелов; человек  
становится здесь жертвой толчеи  
или деталью местного барокко.

## 2. Леиклос \*

Родиться бы сто лет назад  
и, сохнувшей поверх перины,  
глазеть в окно и видеть сад,  
кресты двуглавой Катарины;  
стыдиться матери, икать  
от наведенного лорнета,  
тележку с рухлядью толкать  
по желтым переулкам гетто;  
вздыхать, накрывшись с головой,  
о польских барышнях, к примеру;

дождаться Первой Мировой  
и пасть в Галиции — за Веру,  
Царя, Отечество, — а нет,  
так пейсы переделать в бачки  
и перебраться в Новый Свет,  
блюя в Атлантику от качки.

### 3. Кафе «Неринга»

Время уходит в Вильнюсе в дверь кафе,  
провожаемо дребезгом блюдец, ножей и вилок,  
и пространство, прищурившись, под-шафе,  
долго смотрит ему в затылок.

Потерявший изнанку пунцовый круг  
замирает поверх черепичных кровель,  
и кадык заостряется, точно вдруг  
от лица остается всего лишь профиль.

И, веления щучьего слыша речь,  
подавальщица в кофточке из батиста  
перебирает ногами, снятыми с плеч  
местного футболиста.

### 4. Герб

Драконоборческий Егорий,  
копье в горниле аллегорий  
утратив, сохранил досель  
коня и меч, и повсеместно  
в Литве преследует он честно  
другим невидимую цель.

Кого он, стиснув меч в ладони,  
решил настичь? Предмет погони  
скрыт за пределами герба.  
Кого? Язычника? Гяура?  
Не весь ли мир? Тогда не дура  
была у Витовта губа.

### 5. *Amicum-philosophum de melancholia, mania et plica polonica \* \**

Бессонница. Часть женщины. Стекло  
полно рептилий, рвущихся наружу.

Безумье дня по мозжечку стекло  
в затылок, где образовало лужу.  
Чуть шевельнись — и ошутит нутро,  
как некто в ледяную эту жижу  
обмакивает острое перо  
и медленно выводит «ненавижу»  
по прописи, где каждая крива  
извилина. Часть женщины в помаде  
в слух запускает длинные слова,  
как пятерню в завшивленные пряди.  
И ты в потемках одинок и наг  
на простыне, как Зодиака знак.

## 6. Palangen \* \* \*

Только море способно взглянуть в лицо  
небу; и путник, сидящий в дюнах,  
опускает глаза и сосет винцо,  
как изгнанник-царь без орудий струнных.

Дом разграблен. Стада у него — свели.  
Сына прячет пастух в глубине пещеры.  
И теперь перед ним — только край земли,  
и ступать по водам не хватит веры.

## 7. Dominikanaj \* \* \* \*

Сверни с проезжей части в полу-  
слепой проулок и, войдя  
в костел, пустой об эту пору,  
сядь на скамью и, погода,  
в ушную раковину Бога,  
закрытую для шума дня,  
шепни всего четыре слога:

— Прости меня.

1971

\* Улица в Вильнюсе.

\*\* «Другу-философу о мании, меланхолии и польском колтуне»  
(лат.). Название трактата XVIII века, хранящегося в библиотеке  
Вильнюсского университета.

\*\*\* Паланга (нем.).

\*\*\*\* «Доминиканцы» (костел в Вильнюсе) (лит.).

Примечания автора.

А. В. Лифшицу

Я всегда твердил, что судьба — игра.  
Что зачем нам рыба, раз есть икра.  
Что готический стиль победит, как школа,  
как способность торчать, избежав укола.  
Я сижу у окна. За окном осина.  
Я любил немногих. Однако сильно.

Я считал, что лес — только часть полена.  
Что зачем вся дева, раз есть колено.  
Что, устав от поднятой веком пыли,  
русский глаз отдохнет на эстонском шпиле.  
Я сижу у окна. Я помыл посуду.  
Я был счастлив здесь, и уже не буду.

Я писал, что в лампочке — ужас пола.  
Что любовь, как акт, лишена глагола.  
Что не знал Эвклид, что, сходя на конус,  
вещь обретает не ноль, но Хронос.  
Я сижу у окна. Вспоминаю юность.  
Улыбнись порою, порой отплунусь.

Я сказал, что лист разрушает почку.  
И что семя, упавши в дурную почву,  
не дает побега: что луг с поляной  
есть пример рукоблудья, в Природе данный.  
Я сижу у окна, обхватив колени,  
в обществе собственной грузной тени.

Моя песня была лишена мотива,  
но зато ее хором не спеть. Не диво,  
что в награду мне за такие речи  
своих ног никто не кладет на плечи.

Я сижу у окна в темноте; как скорый,  
море гремит за волнистой шторой.

Гражданин второсортной эпохи, гордо  
признаю я товаром второго сорта  
свои лучшие мысли и дням грядущим  
я дарю их как опыт борьбы с удушьем.

Я сижу в темноте. И она не хуже  
в комнате, чем темнота снаружи.

1971

## НАТЮРМОРТ

«Verrá la morte e avrà i tuoi  
occhi.»

*C. Pavese \**

### 1

Вещи и люди нас  
окружают. И те,  
и эти терзают глаз.  
Лучше жить в темноте.

Я сижу на скамье  
в парке, глядя вослед  
проходящей семье.  
Мне опротивел свет.

Это январь. Зима.  
Согласно календарю.  
Когда опротивеет тьма,  
тогда я заговорю.

### 2

Пора. Я готов начать.  
Неважно, с чего. Открыть  
рот. Я могу молчать.  
Но лучше мне говорить.

О чем? О днях, о ночах.  
Или же — ничего.  
Или же о вещах.  
О вещах, а не о

людях. Они умрут.  
Все. Я тоже умру.

---

\* «Придет смерть, и у нее будут твои глаза». Ч. Павезе (итал.).  
Примечание автора.

Это бесплодный труд.  
Как писать на ветру.

3

Кровь моя холодна.  
Холод ее лютей  
реки, промерзшей до дна.  
Я не люблю людей.

Внешность их не по мне.  
Лицам их привит  
к жизни какой-то не-  
покидаемый вид.

Что-то в их лицах есть,  
что противно уму.  
Что выражает лезть  
неизвестно кому.

4

Вещи приятней. В них  
нет ни зла, ни добра  
внешне. А если вник  
в них — и внутри нутра.

Внутри у предметов — пыль.  
Прах. Древоточец-жук.  
Стенки. Сухой мотыль.  
Неудобно для рук.

Пыль. И включенный свет  
только пыль озарит.  
Даже если предмет  
герметично закрыт.

5

Старый буфет извне  
так же, как изнутри,  
напоминает мне  
Нотр-Дам де Пари.

В недрах буфета тьма.  
Швабра, епитрахиль  
пыль не сотрут. Сама  
вещь, как правило, пыль

не тщится перебороть,  
не напрягает бровь.  
Ибо пыль — это плоть  
времени; плоть и кровь.

## 6

Последнее время я  
сплю среди бела дня.  
Видимо, смерть моя  
испытывает меня,

поднося, хоть дышу,  
зеркало мне ко рту, —  
как я переносу  
небытие на свету.

Я неподвижен. Два  
бедрa холодны, как лед.  
Венозная синева  
мрамором отдает.

## 7

Преподнося сюрприз  
суммой своих углов,  
вещь выпадает из  
миропорядка слов.

Вещь не стоит. И не  
движется. Это — бред.  
Вещь есть пространство, вне  
коего вещи нет.

Вещь можно грохнуть, сжечь,  
распотрошить, сломать.  
Бросить. При этом вещь  
не крикнет: «Ебёна мать!»

8

Дерево. Тень. Земля  
под деревом для корней.  
Корявые вензеля.  
Глина. Гряда камней.

Корни. Их переплет.  
Камень, чей личный груз  
освобождает от  
данной системы уз.

Он неподвижен. Ни  
сдвинуть, ни унести.  
Тень. Человек в тени,  
словно рыба в сети.

9

Вещь. Коричневый цвет  
вещи. Чей контур стерт.  
Сумерки. Больше нет  
ничего. Натюрморт.

Смерть придет и найдет  
тело, чья гладь визит  
смерти, точно приход  
женщины, отразит.

Это абсурд, вранье:  
череп, скелет, коса.  
«Смерть придет, у нее  
будут твои глаза.»

10

Мать говорит Христу:  
— Ты мой сын или мой  
Бог? Ты прибит к кресту.  
Как я пойду домой?

Как ступлю на порог,  
не поняв, не решив:

ты мой сын или Бог?  
То есть, мертв или жив? —

Он говорит в ответ:  
— Мертвый или живой,  
разницы, жено, нет.  
Сын или Бог, я твой.

1971

**Из книги**

**ЧАСТЬ РЕЧИ**

**стихотворения 1972—1976\***

---

\* Четыре стихотворения и цикл «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» включены И. Бродским в книгу «Новые стансы к Августе», где читатель и найдет их в настоящем издании.

**ОТЦУ И МАТЕРИ**

V. S.

В Рождество все немного волхвы.  
В продовольственных слякоть и давка.  
Из-за банки кофейной халвы  
производит осаду прилавка  
грудой свертков навьюченный люд:  
каждый сам себе царь и верблюд.

Сетки, сумки, авоськи, кульки,  
шапки, галстуки, сбитые набок.  
Запах водки, хвои и трески,  
мандаринов, корицы и яблок.  
Хаос лиц, и не видно тропы  
в Вифлеем из-за снежной крупы.

И разносчики скромных даров  
в транспорт прыгают, ломятся в двери,  
исчезают в провалах дворов,  
даже зная, что пусто в пещере:  
ни животных, ни яслей, ни Той,  
над Которою — нимб золотой.

Пустота. Но при мысли о ней  
видишь вдруг как бы свет ниоткуда.  
Знал бы Ирод, что чем он сильнее,  
тем верней, неизбежнее чудо.  
Постоянство такого родства —  
основной механизм Рождества.

То и празднуют нынче везде,  
что Его приближенье, сдвигая  
все столы. Не потребность в звезде  
пусть еще, но уж воля благая

в человеках видна издали,  
и костры пастухи разожгли.

Валит снег; не дымят, но трубят  
трубы кровель. Все лица, как пятна.  
Ирод пьет. Бабы прячут ребят.  
Кто грядет — никому непонятно:  
мы не знаем примет, и сердца  
могут вдруг не признать пришельца.

Но, когда на дверном сквозняке  
из тумана ночного густого  
возникает фигура в платке,  
и Младенца, и Духа Святого  
ощущаешь в себе без стыда;  
смотришь в небо и видишь — звезда.

1972

## ОДНОМУ ТИРАНУ

Он здесь бывал: еще не в галифе —  
в пальто из драпа; сдержанный, сутулый.  
Арестом завсегдатаев кафе  
покончив позже с мировой культурой,  
он этим как бы отомстил (не им,  
но Времени) за бедность, униженья,  
за скверный кофе, скуку и сраженья  
в двадцать одно, проигранные им.

И Время поглотило эту месть.  
Теперь здесь людно, многие смеются,  
гремят пластинки. Но пред тем, как сесть  
за столик, как-то тянет оглянуться.  
Везде пластмасса, никель — все не то;  
в пирожных привкус бромистого натра.  
Порой, перед закрытием, из театра  
он здесь бывает, но инкогнито.

Когда он входит, все они встают.  
Одни — по службе, прочие — от счастья.  
Движением ладони от запястья  
он возвращает вечеру уют.  
Он пьет свой кофе — лучший, чем тогда,  
и ест рогалик, примостившись в кресле,  
столь вкусный, что и мертвые «о да!»  
воскликнули бы, если бы воскресли.

*Январь 1972*

## ПОХОРОНЫ БОБО

### 1

Бобо мертва, но шапки недолой.  
Чем объяснить, что утешаться нечем.  
Мы не проколем бабочку иглой  
Адмиралтейства — только изувечим.

Квадраты окон, сколько ни смотри  
по сторонам. И в качестве ответа  
на «Что стряслось» пустую изнутри  
открой жестянку: «Видимо, вот это».

Бобо мертва. Кончается среда.  
На улицах, где не найдешь ночлега,  
белым-бело. Лишь черная вода  
ночной реки не принимает снега.

### 2

Бобо мертва, и в этой строчке грусть.  
Квадраты окон, арок полукружья.  
Такой мороз, что коль убьют, то пусть  
из огнестрельного оружия.

Прощай, Бобо, прекрасная Бобо.  
Слеза к лицу разрезанному сыру.  
Нам за тобой последовать слабо,  
но и стоять на месте не под силу.

Твой образ будет, знаю наперед,  
в жару и при морозе-ломоносе  
не уменьшаться, но наоборот  
в неповторимой перспективе Росси.

### 3

Бобо мертва. Вот чувство, дележу  
доступное, но скользкое, как мыло.  
Сегодня мне приснилось, что лежу  
в своей кровати. Так оно и было.

Сорви листок, но дату переправь:  
нуль открывает перечень утратам.  
Сны без Бобо напоминают явь,  
и воздух входит в комнату квадратом.

Бобо мертва. И хочется, уста  
слегка разжав, произнести «не надо».  
Наверно, после смерти — пустота.  
И вероятнее, и хуже Ада.

### 4

Ты всем была. Но, потому что ты  
теперь мертва, Бобо моя, ты стала  
ничем — точнее, сгустком пустоты.  
Что тоже, как подумашь, немало.

Бобо мертва. На круглые глаза  
вид горизонта действует, как нож, но  
тебя, Бобо, Кики или Заза  
им не заменят. Это невозможно.

Идет четверг. Я верю в пустоту.  
В ней, как в Аду, но более херово.  
И новый Дант склоняется к листу  
и на пустое место ставит слово.

1972

## НАБРОСОК

Холуй трясется. Раб хохочет.  
Палач свою секиру точит.  
Тиран кромсает каплуна.  
Сверкает зимняя луна.

Се вид Отечества, гравюра.  
На лежаке — Солдат и Дура.  
Старуха чешет мертвый бок.  
Се вид Отечества, лубок.

Собака лает, ветер носит.  
Борис у Глеба в морду просит.  
Кружатся пары на балу.  
В прихожей — куча на полу.

Луна сверкает, зренье муча.  
Под ней, как мозг отдельный, туча...  
Пускай Художник, паразит,  
другой пейзаж изобразит.

1972

## ПИСЬМА РИМСКОМУ ДРУГУ

### Из Марциала

---

Нынче ветрено и волны с перехлестом.  
Скоро осень, все изменится в округе.  
Смена красок этих трогательней, Постум,  
чем наряда перемена у подруги.

Дева тешит до известного предела —  
дальше локтя не пойдешь или колена.  
Сколь же радостней прекрасное вне тела:  
ни объятье невозможно, ни измена!

---

Посылаю тебе, Постум, эти книги.  
Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко?  
Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги?  
Все интриги, вероятно, да обжорство.

Я сижу в своем саду, горит светильник.  
Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.  
Вместо слабых мира этого и сильных —  
лишь согласное гуденье насекомых.

---

Здесь лежит купец из Азии. Толковым  
был купцом он — деловит, но незаметен.  
Умер быстро: лихорадка. По торговым  
он делам сюда приплыл, а не за этим.

Рядом с ним — легионер, под грубым кварцем.  
Он в сражениях Империю прославил.  
Столько раз могли убить! а умер старцем.  
Даже здесь не существует, Постум, правил.

---

Пусть и вправду, Постум, курица не птица,  
но с куриными мозгамихватишь горя.  
Если выпало в Империи родиться,  
лучше жить в глухой провинции у моря.

И от Цезаря далеко, и от вьюги.  
Лебезить не нужно, трусить, торопиться.  
Говоришь, что все наместники — ворюги?  
Но воруга мне милей, чем кровопийца.

---

Этот ливень переждать с тобой, гетера,  
я согласен, но давай-ка без торговли:  
братъ сестерций с покрывающего тела  
все равно, что дранку требовать у кровли.

Протекаю, говоришь? Но где же лужа?  
Чтобы лужу оставлял я, не бывало.  
Вот найдешь себе какого-нибудь мужа,  
он и будет протекать на покрывало.

---

Вот и прожили мы больше половины.  
Как сказал мне старый раб перед таверной:  
«Мы, оглядываясь, видим лишь руины».  
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.

Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом.  
Разыщу большой кувшин, воды налью им...  
Как там в Ливии, мой Постум,— или где там?  
Неужели до сих пор еще воюем?

---

Помнишь, Постум, у наместника сестрица?  
Худоцавая, но с полными ногами.  
Ты с ней спал еще... Недавно стала жрица.  
Жрица, Постум, и общается с богами.

Приезжай, попьем вина, закусим хлебом.  
Или сливами. Расскажешь мне известья.  
Постелю тебе в саду под чистым небом  
и скажу, как называются созвездья.

---

Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье,  
долг свой давний вычитанию заплатит.  
Забери из-под подушки сбереженья,  
там немного, но на похороны хватит.

Поезжай на вороной своей кобыле  
в дом гетер под городскую нашу стену.  
Дай им цену, за которую любили,  
чтоб за ту же и оплакивали цену.

---

Зелень лавра, доходящая до дрожи.  
Дверь распахнутая, пыльное оконце.  
Стул покинутый, оставленное ложе.  
Ткань, впитавшая полуденное солнце.

Понт шумит за черной изгородью пиний.  
Чье-то судно с ветром борется у мыса.  
На разошедшей скамейке — Старший Плиний.  
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.

*Март 1972*

## ПЕСНЯ НЕВИННОСТИ, ОНА ЖЕ — ОПЫТА

«On a cloud i saw a child,  
and he laughing said to me...»

*W. Blake \**

### 1

Мы хотим играть на лугу в пятнашки,  
не ходить в пальто, но в одной рубашке.  
Если вдруг на дворе будет дождь и слякоть,  
мы, готовя уроки, хотим не плакать.

Мы учебник прочтем, вопреки заглавью.  
То, что нам приснится и станет явью.  
Мы полюбим всех, и в ответ — они нас.  
Это самое лучшее: плюс на минус.

Мы в супруги возьмем себе дев с глазами  
дикой лани; а если мы девы сами,  
то мы юношей стройных возьмем в супруги,  
и не будем чаять души друг в друге.

Потому что у куклы лицо в улыбке,  
мы, смеясь, свои совершим ошибки.  
И тогда живущие на покое  
мудрецы нам скажут, что жизнь такое.

### 2

Наши мысли длинней будут с каждым годом.  
Мы любую болезнь победим иодом.  
Наши окна завешаны будут тюлем,  
а не забраны черной решеткой тюрем.

---

\* «...Дитя на облачке узрел я,  
оно мне молвило, смеясь...» *Вильям Блейк (англ.)*.

Мы с приятной работы вернемся рано.  
Мы глаза не спустим в кино с экрана.  
Мы тяжелые брошки приколем к платьям.  
Если кто без денег, то мы заплатим.

Мы построим судно с винтом и паром,  
целиком из железа и с полным баром.  
Мы взойдем на борт и получим визу,  
и увидим Акрополь и Мону Лизу.

Потому что число континентов в мире  
с временами года, числом четыре,  
перемножив и баки залив горючим,  
двадцать мест поехать куда получим.

### 3

Соловей будет петь нам в зеленой чаще.  
Мы не будем думать о смерти чаще,  
чем ворона в виду огородных пугал.  
Согрешивши, мы сами и станем в угол.

Нашу старость мы встретим в глубоком кресле,  
в окружении внуков и внучек. Если  
их не будет, дадут посмотреть соседи  
в телевизоре гибель шпионской сети.

Как нас учат книги, друзья, эпоха:  
завтра не может быть так же плохо,  
как вчера, и слово сие писати  
в *tempi* следует нам *passati* \*.

Потому что душа существует в теле,  
жизнь будет лучше, чем мы хотели.  
Мы пирог свой зажарим на чистом сале,  
ибо так вкуснее; нам так сказали.

---

\* Прошедшие времена, прошлое (итал.).

1

Мы не пьем вина на краю деревни.  
Мы не ладим себя в женихи царевне.  
Мы в густые щи не макаем лапоть.  
    Нам смеяться стыдно и скушно плакать.

Мы дугу не гнем пополам с медведем.  
Мы на сером волке вперед не едем,  
и ему не встать, уколовшись шприцем  
    или оземь грянувшись, стройным принцем.

Зная медные трубы, мы в них не трубим.  
Мы не любим подобных себе, не любим  
тех, кто сделан был из другого теста.  
    Нам не нравится время, но чаще — место.

Потому что север далек от юга,  
наши мысли цепляются друг за друга,  
когда меркнет солнце, мы свет включаем,  
    завершая вечер грузинским чаем.

2

Мы не видим всходов из наших пашен.  
Нам судья противен, защитник страшен.  
Нам дороже свайка, чем матч столетья.  
    Дайте нам обед и компот на третье.

Нам звезда в глазу, что слеза в подушке.  
Мы боимся короны во лбу лягушки,  
бородавок на пальцах и прочей мрази.  
    Подарите нам тюбик хорошей мази.

Нам приятней глупость, чем хитрость лисья.  
Мы не знаем, зачем на деревьях листья.  
И, когда их срывает Борей до срока,  
    ничего не чувствуем, кроме шока.

---

\* «Внемлите глас Певца!» Вильям Блейк (англ.).

Потому что тепло переходит в холод,  
наш пиджак зашит, а тулуп проколот.  
Не рассудок наш, а глаза ослабли,  
чтоб искать отличие орла от цапли.

### 3

Мы боимся смерти, посмертной казни.  
Нам знаком при жизни предмет боязни:  
пустота вероятней и хуже ада.

Мы не знаем, кому нам сказать «не надо».

Наши жизни, как строчки, достигли точки.  
В изголовьи дочки в ночной сорочке  
или сына в майке не встать нам снами.

Наша тень длиннее, чем ночь пред нами,

То не колокол бьет над угрюмым вечем!  
Мы уходим во тьму, где светить нам нечем.  
Мы спускаем флаги и жжем бумаги.

Дайте нам припасть напоследок к фляге:

Почему все так вышло? И будет ложью  
на характер свалить или Волю Божью.  
Разве должно было быть иначе?

Мы платили за всех, и не нужно сдачи.

1972

Виктору Гольцеву

Птица уже не влетает в форточку.  
Девушка, как зверь, защищает кофточку.  
Подскользнувшись о вишневую косточку,  
я не падаю: сила трения  
возрастает с падением скорости.  
Сердце скачет, как белка, в хворосте  
ребер. И горло поет о возрасте.  
Это — уже старение.

Старение! Здравствуй, мое старение!  
Крови медленное струение.  
Некогда стройное ног строение  
мучает зрение. Я заранее  
область своих ощущений пятаю,  
обувь скидая, спасаю ватюю.  
Всякий, кто мимо идет с лопатюю,  
ныне объект внимания.

Правильно! Тело в страстях раскаялось.  
Зря оно пело, рыдало, скалилось.  
В полости рта не уступит кариес  
Греции древней, по меньшей мере.  
Смрадно дыша и треща суставами,  
пачкаю зеркало. Речь о саване  
еще не идет. Но уже те самые,  
кто тебя вынесет, входят в двери.

Здравствуй, младое и незнакомое  
племя! Жужжащее, как насекомое;  
время нашло, наконец, искомое  
лакомство в твердом моем затылке.  
В мыслях разброд и разгром на темени.

Точно царица — Ивана в тереме,  
чую дыхание смертной темени  
фибрами всеми и жмусь к подстилке.

Боязно! То-то и есть, что боязно.  
Даже когда все колеса поезда  
прокатятся с грохотом ниже пояса,  
не замирает полет фантазии.  
Точно рассеянный взор отличника,  
не отличая очки от лифчика,  
боль близорука, и смерть расплывчата,  
как очертанья Азии.

Все, что я мог потерять, утрачено  
начисто. Но и достиг я начерно  
все, чего было достичь назначено.  
Даже кукушки в ночи звучание  
трогает мало — пусть жизнь оболгана  
или оправдана им надолго, но  
старение есть отрастанье органа  
слуха, рассчитанного на молчание.

Старение! В теле все больше смертного.  
То есть, ненужного жизни. С медного  
лба исчезает сиянье местного  
света. И черный прожектор в полдень  
мне заливает глазные впадины.  
Силы из мышц у меня украдены.  
Но не ищу себе перекладыны:  
совестно братья за труд Господень.

Впрочем, дело, должно быть, в трусости.  
В страхе. В технической акта трудности.  
Это — влиянье грядущей трупности:  
всякий распад начинается с воли,  
минимум коей — основа статики.  
Так я учил, сидя в школьном садике.  
Ой, отойдите, друзья-касатики!  
Дайте выйти во чисто поле!

Я был как все. То есть жил похожею  
жизнью. С цветами входил в прихожую.  
Пил. Валял дурака под кожу.  
Брал, что давали. Душа не зарилась

на не свое. Обладал опорой,  
строил рычаг. И пространству впору я  
звук извлекал, дую в дудку полую.  
Что бы такое сказать под занавес?

Слушай, дружина, враги и братие!  
Все, что творил я, творил не ради я  
славы в эпоху кино и радио,  
но ради речи родной, словесности.  
За какое раченье-жречество  
(сказано ж доктору: сам пусть лечится)  
чаши лишившись в пиру Отечества,  
нынче стою в незнакомой местности.

Ветрено. Сыро, темно. И ветрено.  
Полночь швыряет листву и ветви на  
кровлю. Можно сказать уверенно:  
здесь и скончаю я дни, теряя  
волосы, зубы, глаголы, суффиксы,  
черпая кепкой, что шлемом суздальским,  
из океана волну, чтоб сузился,  
хрупая рыбу, пускай сырая.

Старение! Возраст успеха. Знания  
правды. Изнанки ее. Изгнания.  
Боли. Не против нее, ни за нее  
я ничего не имею. Коли ж  
переборщит — возоплю: нелепица  
сдерживать чувства. Покамест — терпится.  
Ежели что-то во мне и теплится,  
это не разум, а кровь всего лишь.

Данная песня не вопль отчаянья.  
Это — следствие одичания.  
Это — точней — первый крик молчания,  
царствие чье представляю суммою  
звуков, исторгнутых прежде мокрою,  
затвердевающей ныне в мертвую  
как бы натуру, гортанью твердою.  
Это и к лучшему. Так я думаю.

Вот оно — то, о чем я глаголаю:  
о превращении тела в голую  
вещь! Ни горé не гляжу, ни долу я,

но в пустоту — чем ее ни высветли.  
Это и к лучшему. Чувство ужаса  
вещи не свойственно. Так что лужица  
подле вещи не обнаружится,  
даже если вещица при смерти.

Точно Тезей из пещеры Миноса,  
выйдя на воздух и шкуру вынеся,  
не горизонт вижу я — знак минуса  
к прожитой жизни. Острей, чем меч его,  
лезвие это, и им отрезана  
лучшая часть. Так вино от трезвого  
прочь убирают, и соль — от пресного.  
Хочется плакать. Но плакать нечего.

Бей в барабан о своем доверии  
к ножницам, в коих судьба материи  
скрыта. Только размер потери и  
делает смертного равным Богу.  
(Это суждение стоит галочки  
даже в виду обнаженной парочки.)  
Бей в барабан, пока держишь палочки,  
с тенью своей маршируя в ногу!

*18 декабря 1972*

## В ОЗЕРНОМ КРАЮ

В те времена в стране зубных врачей,  
чьи дочери выписывают вещи  
из Лондона, чьи стиснутые клещи  
вздымают вверх на знамени ничей  
Зуб Мудрости, я, прячущий во рту  
развалины почище Парфенона,  
шпион, лазутчик, пятая колонна  
гнилой цивилизации — в быту  
профессор красноречия — я жил  
в колледже возле Главного из Пресных  
озер, куда из недорослей местных  
был призван для вытягиванья жил.

Все то, что я писал в те времена,  
сводилось неизбежно к многоточью.  
Я падал, не расстегиваясь, на  
постель свою. И ежели я ночью  
отыскивал звезду на потолке,  
она, согласно правилам сгоранья,  
сбегала на подушку по щеке  
быстрей, чем я загадывал желанье.

1972

Осенний вечер в скромном городке,  
гордящемся присутствием на карте  
(топограф был, наверное, в азарте  
иль с дочкою судьи накоротке).

Уставшее от собственных причуд,  
Пространство как бы скидывает бремя  
величья, ограничиваясь тут  
чертами Главной улицы; а Время  
взирает с неким холодом в кости  
на циферблат колониальной лавки,  
в чьих недрах все, что смог произвести  
наш мир: от телескопа до булавки.

Здесь есть кино, салуны, за углом  
одно кафе с опущенною шторой,  
кирпичный банк с распластанным орлом  
и церковь, о наличии которой  
и ею расставляемых сетей,  
когда б не рядом с почтой, позабыли.  
И если б здесь не делали детей,  
то пастор бы крестил автомобили.

Здесь буйствуют кузнечики в тиши.  
В шесть вечера, как вследствие атомной  
войны, уже не встретишь ни души.  
Луна всплывает, вписываясь в темный  
квадрат окна, что твой Экклезиаст.  
Лишь изредка несущийся куда-то  
шикарный бьюик фарами обдаст  
фигуру Неизвестного Солдата.

Здесь снится вам не женщина в трико,  
а собственный ваш адрес на конверте.  
Здесь утром, видя скисшим молоко,  
молочник узнает о вашей смерти.  
Здесь можно жить, забыв про календарь,  
глотать свой бром, не выходить наружу  
и в зеркало глядеться, как фонарь  
глядится в высыхающую лужу.

1972

Имяреку, тебе — потому что не станет за труд  
из-под камня тебя раздобыть, — от меня, анонима,  
как по тем же делам: потому что и с камня сотрут,  
так и в силу того, что я сверху и, камня помимо,  
чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса —  
на эзоповой фене в отечестве белых головок,  
где наощупь и слух наколол ты свои полюса  
в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок;  
имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от  
то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой,  
похитителю книг, сочинителю лучшей из од  
на паденье А. С. в кружева и к ногам Гончаровой,  
слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,  
обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфodelей,  
белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,  
одинокому сердцу и телу бессчетных постелей —  
да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,  
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и  
дыма,  
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,  
и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима.  
Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.  
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,  
вниз по темной реке ушывая в бесцветном пальто,  
чьи застежки одни и спасали тебя от распада.  
Тщетно драхму во рту твоём ищет угрюмый Харон,  
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.  
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон  
с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.

1973

## БАБОЧКА

### I

Сказать, что ты мертва?  
Но ты жила лишь сутки.  
Как много грусти в шутке  
Творца! едва  
могу произнести  
«жила» — единство даты  
рожденья и когда ты  
в моей горсти  
рассыпалась, меня  
смущает вычестъ  
одно из двух количеств  
в пределах дня.

### II

Затем что дни для нас —  
ничто. Всего лишь  
ничто. Их не приколешь  
и пиццей глаз  
не сделаешь: они  
на фоне белом,  
не обладая телом,  
незримы. Дни,  
они как ты; верней,  
что может весить  
уменьшенный раз в десять  
один из дней?

### III

Сказать, что вовсе нет  
тебя? Но что же

в руке моей так схоже  
с тобой? и цвет —  
не плод небытия.  
По чьей подсказке  
и как кладутся краски?  
Навряд ли я,  
бормочущий комок  
слов, чуждых цвету,  
вообразить бы эту  
палитру смог.

#### IV

На крылышках твоих  
зрачки, ресницы —  
красавицы ли, птицы —  
обрывки чьих,  
скажи мне, это лиц,  
портрет летучий?  
Каких, скажи, твой случай  
частиц, крупниц  
являет натюрморт:  
вещей, плодов ли?  
и даже рыбной ловли  
трофей простерт.

#### V

Возможно, ты — пейзаж,  
и, взявши лупу,  
я обнаружу группу  
нимф, пляску, пляж.  
Светло ли там, как днем?  
иль там уныло,  
как ночью? и светило  
какое в нем  
взошло на небосклон?  
чьи в нем фигуры?  
Скажи, с какой природы  
был сделан он?

#### VI

Я думаю, что ты —  
и то, и это:

звезды, лица, предмета  
в тебе черты.  
Кто был тот ювелир,  
что, бровь не хмуря,  
нанес в миниатюре  
на них тот мир,  
что сводит нас с ума,  
берет нас в клещи,  
где ты, как мысль о вещи,  
мы — вещь сама?

## VII

Скажи, зачем узор  
такой был даден  
тебе всего лишь на день  
в краю озер,  
чья амальгама впрок  
хранит пространство?  
А ты — лишает шанса  
столь краткий срок  
попасть в сачок,  
затрепетать в ладони,  
в момент погони  
пленишь зрачок.

## VIII

Ты не ответишь мне  
не по причине  
застенчивости и не  
со зла, и не  
затем что ты мертва.  
Жива, мертва ли —  
но каждой Божьей твари  
как знак родства  
дарован голос для  
общенья, пенья:  
продления мгновенья,  
минуты, дня.

## IX

А ты — ты лишена  
сего залога.  
Но, рассуждая строго,  
так лучше: на  
кой ляд быть у небес  
в долгу, в реестре.  
Не сокрушайся ж, если  
твой век, твой вес  
достойны немоты:  
звук — тоже время.  
Бесплотнее, чем время,  
беззвучней ты.

## X

Не ощущая, не  
дожив до страха,  
ты вьешься легче праха  
над клумбой, вне  
похожих на тюрьму  
с ее удушьем  
минувшего с грядущим,  
и потому,  
когда летишь на луг,  
желая корму,  
приобретает форму  
сам воздух вдруг.

## XI

Так делает перо,  
скользя по глади  
расчерченной тетради,  
не зная про  
судьбу своей строки,  
где мудрость, ересь  
смешались, не доверясь  
толчком руки,  
в чьих пальцах бьется речь,  
вполне немая,  
не пыль с цветка снимая,  
но тяжесть с плеч.

## ХII

Такая красота  
и срок столь краткий,  
соединясь, догадкой  
кривят уста:  
не высказать ясней,  
что в самом деле  
мир создан был без цели,  
а если с ней,  
то цель — не мы.  
Друг-энтомолог,  
для света нет иголок  
и нет для тьмы.

## ХIII

Сказать тебе «Прощай»?  
как форме суток?  
Есть люди, чей рассудок  
стрижет лишай  
забвенья; но взгляни:  
тому виною  
лишь то, что за спиною  
у них не дни  
с постелью на двоих,  
не сны дремучи,  
не прошлое — но тучи  
сестер твоих!

## ХIV

Ты лучше, чем Ничто.  
Верней: ты ближе  
и зримее. Внутри же  
на все на сто  
ты родственна ему.  
В твоём полете  
оно достигло плоти;  
и потому  
ты в сутолке дневной  
достойна взгляда  
как легкая преграда  
меж ним и мной.

1972

## ТОРС

Если вдруг забредаешь в каменную траву,  
выглядающую в мраморе лучше, чем наяву,  
иль замечаешь фавна, предавшегося возне  
с нимфой, и оба в бронзе счастливее, чем во сне,  
можешь выпустить посох из натруженных рук:  
ты в Империи, друг.

Воздух, пламень, вода, фавны, наяды, львы,  
взятые из природы или из головы,—  
все, что придумал Бог и продолжать устал  
мозг, превращено в камень или металл.  
Это — конец вещей, это — в конце пути  
зеркало, чтоб войти.

Встань в свободную нишу и, закатив глаза,  
смотри, как проходят века, исчезая за  
углом, и как в паху прорастает мох  
и на плечи ложится пыль — этот загар эпох.  
Кто-то отколет руку, и голова с плеча  
скатится вниз, стуча.

И останется торс, безымянная сумма мышц.  
Через тысячу лет живущая в нише мышшь с  
ломаным когтем, не одолев гранит,  
выйдя однажды вечером, пискнув, просеменит  
через дорогу, чтоб не придти в нору  
в полночь. Ни поутру.

1972

# ЛАГУНА

## I

Три старухи с вязаньем в глубоких креслах  
тоскуют в холле о муках крестных;  
пансион «Академия» вместе со  
всей Вселенной плывет к Рождеству под рокот  
телевизора; сунув гроссбух под локоть,  
клерк поворачивает колесо.

## II

И восходит в свой номер на борт по трапу  
постоялец, несущий в кармане граппу,  
совершенный никто, человек в плаще,  
потерявший память, отчизну, сына;  
по горбу его плачет в лесах осина,  
если кто-то плачет о нем вообще.

## III

Венецийских церквей, как сервизов чайных,  
слышен звон в коробке из-под случайных  
жизней. Бронзовый осьминог  
люстры в трельяже, заросшем ряской,  
лижет набрякший слезами, лаской,  
грязными снами сырой станок.

## IV

Адриатика ночью восточным ветром  
канал наполняет, как ванну, с верхом,  
лодки качает, как люльки; фиш,  
а не вол в изголовьи встает ночами,  
и звезда морская в окне лучами  
штору шевелит, покуда спишь.

## V

Так и будем жить, заливая мертвой  
водой стеклянной графина мокрый  
пламень граппы, кромсая леща, а не  
птицу-гуся, чтобы нас насытил  
предок хордовый Твой, Спаситель,  
зимней ночью в сырой стране.

## VI

Рождество без снега, шаров и ели  
у моря, стесненного картой в теле;  
створку моллюска пустив ко дну,  
пряча лицо, но спиной пленяя,  
Время выходит из волн, меняя  
стрелку на башне — ее одну.

## VII

Тонущий город, где твердый разум  
внезапно становится мокрым глазом,  
где сфинксов северных южный брат,  
знающий грамоте лев крылатый,  
книгу захлопнув не крикнет «ратуй!»,  
в плеске зеркал захлебнуться рад.

## VIII

Гондолу бьет о гнилые сваи.  
Звук отрицает себя, слова и  
слух; а также державу ту,  
где руки тянутся хвойным лесом  
перед мелким, но хищным бесом  
и слюну леденит во рту.

## IX

Скрестим же с левой, вобравшей когти,  
правую лапу, согнувши в локте;  
жест получим, похожий на  
молот в серпе — и как черт Солохе,  
храбро покажем его эпохе,  
принявшей образ дурного сна.

## X

Тело в плаще обживает сферы,  
где у Софии, Надежды, Веры  
и Любви нет грядущего, но всегда  
есть настоящее, сколь бы горек  
не был вкус поцелуев эбре и гоек,  
и города, где стопа следа

## XI

не оставляет, как челн на глади  
водной, любое пространство сзади,  
взятое в цифрах, сводя к нулю,  
не оставляет следов глубоких  
на площадях, как «прощай», широких,  
в улицах узких, как звук «люблю».

## XII

Шпили, колонны, резьба, лепнина  
арок, мостов и дворцов; взгляни на-  
верх: увидишь улыбку льва  
на охваченной ветром, как платьем, башне,  
несокрушимой, как знак вне пашни,  
с поясом времени вместо рва.

## XIII

Ночь на Сан-Марко. Прохожий с мятым  
лицом, сравнимым во тьме со снятым  
с безмянного пальца кольцом, грызя  
ноготь, смотрит, объят покоем,  
в то «никуда», задержаться в коем  
мысли можно, зрачку — нельзя.

## XIV

Там, за нигде, за его пределом  
— черным, бесцветным, возможно, белым —  
есть какая-то вещь, предмет.

Может быть, тело. В эпоху тренья  
скорость света есть скорость зренья;  
даже тогда, когда света нет.

1973

## НА СМЕРТЬ ЖУКОВА

Вижу колонны замерзших внуков,  
гроб на лафете, лошади круп.  
Ветер сюда не доносит мне звуков  
русских военных плачущих труб.  
Вижу в регалии убранный труп:  
в смерть уезжает пламенный Жуков.

Воин, пред коим многие пали  
стены, хоть меч был вражьиx тупей,  
блеском маневра о Ганнибале  
напоминавший средь волжских степей.  
Кончивший дни свои глухо, в опале,  
как Велизарий или Помпей.

Сколько он пролил крови солдатской  
в землю чужую! Что ж, горевал?  
Вспомнил ли их, умирающий в штатской  
белой кровати? Полный провал.  
Что он ответит, встретившись в адской  
области с ними? «Я воевал».

К правому делу Жуков десницы  
больше уже не приложит в бою.  
Спи! У истории русской страницы  
хватит для тех, кто в пехотном строю  
смело входили в чужие столицы,  
но возвращались в страхе в свою.

Маршал! поглотит алчная Лета  
эти слова и твои прахоря.

Все же, прими их — жалкая лепта  
родину спасшему, вслух говоря.  
Бей, барабан, и, военная флейта,  
громко свисти на манер снегиря.

1974

## ТЕМЗА В ЧЕЛСИ

### I

Ноябрь. Светило, поднявшееся натошак,  
замирает на банках с содой в стекле аптеки.  
Ветер находит преграду во всех вещах:  
в трубах, в деревьях, в движущемся человеке.  
Чайки бдят на оградах, что-то клюют жида;  
неколесный транспорт ползет по Темзе,  
как по серой дороге, извивающейся без нужды.  
Томас Мор взирает на правый берег с тем же  
вожделеньем, что прежде, и напрягает мозг.  
Тусклый взгляд из себя прочней, чем железный мост  
Принца-Альберта; и, говоря по чести,  
это лучший способ покинуть Челси.

### II

Бесконечная улица, деляя резкий крюк,  
выбегает к реке, кончаясь железной стрелкой.  
Тело сыплет шаги на землю из мятых брюк,  
и деревья стоят, точно в очереди за мелкой  
осетриной волн; это все, на что  
Темза способна по части рыбы.  
Местный дождь затмевает трубу Агриппы.  
Человек, способный взглянуть на сто  
лет вперед, узрит побуревший портик,  
который вывеска «бар» не портит,  
вереницу барж, ансамбль водосточных флейт,  
автобус у галереи Тэйт.

### III

Город Лондон прекрасен, особенно в дождь. Ни жесть  
для него не преграда, ни кепки и ни корона.

Лишь у тех, кто зонты производит, есть в этом климате шансы захвата трона. Серым днем, когда вашей спины настичь даже тень не в силах и на исходе деньги, в городе, где, как ни темней кирпич, молоко будет вечно белеть на сырой ступеньке, можно, глядя в газету, столкнуться со статьей о прохожем, попавшем под колесо; и только найдя абзац о том, как скорбит родня, с облегченьем подумать: это не про меня.

#### IV

Эти слова мне диктовала не любовь, и не Муза, но потерявший скорость звука пыливый, бесцветный голос; я отвечал, лежа лицом к стене.  
«Как ты жил в эти годы?» — «Как буква «г» в «ого».  
«Опиши свои чувства.» — «Смущался дороговизне.»  
«Что ты любишь на свете сильнее всего?»  
«Реки и улицы — длинные вещи жизни.»  
«Вспоминаешь о прошлом?» — «Помню, была зима. Я катался на санках, меня продуло.»  
«Ты боишься смерти?» — «Нет, это та же тьма; но, привыкнув к ней, не различишь в ней стула.»

#### V

Воздух живет той жизнью, которой нам не дано уразуметь — живет своей голубою, ветреной жизнью, начинаясь над головою и нигде не кончаясь. Взглянув в окно, видишь трубы и шпили, кровлю, ее свинец; это — начало большого сырого мира, где мостовая, которая нас вскормила, собой представляет его конец преждевременный... Брезжит рассвет, проезжает почта. Больше не во что верить, опричь того, что покуда есть правый берег у Темзы, есть левый берег у Темзы. Это — благая весть.

#### VI

Город Лондон прекрасен, в нем всюду идут часы. Сердце может только отстать от Большого Бена.

Темза катится к морю, разбухшая, точно вена,  
и буксиры в Челси дерут басы.  
Город Лондон прекрасен. Если не ввысь, то вширь  
он раскинулся вниз по реке как нельзя безбрежней.  
И когда в нем спишь, номера телефонов прежней  
и текущей жизни, слившись, дают цифирь  
астрономической масти. И палец, вращая диск  
зимней луны, обретает бесцветный писк  
«занято»; и этот звук во много  
раз неизбежней, чем голос Бога.

1974

## МЕКСИКАНСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

*Октавио Пасу*

### Гуернавака

В саду, где М., французский протеже,  
имел красавицу густой индейской крови,  
сидит певец, прибывший издаля,  
Сад густ, как тесно набранное «Ж».  
Летает дрозд, как сросшиеся брови.  
Вечерний воздух звонче хрустала.

Хрусталь, заметим походя, разбит.  
М. был здесь императором три года.  
Он ввел хрусталь, шампанское, балы.  
Такие вещи скрашивают быт.  
Затем республиканская пехота  
М. расстреляла. Грустное курлы

доносится из плотной синевы.  
Селяне околачивают груши.  
Три белых утки плавают в пруду.  
Слух различает в ропоте листья  
жаргон, которым пользуются души,  
общаясь в переполненном Аду.

---

Отбросим пальмы. Выделив платан,  
представим М., когда, перо отбросив,  
он скидывает шелковый шлафрок  
и думает, что делает братан  
(и тоже император) Франц-Иосиф,  
насвистывая с грустью «Мой сурок».

«С приветом к вам из Мексики. Жена  
сошла с ума в Париже. За стеною

дворца стрельба, пылают петухи.  
Столица, милый брат, окружена  
повстанцами. И мой сурок со мною.  
И гочкис популярнее сохи.

И то сказать, третичный известняк  
известен как отчаянная почва.  
Плюс экваториальная жара.  
Здесь пуля есть естественный сквозняк.  
Так чувствуют и легкие, и почка.  
Потею, и слезает кожа.

Опричь того, мне хочется домой.  
Сучаю по отеческим труппам.  
Пошлите альманахов и поэм.  
Меня убьют здесь, видимо. И мой  
сурок со мною, стало быть. Еще вам  
моя мулатка кланяется. М.»

---

Конец июля прячется в дожди,  
как собеседник в собственные мысли.  
Что впрочем, вас не трогает в стране,  
где меньше впереди, чем позади.  
Бренчит гитара. Улицы раскисли.  
Прохожий тонет в желтой пелене.

Включая пруд, все сильно заросло.  
Кишат ужи и ящерицы. В кронах  
клубятся птицы с яйцами и без.  
Что губит все династии — число  
наследников при недостатке в тронах.  
И наступают выборы и лес.

М. не узнал бы местности. Из ниш  
исчезли бюсты, портики пожухли,  
стена осела деснами в овраг.  
Насытишь взгляд, но мысль не удлинишь.  
Сады и парки переходят в джунгли.  
И с губ срывается невольно: рак.

В ночном саду под гроздью зреющего манго  
 Максимилян танцует то, что станет танго.  
 Тень возвращается подобьем бумеранга,  
 температура, как подмышкой, тридцать шесть.

Мелькает белая жилетная подкладка.  
 Мулатка тает от любви, как шоколадка,  
 в мужском объятии посапывая сладко.  
 Где надо — гладко, где надо — шерсть.  
 В ночной тиши под сенью девственного леса  
 Хуарец, действуя как двигатель прогресса,  
 забывшим начисто, как выглядят два песо,  
 пеонам новые винтовки выдает.

Затворы клацают; в расчерченной на клетки  
 Хуарец ведомости делает отметки.  
 И попугай весьма тропической расцветки  
 сидит на ветке и так поет:

Презренье к ближнему у нюхающих розы  
 пускай не лучше, но честней гражданской позы.  
 И то и это порождает кровь и слезы.  
 Тем паче в тропиках у нас, где смерть, увь,

распространяется, как мухами — зараза,  
 иль как в кафе удачно брошенная фраза,  
 и где у черепа в кустах всегда три глаза,  
 и в каждом — пышный пучок травы.

### Мерида

Коричневый город. Веер  
 пальмы и черепица  
 старых построек.  
 С кафе начиная, вечер  
 входит в него. Садится  
 за пустующий столик.

В позлащенном лучами  
 ультрамарине неба  
 колокол, точно  
 кто-то бренчит ключами:

звук, исполненный неги  
для бездомного. Точка

загорается рядом  
с колокольной собора.  
Видимо, Веспер.  
Проводив его взглядом,  
полным пусть не укора,  
но сомнения, вечер

допивает свой кофе,  
красящий его скулы.  
Платит за эту  
чашку. Шляпу на брови  
надвинув, встает со стула,  
складывает газету

и выходит. Пустая  
улица провожает  
длинную в черной  
паре фигуру. Стая  
теней его окружает  
под навесом — никчемный

сброд: дурные манеры,  
пятна, драные петли.  
Он бросает устало:  
«Господа офицеры.  
Выступайте немедленно.  
Время настало.

А теперь — врассыпную.  
Вы, полковник, что значит  
этот луковый запах?»  
Он отвязывает вороную  
лошадь. И скачет  
дальше на Запад.

### **В отеле «Континенталь»**

Победа Мондриана. За стеклом —  
пир кубатуры. Воздух или выпит  
под девяносто градусов углом,  
иль щедро залит в параллелепипед.

В проем оконный вписано, бедро  
красавицы — последнее оружие:  
раскрыв халат, напоминает про  
пускай не круг хотя, но полукружье,  
но сектор циферблата.

Говоря  
насчет ацтеков, слава краснокожим  
за честность вычесть из календаря  
дни месяца, в которые «не можем»  
в платоновой пещере, где на брата  
приходится кусок пиэрквadrата.

### Мексиканский романсеро

Кактус, пальма, агава.  
Солнце встает с Востока,  
улыбаясь лукаво,  
а приглядишь — жестоко.

Испепеленные скалы,  
почва в мертвой коросте.  
Череп в его оскале!  
И в лучах его — кости!

С голой шеей, уродлив,  
на телеграфном насесте  
стервятник — как иероглиф  
падали в буром тексте

автострады. Направо  
пойдешь — там стоит агава.  
Она же — налево. Прямо —  
груда ржавого хлама.

---

Вечерний Мехико-Сити.  
Лень и слепая сила  
в нем смешаны, как в сосуде.  
И жизнь течет, как текила.

Улицы, лица, фары.  
Каждый второй — усатый.  
На Авениде Реформы  
масса бронзовых статуй.

Подле каждой, на кромке  
тротуара, с рукою  
протянутой — по мексиканке  
с грудным младенцем. Такою

фигурой — присохшим плачем —  
и увенчать бы на деле  
Памятник Мексике! Впрочем,  
и под ним бы сидели.

---

Сад громоздит листву и  
не выдает вас зною.  
(Я знал, что я существую,  
пока ты была со мною.)

Площадь. Фонтан с рябою  
нимфою. Скаты кровель.  
(Покуда я был с тобою,  
я видел все вещи в профиль.)

Райские кущи с адом  
голосов за спиною.  
(Кто был все время рядом,  
пока ты была со мною?)

Ночь с багровой луною,  
как сургуч на конверте.  
(Пока ты была со мною,  
я не боялся смерти.)

---

Вечерний Мехико-Сити.  
Большая любовь к вокалу.  
Бродячий оркестр в беседке  
горланит «Гвадалахару».

Веселый Мехико-Сити  
Точно картина в раме,  
но неизвестной кисти,  
он окружен горами.

Вечерний Мехико-Сити.  
Пляска горячих литер  
Кока-Колы. В зените  
реет Ангел-Хранитель.

Здесь это связано с риском  
быть подстреленным сходу,  
сделаться обелиском  
и представлять Свободу.

---

Что-то внутри, похоже,  
сорвалось, расколосось.  
Произнося «о, Боже»,  
слышу собственный голос.

Так страницу мараешь  
ради мелкого чуда.  
Так при этом зриаешь  
на себя ниоткуда.

Это, Отче, издержки  
жанра (правильней — жара).  
Сдача медная с решки  
безвозмездного дара.

Как несхоже с мольбою!  
Так, забыв рыболова,  
рыба рваной губою  
тщетно дергает слово.

---

Веселый Мехико-Сити.  
Жизнь течет, как текила.  
Вы в харчевне сидите.  
Официантка забыла

о вас и вашем омлете,  
заболтавшись с брюнетом.  
Впрочем, как все на свете.  
По крайней мере, на этом.

Ибо, смерти помимо,  
все, что имеет дело  
с пространством — все заменимо.  
И особенно тело.

И этот вам уготован  
жребий, как мясо с кровью.  
В нищей стране никто вам  
вслед не смотрит с любовью.

---

Стелющаяся полого  
грунтовая дорога,  
как пыльная форма бреда.  
вас приводит в Ларедо.

С налитым кровью глазом  
вы осядете наземь,  
подломивши колени,  
точно бык на арене.

Жизнь бессмысленна. Или  
слишком длинна. Что в силе  
речь о нехватке смысла  
оставляет — как числа

в календаре настенном.  
Что удобно растениям,  
камню, светилам. Многим  
предметам. Но не двуногим.

### К Евгению

Я был в Мексике, взбирался на пирамиды.  
Безупречные геометрические громады  
рассыпаны там и сям на Тегуантепекском перешейке.  
Хочется верить, что их воздвигли космические  
пришельцы,  
ибо обычно такие вещи делаются рабами.  
И перешеек усеян каменными грибами.

Глиняные божки, поддающиеся подделке  
с необычайной легкостью, вызывающей кривотолки.

Барельефы с разными сценами, снабженные перевитым туловищем змеи неразгаданным алфавитом языка, не знавшего слова «или».

Что бы они рассказали, если б заговорили?

Ничего. В лучшем случае, о победах над соседним племенем, о разбитых головах. О том, что слитая в миску Богу Солнца людская кровь укрепляет в последнем мышцу; что вечная жертва восьми молодых и сильных обеспечивает восход надежнее, чем будильник.

Все-таки лучше сифилис, лучше жерла единорогов Кортеса, чем эта жертва. Ежели вам глаза скормить суждено воронам, лучше, если убийца — убийца, а не астроном. Вообще без испанцев вряд ли бы им случилось толком узнать, что вообще случилось.

Скушно жить, мой Евгений. Куда ни странствуй, всюду жестокость и тупость воскликнут: «Здравствуй, вот и мы!» Ленъ загонять в стихи их. Как сказано у поэта, «на всех стихиях...» Далеко же видел, сидя в родных болотах! От себя добавлю: на всех широтах.

### Заметки для энциклопедии

Прекрасная и нищая страна.  
На Западе и на Востоке — пляжи двух океанов. Посредине — горы, леса, известняковые равнины и хижины крестьян. На Юге — джунгли с руинами великих пирамид.  
На Севере — плантации, ковбой, переходящие невольню в США.  
Что позволяет перейти к торговле.

Предметы вывоза — марихуана, цветной металл, посредственное кофе, сигары под названием «Корона» и мелочи народных мастеров.  
(Прибавлю: облака.) Предметы ввоза —

все прочее и, как всегда, ружье.  
Обзаведясь которым, как-то легче  
заняться государственным устройством.

История страны грустна; однако,  
нельзя сказать, чтоб уникальна. Главным  
злом признано вторжение испанцев  
и варварское разрушение древней  
цивилизации ацтеков. Это  
есть местный комплекс Золотой Орды.  
С той разницею, впрочем, что испанцы  
действительно разжились золотишком.

Сегодня тут Республика. Трехцветный  
флаг развевается над президентским  
палаццо. Конституция прекрасна.  
Текст со следами сильной чехарды  
диктаторов лежит в Национальной  
Библиотеке под зеленым, пуле-  
непроницаемым стеклом — причем,  
таким же, как в роллс-ройсе президента.

Что позволяет сквозь него взглянуть  
в грядущее. В грядущем население,  
бесспорно, увеличится. Пеон,  
как прежде, будет взмахивать мотыгой  
под жарким солнцем. Человек в очках  
листать в кофейне будет с грустью Маркса.  
И ящерица на валуне, задрав  
головку в небо, будет наблюдать

полет космического аппарата.

1975

*Михаилу Барышникову*

Классический балет есть замок красоты,  
чьи нежные жильцы от прозы дней суровой  
пиликающей ямой оркестровой  
отделены. И задраны мосты.

В имперский мягкий плюш мы втискиваем зад,  
и, крылышкуя скорописью ляжек,  
красавица, с которою не ляжешь,  
одним прыжком выпархивает в сад.

Мы видим силы зла в коричневом трико,  
и ангела добра в невыразимой пачке.  
И в силах пробудить от элизийской спячки  
овация Чайковского и К°.

Классический балет! Искусство лучших дней!  
Когда шипел ваш грог и целовали в обе,  
и мчались лихачи, и пелось бобэоби,  
и ежели был враг, то он был — маршал Ней.

В зрачках городских желтели купола.  
В каких рождались, в тех и умирали гнездах.  
И если что-нибудь взлетало в воздух,  
то был не мост, а Павлова была.

Как славно ввечеру, вдали Всея Руси,  
Барышникова зреть. Талант его не стерся!  
Усилие ноги и судорога торса  
с вращением вокруг собственной оси

рождают тот полет, которого душа  
как в девках заждалась, готовая озлиться!  
А что насчет того, где выйдет приземлиться,  
земля везде тверда; рекомендую США.

из цикла\*

**ЧАСТЬ РЕЧИ**

1975—1976

---

\* За исключением двух стихотворений, вошедших в книгу «Новые стансы к Августе».

\* \* \*

Север крошит металл, но щадит стекло.  
Учит гортань проговорить «впусти».  
Холод меня воспитал и вложил перо  
в пальцы, чтоб их согреть в горсти.

Замерзая, я вижу, как за моря  
солнце садится, и никого кругом.  
То ли по льду каблук скользит, то ли сама земля  
закругляется под каблуком.

И в гортани моей, где положен смех  
или речь, или горячий чай,  
все отчетливей раздается снег  
и чернеет, что твой Седов, «прощай».

Узнаю этот ветер, налетающий на траву,  
под него ложащуюся, точно под татарву.  
Узнаю этот лист, в придорожную грязь  
падающий, как обагранный князь.  
Растекаясь широкой стрелой по косой скуле  
деревянного дома в чужой земле,  
что гуся по полету, осень в стекле внизу  
узнает по лицу слезу.  
И, глаза закатывая к потолку,  
я не слово о номер забыл говорю полку,  
но кайсацкое имя язык во рту  
шевелит в ночи, как ярлык в Орду.

Это — ряд наблюдений. В углу — тепло.  
Взгляд оставляет на вещи след.  
Вода представляет собой стекло.  
Человек страшней, чем его скелет.

Зимний вечер с вином в нигде.  
Веранда под натиском ивняка.  
Тело покоится на локте,  
как морена вне ледника.

Через тыщу лет из-за штор моллюск  
извлекут с проступившим сквозь бахрому  
оттиском «доброй ночи» уст,  
не имевших сказать кому.

Потому что каблук оставляет следы — зима.  
В деревянных вещах замерзая в поле,  
по проходим себя узнают дома.  
Что сказать ввечеру о грядущем, коли  
воспоминанья в ночной тиши  
о тепле твоих — пропуск — когда уснула,  
тело отбрасывает от души  
на стену, точно тень от стула  
на стену ввечеру свеча,  
и под скатертью стянутым к лесу небом  
над силосной башней натертый крылом грача  
не отбелишь воздух колючим снегом.

Деревянный лаокоон, сбросив на время гору с плеч, подставляет их под огромную тучу. С мыса налетают порывы резкого ветра. Голос старается удержать слова, взвизгнув, в пределах  
смысла.

Низвергается дождь; перекрученные канаты хлещут спины холмов, точно лопатки в бане. Средиземное море шевелится за огрызками колоннады, как соленый язык за выбитыми зубами. Одичавшее сердце все еще бьется за два. Каждый охотник знает, где сидят фазаны, — в лужице  
под лежачим.  
За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра, как сказуемое за подлежащим.

Я родился и вырос в балтийских болотах, подле серых цинковых волн, всегда набегавших по две, и отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый голос, выющийся между ними, как мокрый волос; если вьется вообще. Облокотясь на локоть, раковина ушная в них различит не рокот, но хлопки полотна, ставень, ладоней, чайник, кипящий на керосинке, максимум — крики чаек. В этих плоских краях то и хранит от фальши сердце, что скрыться негде и видно дальше. Это только для звука пространство всегда помеха: глаз не посетует на недостаток эха.

Что касается звезд, то они всегда.  
То есть, если одна, то за ней другая.  
Только так оттуда и можно смотреть сюда;  
вечером, после восьми, мигая.  
Небо выглядит лучше без них. Хотя  
освоение космоса лучше, если  
с ними. Но именно не сходя  
с места, на голой веранде, в кресле.  
Как сказал, половину лица в тени  
пряча, пилот одного снаряда,  
жизни, видимо, нету нигде, и ни  
на одной из них не удержишь взгляда.

В городке, из которого смерть расплзлась по школьной  
карте,  
мостовая блестит, как чешуя на карпе,  
на столетнем каштане оплывают тугие свечи,  
и чугунный лев скучает по пылкой речи.  
Сквозь оконную марлю, выцветшую от стирки,  
проступают ранки гвоздики и стрелки кирхи;  
вдалеке дребезжит трамвай, как во время оно,  
но никто не сходит больше у стадиона.  
Настоящий конец войны — это на тонкой спинке  
венского стула платье одной блондинки  
да крылатый полет серебристой жужжащей пули,  
уносящей жизни на Юг в июле.

*Мюнхен*

\* \* \*

Около океана, при свете свечи; вокруг  
поле, заросшее клевером, щавелем и люцерной.  
Вечеру у тела, точно у Шивы, рук,  
дотянуться желающих до бесценной.  
Упадая в траву, сова настигает мышь,  
беспричинно поскрипывают стропила.  
В деревянном городе крепче спишь,  
потому что снится уже только то, что было.  
Пахнет свежей рыбой, к стене прилип  
профиль стула, тонкая марля вяло  
шевелится в окне; и луна поправляет лучом прилив,  
как сползающее одеяло.

Тихотворение мое, мое немое,  
однако, тяглое — на страх поводьям,  
куда пожалуемся на ярмо и  
кому поведаем, как жизнь проводим?  
Как поздно за полночь ища глазунью  
луны за шторами зажженной спичкою,  
вручную стряхиваешь пыль безумия  
с осколков желтого оскала в писчую.  
Как эту борзопись, что гуще патоки,  
там ни размазывай, но с кем в колене и  
в локте хотя преломить, опять-таки,  
ломоть отрезанный, тихотворение?

Темно-синее утро в заиндевевшей раме  
напоминает улицу с горящими фонарями,  
ледяную дорожку, перекрестки, сугробы,  
толчею в раздевалке в восточном конце Европы.  
Там звучит «ганнибал» из худого мешка на стуле,  
сильно пахнут подмышками брусня на физкультуре;  
что до черной доски, от которой мороз по коже,  
так и осталась черной. И сзади тоже.  
Дребезжащий звонок серебристый иней  
преобразил в кристалл. Насчет параллельных линий  
все оказалось правдой и в кость оделось;  
неохота вставать. Никогда не хотелось.

С точки зрения воздуха, край земли  
всюду. Что, скашивая облака,  
совпадает — чем бы ни замели  
следы — с ощущением каблука.  
Да и глаз, который глядит окрест,  
скашивает, что твой серп, поля;  
сумма мелких слагаемых при перемене мест  
неузнаваемое нуля.  
И улыбка скользнет, точно тень грача  
по щербатой изгороди, пышный куст  
шиповника сдерживая, но крича  
жимолостью, не разжимая уст.

Заморозки на почве и облысение леса,  
небо серого цвета кровельного железа.  
Выходя во двор нечетного октября,  
ежась, число округляешь до «ох ты бля».  
Ты не птица, чтоб улететь отсюда;  
потому что как в поисках милой всю-то  
ты проехал вселенную, дальше вроде  
нет страницы податься в живой природе.  
Зазимуем же тут, с черной обложкой рядом,  
проницаемой стужей снаружи, отсюда — взглядом,  
наколов на буквы пером слова,  
как сложенные в штабеля дрова.

Всегда остается возможность выйти из дому на  
улицу, чья коричневая длина  
успокоит твой взгляд подъездами, худобою  
голых деревьев, бликами луж, ходьбою.  
На пустой голове бриз шевелит ботву,  
и улица вдалеке сужается в букву «у»,  
как лицо к подбородку, и лающая собака  
вылетает из подворотни, как скомканная бумага.  
Улица. Некоторые дома  
лучше других: больше вещей в витринах,  
и хотя бы уж тем, что если сойдешь с ума,  
то, во всяком случае, не внутри них.

Итак, пригревает. В памяти, как на меже,  
прежде доброго злака маячит плевел.  
Можно сказать, что на Юге в полях уже  
высевают сорго — если бы знать, где Север.  
Земля под лапкой грача действительно горяча;  
пахнет тесом, свежей смолой. И крепко  
зажмурившись от слепящего солнечного луча,  
видишь внезапно мучнистую щеку клерка,  
беготню в коридоре, эмалированный таз,  
человека в шляпе, сводящего хмуро брови,  
и другого, со вспышкой, снимающего не нас,  
но обмякшее тело и лужу крови.

Если что-нибудь петь, то перемену ветра,  
западного на восточный, когда замерзшая ветка  
перемещается влево, поскрипывая от неохоты,  
и твой кашель летит над равниной к лесам Дакоты.  
В полдень можно вскинуть ружье и выстрелить в то,  
что в поле  
кажется зайцем, предоставляя пуле  
увеличить разрыв между сбившимися напрочь с темпа  
пишущим эти строки пером и тем, что  
оставляет следы. Иногда голова с рукою  
сливаются, не становясь строкою,  
но под собственный голос, перекатывающийся картово,  
подставляя ухо, как часть кентавра.

...и при слове «грядущее» из русского языка  
выбегают мыши и всей оравой  
отгрызают от лакомого куска  
памяти, что твой сыр, дырявой.  
После стольких зим уже безразлично, что  
или кто стоит в углу у окна за шторой,  
и в мозгу раздается не неземное «до»,  
но ее шуршание. Жизнь, которой,  
как дареной вещи, не смотрят в пасть,  
обнажает зубы при каждой встрече.  
От всего человека вам остается часть  
речи. Часть речи вообще. Часть речи.

Я не то что схожу с ума, но устал за лето.  
За рубашкой в комод полезешь, и день потеряю,  
Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это —  
города, человек, но для начала зелень.  
Стану спать не раздевшись или читать с любого  
места чужую книгу, покамест остатки года,  
как собака, сбежавшая от слепого,  
переходят в положенном месте асфальт. Свобода —  
это когда забываешь отчество у тирана,  
а слюна во рту слаще халвы Ширази,  
и хотя твой мозг перекручен, как рог барана,  
ничего не каплет из голубого глаза.

# **КОЛЫБЕЛЬНАЯ ТРЕСКОВОГО МЫСА**

*А. Б.*

**1975**

## I

Восточный конец Империи погружается в ночь. Цикады умолкают в траве газонов. Классические цитаты на фронтонах неразличимы. Шпиль с крестом безучастно чернеет, словно бутылка, забытая на столе. Из патрульной машины, лоснящейся на пустыре, звякают клавиши Рэя Чарльза.

Выползая из недр океана, краб на пустынном пляже зарывается в мокрый песок с кольцами мыльной пряжи, дабы остынуть, и засыпает. Часы на кирпичной башне лязгают ножницами. Пот катится по лицу. Фонари в конце улицы, точно пуговицы у расстегнутой на груди рубашки.

Духота. Светофор мигает, глаз превращая в средство передвижения по комнате к тумбочке с виски. Сердце замирает на время, но все-таки бьется: кровь, поблуждав по артериям, возвращается к перекрестку. Тело похоже на свернутую в рулон трехверстку, и на севере поднимают бровь.

Странно думать, что выжил, но это случилось. Пыль покрывает квадратные вещи. Проезжающий автомобиль продлеват пространство за угол, мстя Эвклиду. Темнота извиняет отсутствие лиц, голосов и проч., превращая их не столько в бежавших прочь, как в пропавших из виду.

Духота. Сильный шорох набрякших листьев, от какого еще сильнее выступает пот.

То, что кажется точкой во тьме, может быть лишь  
одним — звездой.

Птица, утратившая гнездо, яйцо  
на пустой баскетбольной площадке кладет в кольцо.  
Пахнет мятой и резедою.

## II

Как бессчетным женам гарема всесильный Шах  
изменить может только с другим гаремом,  
я сменил империю. Этот шаг  
продиктован был тем, что несло горелым  
с четырех сторон — хоть живот крести;  
с точки зренья ворон — с пяти.

Дуя в полуую дудку, что твой факир,  
я прошел сквозь строй янычар в зеленом,  
чуя яйцами холод их злых секир,  
как при входе в воду. И вот, с соленым  
вкусом этой воды во рту,  
я пересек черту

и поплыл сквозь баранину туч. Внизу  
извивались реки, пылили дороги, желтели риги.  
Супротив друг друга стояли, топча росу,  
точно длинные строчки еще не закрытой книги,  
армии, занятые игрой,  
и чернели икрой

города. А после сгустился мрак.  
Все погасло. Гудела турбина и ныло темя.  
И пространство пятилось, точно рак,  
пропуская время вперед. И время  
шло на запад, точно к себе домой,  
выпачкав платье тьмой.

Я заснул. Когда я открыл глаза,  
север был там, где у пчелки жало.  
Я увидел новые небеса  
и такую же землю. Она лежала,  
как это делает отродясь  
плоская вещь: пылясь.

### III

Одиночество учит сути вещей, ибо суть их то же одиночество. Кожа спины благодарна коже спинки кресла за чувство прохлады. Вдали рука на подлокотнике деревенеет. Дубовый лоск покрывает костяшки суставов. Мозг бьется, как льдинки о край стакана.

Духота. На ступеньках закрытой бильярдной некто вырывает из мрака свое лицо пожилого негра, чиркая спичкой. Белозубая колоннада Окружного Суда, выходящая на бульвар, в ожидании вспышки случайных фар утопает в пышной листве. И надо

всем пылают во тьме, как на празднике Валтасара, письма «Кока-Колы». В заросшем саду курзала тихо журчит фонтан. Изредка вялый бриз, не сумевши извлечь из прутьев простой рулады, шебуршит газетой в литье ограды, сооруженной, бесспорно, из

спинок старых кроватей. Духота. Опирающийся на ружье,

Неизвестный Союзный Солдат делается еще более неизвестным. Траулер трется ржавой переносицей о бетонный причал. Жужжа, вентилятор хватает горячий воздух США металлической жаброй.

Как число в уме, на песке оставляя след, океан громоздится во тьме, миллионы лет мертвой зыбью баюкая щепку. И если резко шагнуть с дебаркадера вбок, вовне, будешь долго падать, руки по швам; но не воспоследует всплеска.

### IV

Перемена империи связана с гулом слов, с выделением слюны в результате речи, с лобачевской суммой чужих углов, с возрастанием исподволь шансов встречи

параллельных линий (обычной на полюсе). И она,

перемена, связана с колкой дров, с преращением мятой сырой изнанки жизни в сухой платяной покров (в стужу — из твида, в жару — из нанки), с затвердеющим под орех мозгом. Вообще из всех

внутренностей только одни глаза сохраняют свою студенистость. Ибо перемена империи связана с взглядом за море (затем что внутри нас рыба дремлет); с фактом, что ваш пробор, как при взгляде в упор

в зеркало, влево сместился... С больной десной и с изжогой, вызванной новой пищей. С сильной матовой белизной в мыслях — суть отраженьем писчей гладкой бумаги. И здесь перо рвется поведать про

сходство, ибо у вас в руках то же перо, что и прежде. В рощах те же растения. В облаках тот же гудящий бомбардировщик, летящий неведомо что бомбить. И сильно хочется пить.

## V

В городках Новой Англии, точно вышедших из прибора, вдоль всего побережья, поблескивая рябою чешуей черепицы и дранки, уснувшими косяками стоят в темноте дома, угодивши в сеть континента, который открыли сельдь и треска. Ни треска, ни

сельдь, однако же, тут не сподобились гордых статуй, невзирая на то, что было бы проще с датой. Что касается местного флага, то он украшен тоже не ими и в темноте похож,

как сказал бы Салливен, на чертеж  
в тучи заданных башен.

Духота. Человек на веранде с обмотанным полотенцем  
горлом. Ночной мотылек всем незавидным тельцем,  
ударяясь в железную сетку, отскакивает, точно пуля,  
посланная природой из невидимого куста  
в самое себя, чтоб выбить одно из ста  
в середине июля.

Потому что часы продолжают идти непрерывно, боль  
затухает с годами. Если время играет роль  
панацеи, то в силу того, что не терпит спешки,  
ставши формой бессонницы: пробираясь пешком и  
вплывъ,  
в полушарьи орла сны содержат дурную явь  
полушария решки.

Духота. Неподвижность огромных растений, далекий  
лай.

Голова, покачнувшись, удерживает на край  
памяти сползшие номера телефонов, лица.  
В настоящих трагедиях, где занавес — часть плаща,  
умирает не гордый герой, но, по швам треща  
от износу, кулиса.

## VI

Потому что поздно сказать «прощай»  
и услышать что-либо в ответ, помимо  
эха, звучащего как «на-чай»  
времени и пространству, мнимо  
величавым и возводящим в куб  
все, что сорвется с губ,

я пишу эти строки, стремясь рукой,  
их выводящей почти вслепую,  
на секунду опередить «на кой»,  
с оных готовое губ в любую  
минуту слететь и поплыть сквозь ночь,  
увеличиваясь и проч.

Я пишу из Империи, чьи края  
опускаются под воду. Снявши пробу с

двух океанов и континентов, я  
чувствую то же, почти, что глобус.  
То есть, дальше некуда. Дальше — ряд  
звезд. И они горят.

Лучше взглянуть в телескоп туда,  
где присохла к изнанке листа улитка.  
Говоря «бесконечность», в виду всегда  
я имел искусство деления литра  
без остатка на три при свете звезд,  
а не избыток верст.

Ночь. В парвеноне хрипит «ку-ку».  
Легионы стоят, прислонясь к когортам,  
форумы — к циркам. Луна вверху,  
как пропавший мяч над безлюдным кортом.  
Голый паркет — как мечта ферзя.  
Без мебели жить нельзя.

## VII

Только затканый сплошь паутиной угол имеет право  
именоваться прямым. Только услышав «браво»,  
с полу встает актер. Только найдя опору,  
тело способно поднять вселенную на рога.  
Только то тело движется, чья нога  
перпендикулярна полу.

Духота. Толчея тараканов в амфитеатре тусклой  
цинковой раковины перед бесцветной тушей  
высохшей губки. Поворачивая корону,  
медный кран, словно цезарево чело,  
низвергает на них не щадящую ничего  
водяную колонну.

Пузырьки на стенках стакана похожи на слезы сыра.  
Несомненно, прозрачной вещи присуща сила  
тяготения вниз, как и плотной инертной массе.  
Даже девять-восемьдесят одна, журча,  
преломляет себя на манер луча  
в человеческом мясе.

Только груда белых тарелок выглядит на плите,  
как упавшая пагода в профиль. И только те

вещи чтимы пространством, чьи черты повторимы:  
розы.

Если видишь одну, видишь немедля две:  
насекомые ползают, в алой жужжа ботве,—  
пчелы, осы, стрекозы.

Духота. Даже тень на стене, уж на что слаба,  
повторяет движенье руки, утирающей пот со лба.  
Запах старого тела острее, чем его очертанья. Трезвость  
мысли снижается. Мозг в суповой кости  
тает. И некому навести  
взгляда на резкость.

### VIII

Сохрани на холодные времена  
эти слова, на времена тревоги!  
Человек выживает, как фиш на песке: она  
уползает в кусты и, встав на кривые ноги,  
уходит, как от пера — строка,  
в недра материка.

Есть крылатые львы, женогрудые сфинксы. Плюс  
ангелы в белом и нимфы моря.  
Для того, на чьи плечи ложится груз  
темноты, жары и — сказать ли — горя,  
они разбегающихся милей  
от брошенных слов нулей.

Даже то пространство, где негде сесть,  
как звезда в эфире, приходит в ветхость.  
Но покуда существует обувь, есть  
то, где можно стоять, поверхность,  
суша. И внемлют ее пески  
тихой песне трески:

«Время больше пространства. Пространство — вещь.  
Время же, в сущности, мысль о вещи.  
Жизнь — форма времени. Карп и лещ —  
сгустки его. И товар похлеще —  
сгустки. Включая волну и твердь  
суши. Включая смерть.

Иногда в том хаосе, в свалке дней,  
возникает звук, раздается слово.

То ли «любить», то ли просто «эй».  
Но пока разобрать успеваю, снова  
все сменяется рябью слепых полос,  
как от твоих волос».

## IX

Человек размышляет о собственной жизни, как ночь  
о лампе.

Мысль выходит в определенный момент за рамки  
одного из двух полушарий мозга  
и сползает, как одеяло, прочь,  
обнажая неведомо что, точно локоть; ночь,  
безусловно, громоздка,

но не столь бесконечна, чтоб точно хватить на оба.  
Понемногу африка мозга, его европа,  
азия мозга, а также другие капли  
в обитаемом море, осью скрипя сухой,  
обращаются мятой своей щекой  
к электрической цапле.

Чу, смотри: Алладин произносит «сезам» — перед ним  
золотая гряда,  
Цезарь бродит по спящему форуму, кличет Брута,  
соловей говорит о любви богдыхану в беседке; в круге  
лампы дева качает ногой колыбель; нагой  
папуас отбивает одной ногой  
на песке буги-вуги.

Духота. Так спросонья озябшим коленом пиная мрак,  
понимаешь внезапно в постели, что это — брак:  
что за тридевять с лишним земель повернулось на бок  
тело, с которым давным-давно  
только и общего есть, что дно  
океана и навык

наготы; но при этом не встать вдвоем.  
Потому что пока там светло, в твоём  
полушарьи темно. Так сказать, одного светила  
не хватает для двух заурядных тел.  
То есть глобус склеен, как Бог хотел.  
И его не хватило.

## Х

Опуская веки, я вижу край  
ткани и локоть в момент изгиба.  
Местность, где я нахожусь, есть рай,  
ибо рай — это место бессилья. Ибо  
это одна из таких планет,  
где перспективы нет.

Тронь своим пальцем конец пера,  
угол стола: ты увидишь, это  
вызовет боль. Там, где вещь остра,  
там и находится рай предмета;  
рай, достижимый при жизни лишь  
тем, что вещь не продлишь.

Местность, где я нахожусь, есть пик  
как бы горы. Дальше — воздух, Хронос.  
Сохрани эту речь; ибо рай — тупик.  
Мыс, вдающийся в море. Конус.  
Нос железного корабля.  
Но не крикнуть «Земля!».

Можно сказать лишь, который час.  
Это сказав, за движеньем стрелки  
тут остается следить. И глаз  
тонет беззвучно в лице тарелки,  
ибо часы, чтоб в раю уют  
не нарушать, не бьют.

То, чего нету, умножь на два:  
в сумме получишь идею места.  
Впрочем, поскольку они — слова,  
цифры тут значат не больше жеста,  
в воздухе тающего без следа,  
словно кусочек льда.

## ХІ

От великих вещей остаются слова языка, свобода  
в очертаньях деревьев, цепкие цифры года;  
также — тело в виду океана в бумажной шляпе.  
Как хорошее зеркало, тело стоит во тьме:  
на его лице, у него в уме  
ничего, кроме ряби.

Состоя из любви, грязных снов, страха смерти, праха,  
осезая хрупкость кости, уязвимость паха,  
тело служит в виду океана цедающей семя  
крайней плотью пространства: слезой скулу серебра,  
человек есть конец самого себя  
и вдается во Время.

Восточный конец Империи погружается в ночь —  
по горло.

Пара раковин внемлет улиткам его глагола:  
то есть, слышит свой собственный голос. Это  
развивает связки, но гасит взгляд.  
Ибо в чистом времени нет преград,  
порождающих эхо.

Духота. Только если, вздохнувши, лечь  
на спину, можно направить сухую речь  
вверх — в направлении исконно немых губерний.  
Только мысль о себе и о большой стране  
вас бросает в ночи от стены к стене,  
на манер колыбельной.

Спи спокойно поэтому. Спи. В этом смысле — спи.  
Спи как спят только те, кто сделал свое пи-пи.  
Страны путают карты, привыкнув к чужим широтам.  
И не спрашивай, если скрипнет дверь,  
«Кто там?» — и никогда не верь  
отвечающим, кто там.

## ХII

Дверь скрипит. На пороге стоит треска.  
Просит пить, естественно, ради Бога.  
Не отпустишь прохожего без куска.  
И дорогу покажешь ему. Дорога  
извивается. Рыба уходит прочь.  
Но другая, точь-в-точь

как ушедшая, пробует дверь носком.  
(Меж собой две рыбы, что два стакана.)  
И всю ночь идут они косяком.  
Но живущий около океана  
знает, как спать, приглушив в ушах  
мерный тресковый шаг.

Спи. Земля не кругла. Она  
просто длинна: бугорки, лощины.  
А длинней земли — океан: волна  
набегает порой, как на лоб морщины,  
на песок. А земли и волны длинней  
лишь вереница дней.

И ночей. А дальше — туман густой:  
рай, где есть ангелы, ад, где черти.  
Но длинней стократ вереницы той  
мысли о жизни и мысль о смерти.  
Этой последней длинней в сто раз  
мысль о Ничто; но глаз

вряд ли проникнет туда, и сам  
закрывается, чтобы увидеть вещи.  
Только так — во сне — и дано глазам  
к вещи привыкнуть. И сны те вещи  
или зловещи — смотря, кто спит.  
И дверью треска скрипит.

## ДЕКАБРЬ ВО ФЛОРЕНЦИИ

*«Этот, уходя, не оглянулся...»*

*Анна Ахматова*

### I

Двери вдыхают воздух и выдыхают пар; но ты не вернешься сюда, где, разбившись попарно, население гуляет над обмелевшим Арно, напоминая новых четвероногих. Двери хлопают, на мостовую выходят звери. Что-то вправду от леса имеется в атмосфере этого города. Это — красивый город, где в известном возрасте просто отводишь взор от человека и поднимаешь ворот.

### II

Глаз, мигая, заглатывает, погружаясь в сырые сумерки, как таблетки от памяти, фонари; и твой подъезд в двух минутах от Синьории намекает глухо, спустя века, на причину изгнания: вблизи вулкана невозможно жить, не показывая кулака; но и нельзя разжать его, умирая, потому что смерть — это всегда вторая Флоренция с архитектурой Рая.

### III

В полдень кошки заглядывают под скамейки, проверяя, черны ли тени. На Старом Мосту — теперь его починили — где бюстует на фоне синих холмов Челлини, бойко торгуют всяческой бранзулеткой; волны перебирают ветку, журча, за веткой. И золотые пряди склоняющейся за редкой вещью красавицы, роющейся меж коробок

под несатыми взглядами молодых торговок,  
кажутся следом ангела в державе черноголовых.

#### IV

Человек превращается в шорох пера по бумаге, в  
петли, клинышки букв и, потому что скользко, кольца,  
в запятые и точки. Только подумать, сколько  
раз, обнаружив «м» в заурядном слове,  
перо спотыкалось и выводило брови.  
То есть, чернила честнее крови,  
и лицо в потемках, словами наружу — благо  
так куда быстрее просыхает влага —  
смеется, как скомканная бумага.

#### V

Набережные напоминают оцепеневший поезд.  
Дома стоят на земле, видимы лишь по пояс.  
Тело в плаще, ныряя в сырую полость  
рта подворотни, по ломаным, обветшалым  
плоским зубам поднимается мелким шагом  
к воспаленному небу с его шершавым  
неизменным «16»; пугающий безголосьем,  
звонк порождает в итоге скрипучее «просим, просим»:  
в прихожей вас обступают две старые цифры «8».

#### VI

В пыльной кофейне глаз в полумраке кепки  
привыкает к нимфам плафона, к амурам, к лепке;  
ощущая нехватку в терцинах, в клетке  
дряхлый щегол выводит свои коленца.  
Солнечный луч, разбившийся о дворец, о  
купол собора, в котором лежит Лоренцо,  
проникает сквозь штору и согревает вены  
грязного мрамора, кадку с цветком вербены;  
и щегол разливается в центре проволочной Равенны.

#### VII

Выдыхая пары, вдыхая воздух, двери  
хлопают во Флоренции. Одну ли, две ли

проживаешь жизни, смотря по вере,  
вечером в первой осознаешь: неправда,  
что любовь движет звезды (Луну — подавно),  
ибо она делит все вещи на два —  
даже деньги во сне. Даже, в часы досуга,  
мысли о смерти. Если бы звезды Юга  
двигались ею, то в стороны друг от друга.

### VIII

Каменное гнездо оглашаемо громким визгом  
тормозов; мостовую пересекаешь с риском  
быть за  $\frac{K}{II}$  леванным насмерть. В декабрьском низком  
небе громада яйца, снесенного Брунеллески,  
вызывает слезу в зрачке, наторевшем в блеске  
куполов. Полицейский на перекрестке  
машет руками, как буква «ж», ни вниз, ни  
вверх; репродукторы лают о дороговизне.  
О, неизбежность «ы» в правописаньи «жизни»!

### IX

Есть города, в которые нет возврата.  
Солнце бьется в их окна, как в гладкие зеркала. То  
есть, в них не проникнешь ни за какое золото.  
Там всегда протекает река под шестью мостами.  
Там есть места, где припадал устами  
тоже к устам и пером к листам. И  
там рябит от аркад, колоннад, от чугунных пугал;  
там толпа говорит, осаждая трамвайный угол,  
на языке человека, который убыл.

1976

**НОВЫЕ СТАНСЫ  
К АВГУСТЕ**

*Стихи к М. Б.*

**1962—1982**

Я обнял эти плечи и взглянул  
на то, что оказалось за спиною,  
и увидел, что выдвинутый стул  
сливался с освещенною стеною.  
Был в лампочке повышенный накал,  
невыгодный для мебели истертой,  
и потому диван в углу сверкал  
коричневою кожей, словно желтой.  
Стол пустовал, поблескивал паркет,  
темнела печка, в раме запыленной  
застыл пейзаж, и лишь один буфет  
казался мне тогда одушевленным.  
Но мотылек по комнате кружил,  
и он мой взгляд с недвижимости сдвинул.  
И если призрак здесь когда-то жил,  
то он покинул этот дом. Покинул.

1962

## ПЕСЕНКА

«Пролитую слезу  
из будущего привезу,  
вставлю ее в колечко.  
Будешь гулять одна,  
надевай его на  
безымянный, конечно».

«Ах, у других мужа,  
перстеньки из рыжя,  
серьги из перламутра.  
А у меня — слеза,  
жидкая бирюза,  
просыхает под утро.»

«Носи перстенок, пока  
виден издалека;  
потом другой подберется.  
А надоест хранить,  
будет что уронить  
ночью на дно колодца.»

## НОЧНОЙ ПОЛЕТ

В брюхе Дугласа ночью скитался меж туч  
и на звезды глядел,  
и в кармане моем заблудившийся ключ  
все звенел не у дел,  
и по сетке скакал надо мной виноград,  
акробат от тоски;  
был далек от меня мой родной Ленинград,  
и все ближе — пески.

Бессеребряной сталью мерцало крыло,  
приближаясь к луне,  
и чучмека в папахе рвало, и текло  
это под ноги мне.  
Бился льдинкой в стакане мой мозг в забвении:  
над одною шестой  
в небо ввинчивал с грохотом нимбы свои  
двухголовый святой.

Я бежал от судьбы, из-под низких небес,  
от распластанных дней,  
из квартир, где я умер и где я воскрес  
из чужих простыней;  
от сжимавших рассудок махровым венцом  
откровений, от рук,  
припадал я к которым и выпал лицом  
из которых на Юг.

Счастье этой земли, что взаправду кругла,  
что зрачок не берет  
из угла, куда загнан, свободы угла,  
но и наоборот;  
что в кошачьем мешке у пространства хитро

прогрызаешь дыру,  
чтобы слёз европейских сушить серебро  
на азийском ветру.

Что на свете — верней, на огромной вельми,  
на одной из шести —  
что мне делать еще, как не хлопать дверьми  
да ключами трясти!  
Ибо вправду честней, чем делить наш ничей  
круглый мир на двоих,  
променять всю безрадостность дней и ночей  
на безадресность их.

Дуй же в крылья мои не за совесть и страх,  
но за совесть и стыд.  
Захлебнусь ли в песках, разобьюсь ли в горах  
или Бог пощадит —  
все едино, как сбившийся в строчку петит  
смертной памяти для:  
мегалополис туч гражданина ль почитит,  
отщепенца ль — земля.

Но услышишь, когда не найдешь меня ты  
днем при свете огня,  
как в Быково на старте грохочут винты:  
это — помнят меня  
зеркала всех радаров, прожекторов, лик  
мой хранящих внутри;  
и — внехрамовый хор — из динамика крик  
грянет медью: Смотри!  
Там летит человек! не грусти! улыбнись!  
Он тарашится вниз  
и сжимает в руке виноградную кисть,  
словно бог Дионис.

1962

В твоих часах не только ход, но тишь.  
Притом, их путь лишен подобья круга.  
Так в ходиках: не только кот, но мышь;  
они живут, должно быть, друг для друга.  
Дрожат, скребутся, путаются в днях,  
но их возня, грызня и неизбежность  
почти что незаметна в деревнях,  
где вообще в домах роится живность.  
Там каждый час стирается в уме,  
и лет былых бесплотные фигуры  
теряются — особенно к зиме,  
когда в сенах толпятся козы, овцы, куры.

1963

\* \* \*

Ты — ветер, дружок. Я — твой  
лес. Я трясусь листвою,  
изъеденною весьма  
гусеницею письма.  
Чем яростнее Борей,  
тем листья эти белей.  
И божество зимы  
просит у них взаймы.

Что ветру говорят кусты,  
листом бедны?  
Их речи, видимо, просты,  
но нам темны.  
Перекрывая лязг ведра,  
скрипящий стул —  
«Сегодня ты сильней. Вчера  
ты меньше дул».  
А ветер им — «Грядет зима!»  
«О, не губи.»  
А может быть — «Схожу с ума!»  
«Люби! люби!»  
И в сумерках колотит дрожь  
мой мезонин...

Их диалог не разберешь,  
пока один.

Черные города,  
воображенья грязь.  
Сдавленное «когда»,  
выплюнутое «вчера»,  
карканье воронка,  
камерный айболит,  
вдавливанье позвонка  
в стиранный неолит.

— Вот что нас ждет, дружок,  
до скончанья времен,  
вот в чем твой сапожок  
чавкать приговорен,  
так же, как мой штиблет,  
хоть и не нов на вид.  
Гончую этот след  
не воодушевит.

Вот оттого нога,  
возраст подметки для,  
и не спешит в бега,  
хоть велика земля.  
Так что через плечо  
виден беды рельеф,  
где белеет еще  
лампочка, перегорев.

Впрочем, итог разрух —  
с фениксом схожий смрад.  
Счастье — суть роскошь двух;  
горе — есть демократ.  
Что для слезы — впервой,

то — лебеда росе.  
Вдохновлены травой,  
мы делаемся, как все.

То-то идут домой  
вдоль большака столбы —  
в этом, дружок, прямой  
виден расчет судьбы,  
чтобы не только Бог,  
ночь сотворивший с днем,  
слиться с пейзажем мог  
и раствориться в нем.

1962—63

## ЗАГАДКА АНГЕЛУ

Мир одеял разрушен сном.  
Но в чьем-то напряженном взоре  
маячит в сумраке ночном  
окном разрезанное море.  
Висит в кустах азростат.  
Две лодки тонут в разговорах,  
что туфли в комнате блестят,  
но устрицам не дают створок.

Подушку обхватив, рука  
сползает по столбам отвесным,  
вторгаясь в эти облака  
своим косноязычным жестом.  
О камень порванный чулок,  
изогнутый впотьмах, как лебедь,  
раструбом смотрит в потолок,  
как будто почерневший невод.

Два моря с помощью стены,  
при помощи неясной мысли,  
здесь как-то так разделены,  
что сети в темноте повисли  
пустыми в этой глубине,  
но все же ожидают всплыть  
от пущенной сквозь крест в окне,  
связующей их обе, нити.

Звезда желтеет на волне,  
маячат неподвижно лодки.  
Лишь крест вращается в окне  
подобием простой лебедки.  
К поверхности из двух пустот

два невода ползут отвесно,  
надеясь: крест перенесет  
и спустит их в другое место.

Так тихо, так не слышно слов,  
что кажется окну пустому:  
надежда на большой улов  
сильней, чем неподвижность дома.  
И вот уже во тьме ночной  
окну с его сияньем лунным  
две грядки кажутся волной,  
а куст перед крыльцом — буруном.

И дом недвижим, и забор  
во тьму ныряет поплавками,  
и воткнутый в крыльцо топор  
один следит за топляками.  
Часы стрекочут. Вдалеке  
ворчаньем заглушает катер,  
как давит устрицы в песке  
ногой бесплотный наблюдатель.

Два глаза источают крик.  
Лишь веки, издавая шорох,  
во мраке защищают их  
собою наподобье створок.  
Как долго эту боль топить,  
захлестывать моторной речью,  
чтоб дать ей оспой проступить  
на теплой белизне предплечья?

Как долго? До утра? Едва ль.  
И ветер паутину гонит,  
из веток шевеля вуаль,  
где глаз аэростата тонет.  
Сеть выбрана; в кустах удад  
свистком предупреждает кражу.  
И молча замирает тот,  
кто бродит в темноте по пляжу.

1962

\* \* \*

Ветер оставил лес  
и взлетел до небес,  
оттолкнув облака  
в белизну потолка.

И, как смерть холодна,  
роща стоит одна,  
без стремленья вослед,  
без особых примет.

*Январь, 1964*

## ЛОМТИК МЕДОВОГО МЕСЯЦА

Не забывай никогда,  
как хлещет в пристань вода,  
и как воздух упруг —  
как спасательный круг.

А рядом — чайки галдят,  
и яхты в небо глядят,  
и тучи вверху летят,  
словно стая утят.

Пусть же в сердце твоём,  
как рыба, бьется живьем  
и трепещет обрывок  
нашей жизни вдвоем.

Пусть слышится устриц хруст,  
Пусть топорщится куст.  
И пусть тебе помогает  
страсть, достигшая уст,

понять — без помощи слов —  
как пена морских валов,  
достигая земли,  
рожает гребни вдали.

1963

1.

Заспорят ночью мать с отцом.  
И фразы их с глухим концом  
велят, не открывая глаз,  
застыть к стене лицом.

Рыдает мать, отец молчит.  
И козодой во тьме кричит.  
Часы над головой стучат,  
И в голове — стучит...

Их разговор бросает в дрожь  
не оттого, что слышишь ложь,  
а потому, что — их дитя —  
ты сам на них похож:

молчишь, как он (вздохнуть нельзя),  
как у нее, ползет слеза.  
«Разбудишь сына». — «Нет, он спит».  
Лежит, раскрыв глаза!

И слушать грех, и грех прервать.  
Не громче, чем скрипит кровать,  
в ночную пору то звучит,  
что нужно им и нам скрывать.

1963

#### 4. ЗИМНЯЯ СВАДЬБА

Я вышла замуж в январе.  
Толпились гости во дворе,  
и долго колокол гудел  
в той церкви на горе.

От алтаря, из-под венца,  
видна дорога в два конца.  
Я посылаю взгляд свой вдаль,  
и не вернуть гонца.

Церковный колокол гудит.  
Жених мой на меня глядит.  
И столько свеч для нас двоих!  
И я считаю их.

1961

## ПЕСНИ СЧАСТЛИВОЙ ЗИМЫ

Песни счастливой зимы  
на память себе возьми,  
чтоб вспоминать на ходу  
звуков их глухоту:  
местность, куда, как мышь,  
быстрый свой бег стремишь,  
как бы там ни звалась,  
в рифмах их улеглась.

Так что, вытянув рот,  
так ты смотришь вперед,  
как глядит в потолок,  
глаз пыля, ангелок.  
А снаружи — в провал  
снег, белей покрывал  
тех, что нас занесли,  
но зимы не спасли.

Значит, это весна.  
То-то крови тесна  
вена: только что взрежь —  
море ринется в брешь.  
Так что виден насквозь  
вход в бессмертие врозь,  
вызывающий грусть,  
но вдвойне: наизусть.

Песни счастливой зимы  
на память себе возьми.  
То, что спрятано в них,  
не отыщешь в иных.

Здесь, от снега чисты,  
воздух секут кусты,  
где дрожит средь ветвей  
радость жизни твоей.

1963

Ты выпорхнешь, малиновка, из трех  
малинников, припомнивши в неволе,  
как в сумерках вторгается в горох  
ворсистое люпиновое поле.  
Сквозь сомкнутые вербные усы  
— туда, где, замирая на мгновенье,  
бесчисленные капельки росы  
сбегают по стручкам от столкновенья.

Малинник встрепенется, но в залог  
оставлена догадка, что, возможно,  
охотник, расставляющий силок,  
валежником хрустит неосторожно.  
На деле же — лишь ленточка тропы  
во мраке извивается, белея.  
Не слышно ни журчанья, ни стрельбы,  
ни видно ни Стрельца, ни Водолея.

Лишь ночь под перевернутым крылом  
бежит по опрокинувшемуся кущам,  
— настойчива, как память о былом,  
безмолвном, но по-прежнему живущем.

24.5.1964

## ПЕСНЯ

Пришел сон из семи сел.  
Пришла лень из семи деревень.  
Собирались лечь, да простыла печь.  
Окна смотрят на север.  
Сторожит у ручья скирда ничья,  
и большак развезло, хоть бери весло.  
Уронил подсолнух башку на стебель.

То ли дождь идет, то ли дева ждет.  
Запрягай коней да поедем к ней.  
Невеликий труд бросить камень в пруд.  
Подопьем, на шелку постелим.  
Отчего молчишь и как сыч глядишь?  
Иль зубчат забор, как еловый бор,  
за которым стоит терем?

Запрягай коня да вези меня.  
Там не терем стоит, а сосновый скит.  
И цветет вокруг монастырский луг.  
Ни амбаров, ни изб, ни гумен.  
Не раздумал пока, запрягай гнедка.  
Всем хорош монастырь, да с лица — пустырь,  
и отец игумен, как есть, безумен.

1964

Как тюремный засов  
разрешается звоном от бремени,  
от калмыцких усов  
над улыбкой прошедшего времени,  
так в ночной темноте,  
обнажая надежды беззубие,  
по версте, по версте  
отступает любовь от безумия.

И разинутый рот  
до ушей раздвигая беспамятством,  
как садок для щедрот  
временным и пространственным пьяницам,  
что в горящем доме  
ухитряясь дрожать над заплатами  
и уставясь во тьму,  
заедают версту циферблатами,—  
боль разлуки с тобой  
вытесняет действительность равную  
не печальной судьбой,  
а простой Архимедовой правдою.

Через гордый язык,  
хоронясь от законности с тщанием,  
от сердечных музык  
пробираются память с молчанием  
в мой последний пенат  
— то ль слезинка, то ль весточка вербная —  
и тебе не понять,  
да и мне не расслышать, наверное:  
то ли вправду звенит тишина,  
как на Стиксе уключина,

то ли песня навзрыд сложена  
и посмертно заучена.

1964

Деревья в моем окне, в деревянном окне,  
деревню после дождя вдвойне  
окружают посредством луж  
караулом усиленным мертвых душ.

Нет под ними земли, но — листва в небесах,  
и свое отраженье в твоих глазах,  
приготовившись мысленно к дележу,  
я, как новый Чичиков, нахожу.

Мой перевернутый лес, воздавая вполне  
должное мне, вовне шарит рукой на дне.

Лодка, плывущая посуху, подскакивает на волне.  
В деревянном окне деревьев больше вдвойне.

1964

Шум ливня воскрешает по углам  
салют мимозы, гаснущей в пыли.  
И вечер делит сутки пополам,  
как ножницы восьмерку на нули —  
и в талии сужает циферблат,  
с гитарой его сходство озарив.  
У задержавшей на гитаре взгляд  
пучок волос напоминает гриф.

Ее ладонь разглаживает шаль.  
Волос ее коснуться или плеч —  
и зазвучит окрепшая печаль;  
другого ничего мне не извлечь.  
Мы здесь одни. И, кроме наших глаз,  
прикованных друг к другу в полутьме,  
ничто уже не связывает нас  
в зарешеченной наискось тюрьме.

1963

## РАЗВИВАЯ КРЫЛОВА

Одна ворона (их была гурьба,  
но вечер их в ольшанник перепрятал)  
облюбовала маковку столба,  
другая — белоснежный изолятор.  
Друг другу, так сказать, насупротив  
(как требуют инструкций незабудки),  
контроль над телеграфом учредив  
в глуши, не помышляющей о бунте,  
они расположились над крыльцом,  
возвысаясь над околицей белесой,  
над сосланным в изгнание певцом,  
над спутницей его длинноволосой.

А те, в обнимку, думая свое,  
прижавшись, чтобы каждый обогрелся,  
стоят внизу. Она — на острие,  
а он — на изолятор загляделся.  
Одно обоим чудится во мгле,  
хоть (позабыв про сажу и про копоть)  
она — все об уколе, об игле,  
а он — об изоляции, должно быть;  
Какой-то непонятный перебор,  
какое-то подобие аврала:  
ведь если изолирует фосфор,  
зачем его ворона оседлала.

И все, что будет, зная назубок  
(прославивший знатоком былого тонким),  
он высвободил локоть, и хлопок  
ударил по вороньим перепонкам.  
Та, первая, замешкавшись, глаза  
зажмурила и крылья распростерла.

Другая же — взвилась под небеса  
и каркнула во все воронье горло,  
приказывая издали и впредь  
фарфоровому шарiku (над нами)  
помалкивать и взапуски белеть  
с забредшими в болота валунами.

*17.5.1964*

## ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ты знаешь, с наступленьем темноты  
пытаюсь я прикидывать на глаз,  
отсчитывая горе от версты,  
пространство, разделяющее нас.

И цифры как-то сходятся в слова,  
откуда приближаются к тебе  
смятенье, исходящее от А,  
надежда, исходящая от Б.

Два путника, зажав по фонарю,  
одновременно движутся во тьме,  
разлуку умножая на зарю,  
рассчитывая встретиться в уме.

1964

## ЗИМНЯЯ ПОЧТА

### I

Я, кажется, пою одной тебе.  
Скорее тут нужда, чем скопидомство.  
Хотя сейчас и ты к моей судьбе  
не меньше глуховата, чем потомство.  
Тебя здесь нет: сострив из-под полы,  
не вызвать даже в стульях интереса  
и мудрено дожидаться похвалы  
от спящего заснеженного леса.

### II

Вот оттого мой голос глуховат,  
лишенный драгоценного залога,  
что я не ужогу (не виноват)  
совсем в специалисты монолога.  
И все ж он громче шелеста страниц,  
хотя бы и стремительней старея.  
Но, прежде зимовавший у синиц,  
теперь он занимает у Боря.

### III

Но есть ли это взлет? Не обессудь  
за то, что в этой подлинной пустыне,  
по плоскости прокладывая путь,  
я пользуюсь альтиметром гордыни.  
Но впрямь, не различая впереди  
конца и обнаруживши в бокале  
лишь зеркальце свое, того гляди  
отыщешь горизонт по вертикали.

#### IV

Вот так, как медоносная пчела,  
жужжащая меж сосен безутешно,  
о если бы ирония могла  
со временем соперничать успешно,  
чего бы я ни дал календарю,  
чтоб он не осыпался сиротливо,  
приклеивая даже к январю  
опавшие листочки кропотливо.

#### V

Но мастер полиграфии во мне,  
особенно бушующей зимою,  
хоронится по собственной вине  
под снежной, скрупулезной бахромою.  
И бедная ирония в азарт  
впадает, перемешиваясь с риском.  
И выступает глуховатый бард  
и борется с почтовым василиском.

#### VI

Прости. Я запускаю петуха.  
Но это кукареку в стратосфере,  
подалеке от публичного греха,  
не вынудит меня, по крайней мере,  
остановиться с каменным лицом,  
как Ахиллес, заполучивший в пятку  
стрелу хулы с тупым ее концом,  
и пользоваться себя сырым яйцом,  
чтобы сорвать аплодисменты всмятку.

#### VII

Так ходики, оставив в стороне  
от жизни два кошачьих изумруда,  
молчат. Но если память обо мне  
отчасти убедительнее чуда,  
прости того, кто, будучи ленив  
в пророчествах, воспользовался штампом,  
хотя бы эдак век свой удлинив  
пульсирующим, тикающим ямбом.

## VIII

Снег, сталкиваясь с крышей, вопреки  
природе, принимает форму крыши.  
Но рифма, что на краешке строки,  
взбирается к предшественнице выше.  
И голос мой, на тысячной версте  
столкнувшийся с твоим непостоянством,  
весьма приобретает в глухоте  
по форме, совпадающей с пространством.

## IX

Здесь, в северной деревне, где дышу  
тобой, где увеличивает плечи  
мне тень, я возбуждение гашу,  
но прежде парафиновые свечи,  
чтоб не был тенью сон обременен,  
гашу, предоставляя им в горячке  
белеть во тьме, как новый Парфенон  
в периоды бессонницы и спячки.

1964

## ПСКОВСКИЙ РЕЕСТР

Не спутать бы азарт  
и страсть (не дай нам  
Господь). Припомни март,  
семейство Найман.  
Припомни Псков, гусей  
и, вполнакала,  
фонарики, музей,  
«Мытье» Шагала.

Уколы на бегу  
(не шпилькой — пикой!);  
сто маковок в снегу;  
на льду Великой  
катанье, говоря  
по правде, сдуру,  
сугробы, снегирия,  
температуру.

Еще — объятий плен,  
от жара смелый,  
и вязаный твой шлем  
из шерсти белой.  
И черного коня,  
и взгляд, печалью  
сокрытый — от меня —  
как плечи — шалью.

Кусты и пустыри,  
деревья, кроны,  
холмы, монастыри,  
кресты, вороны.  
И фрески те (в пыли),

где, молвить строго,  
от Бога, от земли  
равно немного.

Мгновенье — и прерву,  
еще лишь горстка:  
припомни синеву  
снегов Изборска,  
где разум мой парил,  
как некий облак,  
и времени дарил  
мой ФЭД наш облик.

О синева бойниц  
(глазниц)! Домашний  
барраж крикливых птиц  
над каждой башней,  
и дальше (оборви!)  
простор с разбега.  
И колыбель любви  
— белее снега!

Припоминай и впредь  
(хотя в разлуке  
уже не разглядеть:  
а кто там — в люльке)  
те кручи и поля,  
такси в равнине,  
бифштексы, шницеля —  
долги поныне.

Сумей же по полям,  
по стрелкам, верстам  
по занятым рублям  
(почти по звездам!),  
по формам без души  
со всем искусством  
Колумба (о спешь!)  
вернуться к чувствам.

Ведь в том и суть примет  
(хотя бы в призме  
разлук): любой предмет  
— свидетель жизни.

Пространство и года  
(мгновений груди),  
ответы на «когда»,  
«куда», «откуда».

Впустив тебя в музей  
(зеркальных зальцев),  
пусть отпечаток сей  
и вправду пальцев,  
чуть отрезвит тебя —  
придет на помощь  
отдавшей вдруг себя  
на миг, на полночь,

сомнениям во власть  
и укоризне,—  
когда печется страсть  
о долгой жизни  
на некой высоте,  
как звук в концерте,  
забыв о долготе,  
— о сроках смерти!

И нежности приют,  
и грусти вестник,  
нарушивший уют  
любви ровесник —  
с пушинкой над губой  
стихотворенье —  
пусть радует собой  
хотя бы зренье.

1965

## ГВОЗДИКА

В один из дней, в один из этих дней,  
тем более заметных, что сильнее  
дождь барабанит в стекла и почти  
звонит в звонок, чтоб в комнату войти,  
(где стол признает своего в чужом,  
а чайные стаканы — старшим);  
то ниже он, то выше этажом  
по лестничным топочет маршам  
и снова растекается в стекле;  
и Альпы громоздятся на столе,  
и, как орел, парит в ущельях муха; —  
то в холоде, а то в тепле  
ты все шатаешься, как тень, и глухо  
под нос мурлычешь песни, как всегда,  
и чай остыл; холодная вода  
под вечер выгонит тебя из комнат  
на кухню, где скрипящий стул  
и газовой горелки гул  
твой слух заполнят,  
заглушат все чужие голоса,  
а сам огонь, светясь голубовато,  
поглотит, ослепив твои глаза,  
не оставляя пепла — чудеса! —  
сучки календаря и циферблата.  
Но, чайник сняв, ты смотришь в потолок,  
любуйся трещинок системой,  
не выключая черный стебелек  
с гудящей и горящей хризантемой.

Дни бегут надо мной,  
словно тучи над лесом,  
у него за спиной  
сбившись стадом белесым.  
И, застыв над ручьем,  
без мычанья и звона,  
налегают плечом  
на ограду загона.

Горизонт на бугре  
не проронит о бегстве ни слова.  
И порой на заре  
ни клочка от былого.  
Предъявив свой транзит,  
только вечер вчерашний  
торопливо скользит  
над скворешней, над пашней.

1964

Тебе, когда мой голос отзвучит  
настолько, что ни отклика, ни эха,  
а в памяти — улыбку заключит  
затянутая воздухом прореха,  
и жизнь моя за скобки век, бровей  
навек отодвинется, пространство  
зрачку расчистив так, что он, ей-ей,  
уже простит (не верность, а упрямство),  
— случайный, сонный взгляд на циферблат  
напомнит нечто, тикавшее в лад  
невесть чему, сбивавшее тебя  
с привычных мыслей, с хитрости, с печали,  
куда-то торопясь и торопя  
настолько, что порой ночами  
хотелось вдруг его остановить  
и тут же — переполненное кровью,  
спешившее, по-твоему, любить,  
сравнить — его любовь с твоей любовью.

И выдаст вдруг тогда дрожанье век,  
что было не с чем сверить этот бег,—  
как твой брегет — а вдруг и он не прочь  
спешить? И вот он в полночьбрякнет...  
Но темнота тебе в окошко звякнет  
и подтвердит, что это вправду — ночь.

29 октября 1964 г.

Твой локон не свивается в кольцо,  
(и пальца для него не подобрать)  
в стремлении очерчивать лицо,  
как ранее очерчивала прядь,  
в надежде, что нарвался на растяп,  
чьим помыслам стараясь угодить,  
хрусталик на уменьшенный масштаб  
вниманья не успеет обратить.

Со всей неумолимостью тоски,  
(с действительностью грустной на ножах),  
подобье подбородка и виски  
большим и указательным зажав,  
я быстро погружаюсь в глубину  
(особенно — устами), как фрегат,  
идуший неожиданно ко дну  
в наперстке, чтоб не плавать наугад.

По горло или все-таки по грудь,  
хрусталик погружается во тьму.  
Но дальше переносицы нырнуть  
еще не удавалось никому.  
Какой бы ни почувствовал рывок  
надежды, но — подальше от беды! —  
всегда серо-зеленый поплавок  
выскакивает к небу из воды.

Ведь каждый, кто в изгнании тосковал,  
рад муку чем придется утолить  
и первый подвернувшийся овал  
любимыми чертами заселить.  
И то уже удваивает пыл,

что в локонах покинутых слились  
то место, где их Бог остановил,  
с тем краешком, где ножницы прошлись.

Ирония на почве естества,  
надежда в ироническом ключе,  
колеблема разлукой, как листва,  
как бабочка (не так ли?) на плече:  
живое или мертвое оно,  
— хоть собственными пальцами творим  
связующее легкое звено  
меж образом и призраком твоим?

1964

## РУМЯНЦЕВОЙ ПОБЕДАМ

Прядет кудель под потолком  
дымок ночлежный.  
Я вспоминаю под хмельком  
Ваш образ нежный,  
как вы бродили меж ветвей,  
стройней пастушек,  
вдвоем с возлюбленной моей  
на фоне пушек.

Под жерла гаубиц морских,  
под Ваши взгляды  
мои волнения и стих  
попасть бы рады.  
И дел-то всех: коня да плеть  
и ногу в стремя!  
Там, первым, версты одолеть,  
последним — время.

Сойдемся на берегах Невы,  
а нет — Сухоны.  
С улыбкою воззритесь Вы  
на мисс с иконы.  
Вообразив Вас за сестру  
(по крайней мере),  
целуя Вас, не разберу,  
где — Вы, где — Мэри.

Но Ваш арапский конь как раз  
в полях известных.  
И я — достаточно увяз  
в болотах местных.  
Хотя б за то, что говорю

(Господь с словами!),  
всем сердцем Вас благодарю  
— спасенным Вами.

Прозрачный перекинув мост  
(упрусь в колонну!),  
пяток пятиконечных звезд  
по небосклону  
плетется ночью через Русь  
— пусть к Вашим милым  
устам переберется грусть  
по сим светилам.

На четверть — сумеречный хлад,  
на треть — упрямство,  
наполовину — циферблат  
и весь — пространство,  
клянусь воздать Вам без затей  
(в размерах власти  
над сердцем) разностью частей —  
и суммой страсти!

Простите ж, если что не так  
(без сцен, стенаний).  
Благословил меня коньяк  
на риск признаний.  
Вы все претензии — к нему.  
Нехватка хлеба,  
и я зажевываю тьму.  
Храни Вас небо.

\* \* \*

Осенью из гнезда  
уводит на юг звезда  
певчих птиц поезда.

С позабытым яйцом  
висит гнездо над крыльцом  
с искаженным лицом.

И как мстительный дух,  
в котором весь гнев потух,  
на заборе петух

кричит, пока не охрип.  
И дом, издавая скрип,  
стоит, как поганный гриб.

1964

## НОВЫЕ СТАНСЫ К АВГУСТЕ

### I

Во вторник начался сентябрь.  
Дождь лил всю ночь.  
Все птицы улетели прочь.  
Лишь я так одинок и храбр,  
что даже не смотрел им вслед.  
Холодный небосвод разрушен.  
Дождь стягивает просвет.  
Мне юг не нужен.

### II

Тут, захороненный живьем,  
я в сумерках брожу жнивьем.  
Сапог мой разрывает поле  
(бушует надо мной четверг),  
но срезанные стебли лезут вверх,  
почти не ощущая боли.  
А прутья верб,  
вонзая розоватый мыс  
в болото, где снята охрана,  
бормочут, опрокидывая вниз  
гнездо жулана.

### III

Стучи и хлюпай, пузырись, шурши.  
Я шаг свой не убыстрою.  
Известную тебе лишь искру  
гаси, туши.  
Замерзшую ладонь прижав к бедру,  
бреду я от бугра к бугру,  
без памяти, с одним каким-то звуком,  
подошвой по камням стучу.

Склоняясь к темному ручью,  
гляжу с испугом.

#### IV

Что ж, пусть легла бессмысленности тень  
в моих глазах, и пусть впиталась сырость  
мне в бороду, и кепка — набекрень —  
венчая этот сумрак, отразилась,  
как та черта, которую душе  
не перейти —  
я не стремлюсь уже  
за козырек, за пуговку, за ворот,  
за свой сапог, за свой рукав.  
Лишь сердце вдруг забьется, отыскав,  
что где-то я пропорот. Холод  
трясет его, мне в грудь попав.

#### V

Бормочет предо мной вода,  
и тянется мороз в прореху рта.  
Иначе и не вымолвить: чем может  
быть не лицо, а место, где обрыв  
произошел?  
И смех мой крив  
и сумрачную гать тревожит.  
И крошит темноту дождя порыв.  
И образ мой второй, как человек,  
бежит от красноватых век,  
подскакивает на волне  
под соснами, потом под ивняками,  
мешается с другими двойниками,  
как никогда не затеряться мне.

#### VI

Стучи и хлюпай. Жуй подгнивший мост.  
Пусть хляби, окружив погост,  
высасывают краску крестовины.  
Но даже этак кончикам травы  
болоту не прибавить синевы...  
Топчи овины,  
бушуй среди густой еще листвы.

Вторгайся по корням в глубины  
и там, в земле, как здесь, в моей груди  
всех призраков и мертвецов буди.  
И пусть они бегут, срезая угол,  
по жниву к опустевшим деревням  
и машут налетевшим дням,  
как шляпы пугал.

## VII

Здесь на холмах, среди пустых небес,  
среди дорог, ведущих только в лес,  
жизнь отступает от самой себя  
и смотрит с изумлением на формы,  
шумящие вокруг. И корни  
вцепляются в сапог, сопя,  
и гаснут все огни в селе.  
И вот бреду я по ничьей земле  
и у Небытия прошу аренду.  
И ветер рвет из рук моих тепло,  
и плещет надо мной водой душло,  
и скручивает грязь тропинки ленту.

## VIII

Да здесь как будто вправду нет меня.  
Я где-то в стороне, за бортом.  
Топорщится и лезет вверх стерня,  
как волосы на теле мертвом,  
и над гнездом, в траве простертом,  
вскипает муравьев возня.  
Природа расправляется с былым,  
как водится. Но лик ее при этом,  
пусть залитый закатным светом,  
невольно делается злым.  
И всею пятернею чувств — пятью  
отталкиваюсь я от леса:  
нет, Господи! в глазах завеса,  
и я не превращусь в судью.  
А если — на беду свою —  
я все-таки с собой не слажу,  
ты, Боже, отруби ладонь мою,  
как финн за кражу.

## IX

Друг Полидевк! Тут все слилось в пятно.  
Из уст моих не вырвется стенанье.  
Вот я стою в распахнутом пальто,  
и мир течет в глаза сквозь решето,  
сквозь решето непониманья.  
Я глуховат. Я, Боже, слеповат.  
Не слышу слов, и ровно в двадцать ватт  
горит луна. Пусть так. По небесам  
я курс не проложу меж звезд и капель.  
Пусть эхо тут разносит по лесам  
не песнь, а кашель.

## X

Сентябрь. Ночь. Все общество — свеча.  
Но тень еще глядит из-за плеча  
в мои листы и роется в корнях  
оборванных. И призрак твой в сенях  
шуршит и булькает водою,  
и улыбается звездой  
в распахнутых рывком дверях.

## XI

Темнеет надо мною свет.  
Вода затягивает след.  
Да, сердце рвется все сильнее к тебе,  
и оттого оно — все дальше.  
И в голосе моем все больше фальши.  
Но ты ее сочти за долг судьбе,  
за долг судьбе, не требующей крови  
и ранящей иглой тупой.  
А если ты улыбку ждешь — постой!  
Я улыбнусь. Улыбка над собой  
могильной долговечней кровли  
и легче дыма над печной трубой.

## XII

Эвтерпа, ты? Куда зашел я, а?  
И что здесь подо мной: вода, трава,  
отросток лиры вересковой,

изогнутый такой подковой,  
что счастье чудится,—  
такой, что, может быть,  
как перейти на иноходь с галопа  
так быстро и дыхание не сбить,  
не ведаешь ни ты, ни Каллиопа.

1964

Мы будем жить с тобой на берегу,  
отгородившись высоченной дамбой  
от континента, в небольшом кругу,  
сооруженном самодельной лампой.  
Мы будем в карты воевать с тобой  
и слушать, как безумствует прибой,  
покашливать, вздыхая неприметно,  
при слишком сильных дуновеньях ветра.

Я буду стар, а ты — ты молода.  
Но выйдет так, как учат пионеры,  
что счет пойдет на дни — не на года, —  
оставшиеся нам до новой эры.  
В Голландии своей, наоборот,  
мы разведем с тобою огород  
и будем устриц жарить за порогом,  
и солнечным питаться осьминогом.

Пускай шумит над огурцами дождь,  
мы загорим с тобой по-эскимосски,  
и с нежностью ты пальцем проведешь  
по девственной, нетронутой полоске.  
Я на ключицу в зеркало взгляну  
и обнаружу за спиной волну  
и старый «гейгер» в оловянной рамке  
на выцветшей и пропотевшей лямке.

Придет зима, безжалостно крутя  
осоку нашей кровли деревянной.  
И если мы произведем дитя,  
то назовем Андреем или Анной,  
чтоб, к сморщенному личику привит,

не позабыт был русский алфавит,  
чей первый звук от выдоха продлится  
и, стало быть, в грядущем утвердится.

Мы будем в карты воевать, и вот  
нас вместе с козырями отнесет  
от берега извилистость отлива.  
И наш ребенок будет молчаливо  
смотреть, не понимая ничего,  
как мотылек колотится о лампу,  
когда настанет время для него  
обратно перебраться через дамбу.

1965

О, как мне мил кольцеобразный дым!  
Отсутствие заботы, власти.  
Какое поощренье грусти.  
Я полюбил свой деревянный дом.

Закат ласкает табуретку, печь,  
зажавшие окурок пальцы.  
И синий дым нанизывает кольца  
на яркий безымянный луч.

За что нас любят? За богатство, за  
глаза и за избыток мощи.  
А я люблю безжизненные вещи  
за кружевные очертанья их.

Одушевленный мир не мой кумир.  
Недвижимость — она ничем не хуже.  
Особенно, когда она похожа  
на движимость.

Не правда ли, Амур,  
когда табачный дым вступает в брак,  
барак приобретает сходство с храмом.

Но не понять невесте в платье скромном,  
куда стремится будущий супруг.

1965

I

В коляску — если только тень  
действительно способна сесть в коляску  
(особенно в такой дождливый день),  
и если призрак переносит тряску,  
и если лошадь упряжи не рвет —  
в коляску, под зонтом, без верха,  
мы молча взгромоздимся и вперед  
покатим по кварталам Кенигсберга.

II

Дождь щиплет камни, листья, край волны.  
Дразня язык, бормочет речка смутно,  
чья рыбки, навсегда оглушены,  
с перил моста взирают вниз, как будто  
заброшены сюда взрывной волной  
(хоть сам прилив не оставлял отметки).  
Блестит кольчугой голавель стальной.  
Деревья что-то шепчут по-немецки.

III

Вручи вознице свой сверхзоркий Цейсс.  
Пускай он вбок свернет с трамвайных рельс.  
Ужель и он не слышит сзади звона?  
Трамвай бежит в свой миллионный рейс.  
Трезвонит громко и, в момент обгона,  
перекрывает звонкий стук подков.  
И, наклонясь — как в зеркало — с холмов  
развалины глядят в окно вагона.

---

\* Старому архитектору в Риме (нем.).

#### IV

Трепещут робко лепестки травы.  
Аканты, нимбы, голубки, голубки,  
атланты, нимфы, купидоны, львы  
смущенно прячут за спиной обрубки.  
Не пожелал бы сам Нарцисс иной  
зеркальной глади за бегущей рамой,  
где пассажиры собрались стеной,  
рискнувши стать на время амальгамой.

#### V

Час ранний. Сумрак. Тянет пар с реки.  
Вкруг урны пляшут на ветру окурки.  
И юный археолог черепки  
ссыпает в капюшон пятнистой куртки.  
Дождь моросит. Не разжимая уст,  
среди равнин, припорошенных щебнем,  
среди больших руин на скромный бюст  
Суворова ты смотришь со смущеньем.

#### VI

Пир... пир бомбардировщиков утих.  
С порталов март смывает хлопья сажки.  
То тут, то там торчат хвосты шутих.  
Стоят, навек окаменев, плюмажи.  
И если здесь поковырять — по мне,  
разбитый дом, как сеновал в иголках,—  
то можно счастье отыскать вполне  
под четвертичной пеленой осколков.

#### VII

Клен выпускает первый клейкий лист.  
В соборе слышен пилорамы свист.  
И кашляют грачи в пустынном парке.  
Скамейки мокнут. И во все глаза  
из-за ограды смотрит вдаль коза,  
где зелень распустилась на фольварке.

## VIII

Весна глядит сквозь окна на себя.  
И узнает себя, конечно, сразу.  
И зрсьем наделяет тут судьба  
все то, что недоступно глазу.  
И жизнь бушует с двух сторон стены,  
лишенная лица и черт гранита.  
Глядит вперед, поскольку нет спины...  
Хотя теней — в кустах битком набито.

## IX

Но если ты не призрак, если ты  
живая плоть, возьми урок с природы.  
И, срисовав такой пейзаж в листы,  
своей душе ищи другой структуры!  
Отбрось кирпич, отбрось цемент, гранит,  
разбитый в прах — и кем? — винтом крылатым,  
на первый раз придав ей тот же вид,  
каким сейчас ты помнишь школьный атом.

## X

И пусть теперь меж чувств твоих провал  
начнет зиять. И пусть за грустью томной  
бушует страх и, скажем, злобный вал.  
Спасти сердца и стены в век атомный,  
когда скала — и та дрожит, как жердь,  
возможно нам, скрепив их той же силой  
и связью той, какой грозит им смерть;  
чтоб вздрогнул я, расслышав слово: «милый».

## XI

Сравни с собой или примерь на глаз  
любовь и страсть и — через боль — истому.  
Так астронавт, пока летит на Марс,  
захочет ближе оказаться к дому.  
Но ласка та, что далека от рук,  
стреляет в мозг, когда от верст опешишь,  
проворней уст: ведь небосвод разлук  
несокрушимей потолков убежищ!

## ХII

Чик, чик, чирик. Чик-чик.— Посмотришь вверх.  
И в силу грусти, а верней — привычки,  
увидишь в тонких прутьях Кенигсберг.  
А почему б не называться птичке  
Кавказом, Римом, Кенигсбергом, а?  
Когда вокруг — лишь кирпичи и щебень,  
предметов нет, а только есть слова.  
Но нету уст. И раздается щебет.

## ХIII

И ты простишь нескладность слов моих.  
Сейчас от них — один скворец в ущербе.  
Но он нагонит: чик, *Ich liebe dich* \*  
И, может быть, опередит: *Ich sterbe* \*\*.  
Блокнот и Цейсс в большую сумку спрячь.  
Сухой спиной поворотись к флюгарке  
и зонт сложи, как будто крылья — грач.  
И только ручка выдаст хвост пулярки.

## ХIV

Постромки в ключья... Лошадь где?.. Подков  
не слышен стук... Петляя там, в руинах,  
коляска катит меж пустых холмов...  
Съезжает с них куда-то вниз... Две длинных  
шлей за ней... И вот — в песке следы  
больших колес... Шуршат кусты в засаде...  
И море, гребни чьи несут черты  
того пейзажа, что остался сзади,  
бежит навстречу и, как будто весть,  
благую весть — сюда, к земной границе, —  
влечет валы. И это сходство здесь  
уничтожает в них, лаская спицы.

1964

---

\* Я люблю тебя (нем.).

\*\* Я умираю (нем.).

## ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ

То, куда вытянут нос и рот,  
прочий куда обращен фасад,  
то, вероятно, и есть «вперед»;  
все остальное считай «назад».  
Но так как нос корабля на Норд,  
а взор пассажир устремил на Вест  
(иными словами, глядит за борт),  
сложность растет с переменой мест.  
И так как часто плывут корабли,  
на всех парусах по волнам спеша,  
физики вектор изобрели.  
Нечто бесплотное, как душа.

Левиафаны лупят хвостом  
по волнам от радости кверху дном,  
когда указывает на них перстом  
вектор призрачным гарпуном.  
Сирены не прячут прекрасных лиц  
и громко со скал поют в унисон,  
когда весельчак-капитан Улисс  
чистит на палубе смит-вессон.  
С другой стороны, пусть поймет народ,  
ищущий грань меж Добром и Злом:  
в какой-то мере бредет вперед  
тот, кто с виду кружит в былом.  
А тот, кто — по Цельсию — спит в тепле,  
под балдахинном, и в полный рост,  
с цезием в пятке (верней, в сопле)  
пинает носком покрывало звезд.  
А тот певец, что напрасно лил  
на волны звуки, квасцы и иод,

спеша за метафорой в древний мир,  
должно быть, о чем-то другом поет.

Двуликий Янус, твое лицо —  
к жизни одно и к смерти одно —  
мир превращают почти в кольцо,  
даже если пойти на дно.  
А если поплыть под прямым углом,  
то, в Швецию словно, упруешься в страсть.  
А если кружить меж Добром и Злом,  
Левиафан разевает пасть.  
И я, как витязь, который горд  
коня сохранить, а живот сложить,  
честно поплыл и держал Норд-Норд.  
Куда — предстоит вам самим решить.  
Прошу лишь учесть, что хоть рвется дух  
вверх, паруса не заменят крыл;  
хоть сходство в стремлениях этих двух  
еще до Ньютона Шекспир открыл.

Я честно плыл, но попался риф,  
и он насквозь пропорол мне бок.  
Я пальцы смочил, но Финский залив  
вдруг оказался весьма глубок.  
Ладонь козырьком и грусть затая,  
обозревал я морской пейзаж.  
Но, несмотря на бинокли, я  
не смог разглядеть пионерский пляж.  
Снег повалил тут, и я застрял,  
задрав к небосводу свой левый борт,  
как некогда сам «Генерал-Адмирал  
Апраксин». Но чем-то иным затерт.

Айсберги тихо плывут на Юг.  
Гюйс шелестит на ветру.  
Мыши беззвучно бегут на ют,  
и, булькая, море бежит в дыру.  
Сердце стучит, и летит снежок,  
скрывая от глаз «воронье гнездо»,  
забив до весны почтовый рожок;  
и вместо «ля» раздается «до».

Тает корма, но сугробы растут.  
Люстры льда надо мной висят.

Обзор велик, и градусов тут  
больше, чем триста и шестьдесят.  
Звезды горят, и сверкает лед.  
Тихо звенит мой челн.  
Ундина под бушпритом слезы льет  
из глаз, насчитавших миллиарды волн.

На азбуке Морзе своих зубов  
я к вам взываю, профессор Попов,  
и к вам, господин Маркони, в КОМ,  
я свой привет пошлю с голубком.  
Как пиво, пространство бежит по усам,  
Пускай дирижабли и Линдберг сам  
не покидают большой ангар.  
Хватит и крыльев, поющих: «карр».  
Я счет потерял облакам и дням.  
Хрусталик не верит теперь огням.  
И разум шепчет, как верный страж,  
когда я вижу огонь: мираж.  
Прощай, Эдисон, повредивший ночь.  
Прощай, Фарадей, Архимед и проч.  
Я тьму вытесняю посредством свеч,  
как море — трехмачтовик, давший течь.  
(И может, сегодня в последний раз  
мы, конюх, сражаемся в преферанс,  
и пулю чертишь пером ты вновь,  
которым я некогда пел любовь.)

Пропорот бок, и залив глубок.  
Никто не виновен: наш лоцман — Бог.  
И только Ему мы должны внимать.  
А воля к спасенью — смиренья мать.  
И вот я грустный вчиняю иск  
тебе, преподобный отец Франциск:  
узрев пробоину, как автомат,  
я тотчас решил, что сие — стигмат.

Но, можно сказать, начался прилив,  
и тут раскрылся простой секрет:  
то, что годится в краю олив,  
на севере дальнем приносит вред.  
И, право, не нужен сверхзоркий Цейсс.  
Я вижу, что я проиграл процесс  
гораздо стремительней, чем иной

язычник, желающий спать с женой.  
Вода, как я вижу, уже по грудь,  
и я отплываю в последний путь.  
И, так как не станет никто провозжать,  
хотелось бы несколько рук пожать.

Доктор Фрейд, покидаю Вас,  
сумевшего (где-то вне нас) на глаз  
над речкой души перекинуть мост,  
соединяющий пах и мозг.  
Адье, утверждавший «терять, ей-ей,  
нечего, кроме своих цепей».  
И совести, если на то пошло.  
Правда твоя, старина Шарло.  
Еще обладатель брады густой,  
Ваше сиятельство, граф Толстой,  
любитель касаться ногой травы,  
я Вас покидаю. И Вы правы.  
Прощайте, Альберт Эйнштейн, мудрец.  
Ваш не успев осмотреть дворец,  
в Вашей державе слагаю скит:  
Время — волна, а Пространство — кит.

Природа сама и ее щедрот  
сыщики: Ньютон, Бойль-Марриот,  
Кеплер, поднявший свой лик к Луне,—  
вы, полагаю, приснились мне.  
Мендель в банке и Дарвин с костями  
макак, отношения мои с людьми,  
их возраженья, зима, весна,  
август и май — персонажи сна.

Снился мне холод и снился жар;  
снился квадрат мне и снился шар,  
щебет синицы и шелест трав.  
И снилось мне часто, что я неправ.  
Снился мне мрак и на волнах блик.  
Собственный часто мне снился лик.  
Снилось мне также, что лошадь ржет.  
Но смерть — это зеркало, что не лжет.  
Когда я умру, а сказать точней:  
когда я проснусь, и когда скучней  
на первых порах мне придется там,  
должно быть, виденья, я вам воздам.

А впрочем, даже такая речь —  
признак того, что хочу сберечь  
тени; того, что еще люблю —  
признак того, что я крепко сплю.

Итак, возвращая язык и взгляд  
к барашкам на семьдесят строк назад,  
чтоб как-то их с пастухом связать;  
вернувшись на палубу, так сказать,  
я вижу, собственно, только нос  
и снег, что ундине уста занес  
и нежный бюст превратил в сугроб.  
Сейчас мы исчезнем, плавучий гроб.  
И вот, отправляясь навек на дно,  
хотелось бы твердо мне знать одно,  
поскольку я не вернусь домой:  
куда указуешь ты, вектор мой?

Хотелось бы думать, что пел не зря.  
Что то, что я некогда звал «заря»,  
будет и дальше всходить, как встарь,  
толкая худеющий календарь.  
Хотелось бы думать, верней — мечтать,  
что кто-то будет шары катать,  
а некто — из кубиков строить дом.  
Хотелось бы верить (увы, с трудом),  
что жизнь водолаза пошлет за мной,  
дав направление: «мир иной».

Постыдная слабость! Момент, друзья,  
по крайней мере, надеюсь я,  
что сохранит милосердный Бог  
то, чего я лицезреть не смог.  
Америку, Альпы, Кавказ и Крым,  
долину Евфрата и вечный Рим,  
Торжок, где почистить сапог — обряд,  
и добродетелей неких ряд,  
которых тут не рискну назвать,  
чтоб заодно могли уповать  
на Бережливость, на Долг и Честь  
(хоть я не уверен в том, что вы — есть).  
Надеюсь я также, что некий Швед  
спасет от атомной бомбы свет,  
что желтые тигры убавят тон,

что яблоко Евы иной Ньютон  
сжует, а семечки бросит в лес,  
что блюда украсят сервиз небес.

Прощайте! пусть ветер свистит, свистит.  
Больше ему уж не зваться злым.  
Пускай Грядущее здесь грустит:  
как ни вертись, но не стать Былым.  
Пусть Кант-постовой засвистит в свисток.  
А в Веймаре пусть Фейербах ревет:  
«Прекрасных видений живой поток  
щелчок выключателя не прервет!»  
Возможно, так. А возможно, нет.  
Во всяком случае (ветер стих),  
как только Старушка погасит свет,  
я знаю точно, не станет их.  
Пусть жизнь продолжает, узрев в дупле  
улитку, в охотничий рог трубить,  
когда на скромном своем корабле  
я, как сказал перед смертью Рабле,  
отправляюсь в «Великое Может Быть»...

(размыто)

Мадам, Вы простите бессвязность, пыл.  
Ведь Вам известно, куда я плыл  
и то, почему я, презрев компас,  
курс проверял, так сказать, на глаз.

Я вижу бульвар, где полно собак.  
Скамейка стоит, и цветет табак.  
Я вижу фиалок пучок в петле  
и Вас я вижу, мадам, в букле.

Печальный взор опуская вниз,  
я вижу светлого джерси мыс,  
две легкие шляпки, их четкий рант.  
На каждой, как маленький кливер, бант.

А выше (о звуки небесных арф)  
подобный голландке, в полоску шарф  
и волны, которых нельзя сомкнуть,  
в которых бы я предпочел тонуть.

И брови, как крылья прелестных птиц,  
над взором, которому нет границ  
в мире огромном ни вспять, ни впредь,  
который Незримому дал Смотреть.

Мадам, если впрямь существует связь  
меж сердцем и взглядом (лучась, дробясь  
и преломляясь), заметить рад:  
у Вас она лишена преград.

Мадам, это больше, чем свет небес.  
Поскольку на полюсе можно без  
звезд копошиться хоть сотню лет.  
Поскольку жизнь — лишь вбирает свет.

Но Ваше сердце, точнее — взор  
(как тонкие пальцы — предмет, узор)  
рождает чувства, и форму им  
светом оно придает своим.

**(размыто)**

И в этой бутылке у Ваших стоп,  
свидетельстве скромном, что я утоп,  
как астронавт посреди планет,  
Вы сыщете то, чего больше нет.

Вас в горлышке встретит, должно быть, грусть.  
До марки добравшись — и наизусть  
запомнив — придете в себя вполне.  
И встреча со мною Вас ждет на дне!

Мадам! Чтоб рассеять случайный сплин,  
*Bottoms up!*\* — как сказал бы Флинн.  
Тем паче, что мир, как в «Пиратах», здесь  
в зеленом стекле отразился весь.

**(размыто)**

Так вспоминайте меня, мадам,  
при виде волн, стремящихся к Вам,  
при виде стремящихся к Вам валов  
в беге строк, в гуденье слов...

---

\* Дно — вверх! (англ.).

Море, мадам, это чья-то речь...  
Я слух и желудок не смог сберечь:  
я нахлебался и речью полн...

(размыто)

Меня вспоминайте при виде волн!

(размыто)

Что парная рифма нам даст, то ей  
мы возвращаем под видом дней.  
Как, скажем, данные дни в снегу...  
Лишь смерть оставляет, мадам, в долгу.

(размыто)

Что говорит с печалью в лице  
кошке, усевшейся на крыльце,  
снегирь, не спуская с последней глаз?  
«Я думал, ты не придешь. *Alas!*» \*

1965

---

\* Увы! (англ.)

Колокольчик звенит —  
предупреждает мужчину  
не пропустить годовщину.  
Одуванчик в зенит  
задирает головку  
беззаботную — в ней  
больше мыслей, чем дней.  
Выбегает на бровку  
придорожную в срок  
ромашка — неточный,  
одноразовый, срочный  
пророк.

Пестрота полевых  
знаков пользует грудь от удушья.  
Кашка, сумка пастушья  
от любых болевых  
ощущений зрачок  
в одночасье готовы избавить.  
Жизнь, дружок, не изба ведь.  
Но об этом — молчок,  
чтоб другим не во вред  
(всюду уши: и справа и слева).  
Лишь пучку курослепа  
доверяешь секрет.

Колокольчик дрожит  
под пчелою из улья  
на исходе июля.  
В тишине дребезжит  
горох-самострел.  
Расширяется поле

от обидной неволи.  
Я на год постарел  
и в костюме шута  
от жестокости многоочитой  
хоронюсь под защитой  
травяного щита.

21 июля 1965

## ДИДОНА И ЭНЕЙ

Великий человек смотрел в окно,  
а для нее весь мир кончался краем  
его широкой греческой туники,  
обильем складок походившей на  
остановившееся море.

Он же  
смотрел в окно, и взгляд его сейчас  
был так далек от этих мест, что губы  
застыли, точно раковина, где  
таится гул, и горизонт в бокале  
был неподвижен.

А ее любовь  
была лишь рыбой — может, и способной  
пуститься в море вслед за кораблем  
и, рассекая волны гибким телом,  
возможно, обогнать его — но он,  
он мысленно уже ступил на сушу.  
И море обернулось морем слез.  
Но, как известно, именно в минуту  
отчаянья и начинает дуть  
попутный ветер. И великий муж  
покинул Карфаген.

Она стояла  
перед костром, который разожгли  
под городской стеной ее солдаты,  
и видела, как в мареве костра,  
дрожащем между пламенем и дымом,  
беззвучно распадался Карфаген

задолго до пророчества Катона.

1969

## СОНЕТ

Как жаль, что тем, чем стало для меня  
твое существование, не стало  
мое существование для тебя.  
...В который раз на старом пустыре  
я запускаю в проволочный космос  
свой медный грош, увенчанный гербом,  
в отчаянной попытке возвеличить  
момент соединения... Увы,  
тому, кто не способен заменить  
собой весь мир, обычно остается  
крутить щербатый телефонный диск,  
как стол на спиритическом сеансе,  
покуда призрак не ответит эхом  
последним воплям зуммера в ночи.

1967

## К ЛИКОМЕДУ, НА СКИРОС

Я покидаю город, как Тезей —  
свой Лабиринт, оставив Минотавра  
смердеть, а Ариадну — ворковать  
в объятьях Вакха.

Вот она, победа!

Апофеоз подвижничества. Бог  
как раз тогда подстраивает встречу,  
когда мы, в центре завершив дела,  
уже бредем по пустырю с добычей,  
навек уходя из этих мест,  
чтоб больше никогда не возвращаться.

В конце концов, убийство есть убийство.  
Долг смертных ополчаться на чудовищ.  
Но кто сказал, что чудовища бессмертны?  
И, дабы не могли мы возомнить  
себя отличными от побежденных,  
Бог отнимает всякую награду,  
тайком от глаз ликующей толпы,  
и нам велит молчать. И мы уходим.

Теперь уже и вправду — навсегда.  
Ведь если может человек вернуться  
на место преступления, то туда,  
где был унижен, он прийти не сможет.  
И в этом пункте планы Божества  
и наше ощущение униженья  
настолько абсолютно совпадают,  
что за спиною остаются: ночь,  
смердящий зверь, ликующие толпы,  
дома, огни. И Вакх на пустыре  
милуется в потемках с Ариадной.

Когда-нибудь придется возвращаться.  
Назад. Домой. К родному очагу.  
И ляжет путь мой через этот город.  
Дай Бог тогда, чтоб не было со мной  
двуострого меча, поскольку город  
обычно начинается для тех,  
кто в нем живет, с центральных площадей  
и башен.

Но для странника — с окраин.

1967

## ПОЧТИ ЭЛЕГИЯ

В былые дни и я переживал  
холодный дождь под колоннадой Биржи.  
И полагал, что это — Божий дар.  
И, может быть, не ошибался. Был же  
и я когда-то счастлив. Жил в плену  
у ангелов. Ходил на вурдалаков.  
Сбегавшую по лестнице одну  
красавицу в парадном, как Иаков,  
подстерегал.

Куда-то навсегда  
ушло все это. Спряталось. Однако,  
смотрю в окно и, написав «куда»,  
не ставлю вопросительного знака.  
Теперь сентябрь. Передо мною — сад.  
Далекий гром закладывает уши.  
В густой листве налившиеся груши,  
как мужеские признаки, висят.  
И только ливень в дремлющий мой ум,  
как в кухню дальних родственников — скарעד,  
мой слух об эту пору пропускает:  
не музыку еще, уже не шум.

*Осенью 1968*

## ЭЛЕГИЯ

Подруга милая, кабак все тот же.  
Все та же дрянь красуется на стенах,  
все те же цены. Лучше ли вино?  
Не думаю; не лучше и не хуже.  
Прогресса нет, и хорошо, что нет.

Пилот почтовой линии, один,  
как падший ангел, глушит водку. Скрипки  
еще по старой памяти волнуют  
мое воображение. В окне  
маячат белые, как девство, крыши,  
и колокол гудит. Уже темно.

Зачем лгала ты? И зачем мой слух  
уже не отличает лжи от правды,  
а требует каких-то новых слов,  
неведомых тебе — глухих, чужих,  
но быть произнесенными могущих,  
как прежде, только голосом твоим.

1968

Отказом от скорбного перечня — жест  
большой широты в крохоборе! —  
сжимая пространство до образа мест,  
где я пресмыкался от боли,  
как спившийся кравец в предсмертном бреду,  
заплатой на барское платье,  
с изнанки твоих горизонтов кладу  
на движимость эту заклатье!

Проулки, предместья, задворки — любой  
твой адрес — пустырь, палисадник,—  
что избрано будет для жизни тобой,  
давно, как трагедии задник,  
настолько я обжил, что где бы любви  
своей ни воздвигла ты ложе,  
все будет не краше, чем храм на крови,  
и общим бесплодием схоже.

Прими ж мой процент, разменяв чистоган  
разлуки на брачных голубок!  
За лучшие дни поднимаю стакан,  
как пьет инвалид за обрубок.  
На разницу в жизни свернув костыли,  
будь с ней до конца солидарной:  
не мягче на сплетне себе постели,  
чем мне — на листе календарной.

И мертвым я буду существенней для  
тебя, чем холмы и озера:  
не большую правду скрывает земля,  
чем та, что открыта для взора!  
В тылу твоём каждый растоптанный знак

воспрянет, как петел лядащий,  
и будут круги расширяться, как зрак,—  
вдогонку тебе, уходящей.

Глушеною рыбой всплывая со дна,  
кочуя, как призрак по требам,  
как тело, истлевшее прежде рядна,  
как тень моя, впуски с небом,  
повсюду начнет возвещать обо мне  
тебе, как заправский мессия,  
и корчиться будет на каждой стене  
в том доме, чья крыша — Россия.

*Июнь, 1967*

## СТРОФЫ

### I

На прощанье — ни звука.  
Граммфон за стеной.  
В этом мире разлука —  
лишь прообраз иной.  
Ибо врозь, а не подле  
мало веки смежать  
вплоть до смерти: и после  
нам не вместе лежать.

### II

Кто бы ни был виновен,  
но, идя на правож,  
воздаяния вровень  
с невиновным не ждешь.  
Тем верней расстаемся,  
что имеем в виду,  
что в Раю не сойдемся,  
не столкнемся в Аду.

### III

Как подзол раздирает  
бороздою соха,  
правота разделяет  
беспощадней греха.  
Не вина, но оплошность  
разбивает стекло.  
Что скорбеть, расколовшись,  
что вино утекло?

#### IV

Чем тесней единенье,  
тем кромешней разрыв.  
Не спасут затемнения  
ни рапид, ни наплыв.  
В нашей твердости толка  
больше нету. В чести  
одаренность осколка  
жизнь сосуда вести.

#### V

Наполняйся же хмелем,  
осушайся до дна.  
Только емкость поделим,  
но не крепость вина.  
Да и я не загублен,  
даже ежели впредь,  
кроме сходства зазубрин,  
общих черт не узреть.

#### VI

Нет деленья на чуждых.  
Есть граница стыда  
в виде разницы в чувствах  
при словце «никогда».  
Так скорбим, но хороним;  
переходим к делам,  
чтобы смерть, как синоним,  
разделить пополам.

#### VII

Распадаются дома,  
обрывается нить.  
Чем мы были и что мы  
не смогли сохранить,—  
промолчишь поневоле,  
коль с течением дней  
лишь подробности боли,  
а не счастья видней.

## VIII

Невозможность свиданья  
превращает страну  
в вариант мирозданья,  
хоть она в ширину,  
завидующая к славе,  
не уступит любой  
залетейской державе;  
превзойдет гольтьбой.

## IX

Только то и тревожит,  
что грядущий режим,  
не испытан, не прожит,  
но умом постижим.  
И нехватка боязни  
— невесомый балласт —  
вознесенья от казни  
обособить не даст.

## X

Что ж без пользы неволишь  
уничтожить следы?  
Эти строки всего лишь  
подголосок беды.  
Обрастание сплетней  
подтверждает к тому ж:  
расставанье заметней,  
чем слияние душ.

## XI

И, чтоб гончим не выдал —  
ни моим, ни твоим —  
адрес мой храпоидол  
или твой — херувим,  
на прощанье — ни звука;  
только хор Аонид.  
Так посмертная мука  
и при жизни саднит.

1968

Провинция справляет Рождество.  
Дворец Наместника увит омелой,  
и факелы дымятся у крыльца.  
В проулках — толчея и озорство.  
Веселый, праздный, грязный, очумелый  
народ толпится позади дворца,

Наместник болен. Лежа на одре,  
покрытый шалью, взятой в Альказаре,  
где он служил, он размышляет о  
жене и о своем секретаре,  
внизу гостей приветствующих в зале.  
Едва ли он ревнует. Для него

сейчас важней замкнуться в скорлупе  
болезней, снов, отсрочки перевода  
на службу в Метрополию. Зане  
он знает, что для праздника толпе  
совсем не обязательна свобода;  
по этой же причине и жене

он позволяет изменять. О чем  
он думал бы, когда б его не грызли  
тоска, припадки? Если бы любил?  
Невольно зябко поводя плечом,  
он гонит прочь пугающие мысли.  
...Веселье в зале умеряет пыл,

но все-же длится. Сильно опьянев,  
вожди племен стеклянными глазами

---

\* нашей эры (лат.).

взирают в даль, лишённую врага.  
Их зубы, выразившие их гнев,  
как колесо, что сжато тормозами,  
застряли на улыбке, и слуга

подкладывает пищу им. Во сне  
кричит купец. Звучат обрывки песен.  
Жена Наместника с секретарем  
выскальзывают в сад. И на стене  
орел имперский, выклевавший печень  
Наместника, глядит нетопырем...

И я, писатель, повидавший свет,  
пересекавший на осле экватор,  
смотрю в окно на спящие холмы  
и думаю о сходстве наших бед;  
его не хочет видеть Император,  
меня — мой сын и Цинтия. И мы,

мы здесь и стинем. Горькую судьбу  
гордыня не возвысит до улики,  
что отошли от образа Творца.  
Все будут одинаковы в гробу.  
Так будем хоть при жизни разнолики!  
Зачем куда-то рваться из дворца —

отчизне мы не судьи. Меч суда  
погрязнет в нашем собственном позоре:  
наследники и власть в чужих руках...  
Как хорошо, что не плывут суда!  
Как хорошо, что замерзает море!  
Как хорошо, что птицы в облаках

субтильны для столь тягостных телес!  
Такого не поставишь в укоризну.  
Но может быть находится как раз  
к их голосам в пропорции наш вес.  
Пускай летят поэтому в отчизну.  
Пускай орут поэтому за нас.

Отечество... чужие господа  
у Цинтии в гостях над колыбелью  
склоняются, как новые волхвы.  
Младенец дремлет. Теплится звезда,

как уголь под остывшею купелью.  
И гости, не коснувшись головы,

нимб заменяют ореолом лжи,  
а непорочное зачатие — сплетней,  
фигурой умолчанья об отце...  
Дворец пустеет. Гаснут этажи.  
Один. Другой. И, наконец, последний.  
И только два окна во всем дворце

горят: мое, где, к факелу спиной,  
смотрю, как диск луны по редколесью  
скользит и вижу — Цинтию, снега;  
Наместника, который за стеной  
всю ночь безмолвно борется с болезнью  
и жжет огонь, чтоб различить врага.

Враг отступает. Жидкий свет зари,  
чуть занимаясь на задворках мира,  
вползает в окна, норовя взглянуть  
на то, что совершается внутри;  
и, натываясь на остатки пира,  
колеблется. Но продолжает путь.

*Январь 1968, Паланга*

## ШЕСТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Так долго вместе прожили, что вновь  
второе января пришлось на вторник,  
что удивленно поднятая бровь,  
как со стекла автомобиля — дворник,  
с лица сгоняла смутную печаль,  
незамутненной оставляя даль.

Так долго вместе прожили, что снег  
коль выпадал, то думалось — навеки,  
что, дабы не зажмуривать ей век,  
я прикрывал ладонью их, и веки,  
не веря, что их пробуют спасти,  
метались там, как бабочки в горсти.

Так чужды были всякой новизне,  
что тесные объятия во сне  
бесчестили любой психоанализ;  
что губы, припадавшие к плечу,  
с моими, задувавшими свечу,  
не видя дел иных, соединялись.

Так долго вместе прожили, что роз  
семейство на обшарпанных обоях  
сменилось целой рощею берез,  
и деньги появились у обоих,  
и тридцать дней над морем, языкат,  
грозил пожаром Турции закат.

Так долго вместе прожили без книг,  
без мебели, без утвари на старом  
диванчике, что — прежде, чем возник —  
был треугольник перпендикуляром,

восставленным знакомыми стоймя  
над слившимися точками двумя.

Так долго вместе прожили мы с ней,  
что сделали из собственных теней  
мы дверь себе — работаешь ли, спишь ли,  
но створки не распаивались врозь,  
и мы прошли их, видимо, насквозь  
и черным ходом в будущее вышли.

Раньше здесь щебетал щегол  
в клетке. Скрипела дверь.  
Четко вплетался мужской глагол  
в шелест платья. Теперь  
пыльная капля на злом гвозде —  
лампочка Ильича  
льется на шашки паркета, где  
произошла ничья.

Знающий цену себе квадрат,  
видя вещей разброд,  
не оплакивает утрат;  
ровно наоборот:  
празднует прямогу угла,  
желтую рвань газет,  
мусор, будучи догола,  
до обоев раздет.

Печка, в которой погас огонь;  
трещина по изразцу.  
Если быть точным, пространству вонь  
небытия к лицу.  
Сука здесь не возьмет следа.  
Только дверной проем  
знает: двое, войдя сюда,  
вышли назад втроем.

## СТИХИ В АПРЕЛЕ

### Из цикла «С февраля по апрель»

В эту зиму с ума  
я опять не сошел. А зима,  
глядь, и кончилась. Шум ледохода  
и зеленый покров  
различаю. И, значит, здоров.  
С новым временем года  
поздравляю себя  
и, зрачок о Фонтанку слепя,  
я дроблю себя на сто.  
Пятерней по лицу  
провожу. И в мозгу, как в лесу,—  
оседание наста.

Дотянув до седин,  
я смотрю, как буксир среди льдин  
пробирается к устью.

Не ниже

поминания зла  
превращенье бумаги в козла  
отпущенья обид.

Извини же

за возвышенный слог:  
не кончается время тревог,  
но кончаются зимы.  
В этом — суть перемен,  
в толчее, в перебранке Камен  
на пиру Мнемозины.

*Апрель, 1969*

## ЛЮБОВЬ

Я дважды пробуждался этой ночью  
и брел к окну, и фонари в окне,  
обрывок фразы, сказанной во сне,  
сводя на нет, подобно многоточью,  
не приносили утешенья мне.

Ты снилась мне беременной, и вот,  
проживши столько лет с тобой в разлуке,  
я чувствовал вину свою, и руки,  
ощупывая с радостью живот,  
на практике нашаривали брюки

и выключатель. И бредя к окну,  
я знал, что оставлял тебя одну  
там, в темноте, во сне, где терпеливо  
ждала ты, и не ставила в вину,  
когда я возвращался, перерыва

умышленного. Ибо в темноте —  
там длится то, что сорвалось при свете.  
Мы там женаты, венчаны, мы те  
двуспинные чудовища, и дети  
лишь оправданье нашей наготы.

В какую-нибудь будущую ночь  
ты вновь придешь усталая, худая,  
и я увижу сына или дочь,  
еще никак не названных — тогда я  
не дернусь к выключателю и прочь

руки не протяну уже, не вправе  
оставить вас в том царствии теней,

безмолвных, перед изгородью дней,  
впадающих в зависимость от яви,  
с моей недостижимостью в ней.

*Февраль 1971*

## СРЕТЕНЬЕ

*Анне Ахматовой*

Когда она в церковь впервые внесла  
дитя, находились внутри из числа  
людей, находившихся там постоянно  
Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял младенца из рук  
Марии; и три человека вокруг  
младенца стояли, как зыбкая рама,  
в то утро, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, как замерший лес.  
От взглядов людей и от взора небес  
вершины скрывали, сумев распластаться,  
в то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом  
свет падал младенцу; но он ни о чем  
не ведал еще и посапывал сонно,  
покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведено старцу сему  
о том, что увидит он смертную тьму  
не прежде, чем Сына увидит Господня.  
Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,

реченное некогда слово храня,  
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,  
затем что глаза мои видели это  
дитя: он — твое продолженье и света  
источник для идолов чтящих племен,  
и слава Израиля в нем». — Симеон

умолкнул. Их всех тишина обступила.  
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

кружилось какое-то время спустя  
над их головами, слегка шелестя  
под сводами храма, как некая птица,  
что в силах взлететь, но не в силах спуститься.

И странно им было. Была тишина  
не менее странной, чем речь. Смущена,  
Мария молчала. «Слова-то какие...»  
И старец сказал, повернувшись к Марии:

«В лежащем сейчас на раменах твоих  
падение одних, возвышение других,  
предмет пререканий и повод к раздорам.  
И тем же оружием, Мария, которым

терзаема плоть его будет, твоя  
душа будет ранена. Рана сия  
даст видеть тебе, что сокрыто глубоко  
в сердцах человек, как некое око».

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед  
Мария, сутулясь, и тяжестью лет  
согбенная Анна безмолвно глядели.  
Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле

для двух этих женщин под сенью колонн.  
Почти подгоняем их взглядами, он  
шагал по застывшему храму пустому  
к белевшему смутно дверному проему.

И поступь была стариковски тверда.  
Лишь голос пророчицы сзади когда  
раздался, он шаг придержал свой немного:  
но там не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала.  
И дверь приближалась. Одежд и чела  
уж ветер коснулся, и в уши упрямо  
врывался шум жизни за стенами храма.

Он шел умирать. И не в уличный гул  
он, дверь отворивши руками, шагнул,  
но в глухонемые владения смерти.

Он шел по пространству, лишенному тверди,

он слышал, что время утратило звук.  
И образ младенца с сияньем вокруг  
пушистого темени смертной тропюю  
душа Симеона несла пред собою,

как некий светильник, в ту черную тьму,  
в которой дотоле еще никому  
дорогу себе озарять не случалось.

Светильник светил, и тропа расширялась.

*Март 1972*

## ОДИССЕЙ ТЕЛЕМАКУ

Мой Телемак,  
Троянская война  
окончена. Кто победил — не помню.  
Должно быть, греки: столько мертвецов  
вне дома бросить могут только греки...  
И все-таки ведущая домой  
дорога оказалась слишком длинной,  
как будто Посейдон, пока мы там  
теряли время, растянул пространство.  
Мне неизвестно, где я нахожусь,  
что предо мной. Какой-то грязный остров,  
кусты, постройки, хрюканье свиней,  
заросший сад, какая-то царица,  
травы да камни... Милый Телемак,  
все острова похожи друг на друга,  
когда так долго странствуешь, и мозг  
уже сбивается, считая волны,  
глаз, засоренный горизонтом, плачет,  
и водяное мясо застит слух.  
Не помню я, чем кончилась война,  
и сколько лет тебе сейчас, не помню.

Расти большой, мой Телемак, расти.  
Лишь боги знают, свидимся ли снова.  
Ты и сейчас уже не тот младенец,  
перед которым я сдержал быков.  
Когда б не Паламед, мы жили вместе.  
Но может быть и прав он: без меня  
ты от страстей Эдиповых избавлен,  
и сны твои, мой Телемак, безгрешны.

1972

Песчаные холмы, поросшие сосной.  
Здесь сыро осенью и пасмурно весной.  
Здесь море треплет на ветру оборки  
свои бесцветные, да из соседских дач  
порой послышится то детский плач,  
то взвизгнет Лемешев из-под плохой иголки.

Полынь на отмели и тростника гнилье.  
К штакетнику выходит снять белье  
мать-одиночка. Слышен скрип уключин:  
то пасынок природы, хмурый финн,  
плывет извлечь свой невод из глубин,  
но невод этот пуст и перекручен.

Тут чайка снизится, там промелькнет баклан.  
То алюминиевый аэроплан,  
уместный более среди облаков, чем птица,  
стремится к северу, где бьет баклуши швед,  
как губка некая, вбирая серый цвет,  
и пресным воздухом не тяготится.

Здесь горизонту придают черты  
своей доступности безлюдные форты.  
Здесь блеклый парус одинокой яхты,  
чертя прозрачную вдали лазурь,  
вам не покажется питомцем бурь,  
но — заболоченного устья Лахты.

И глаз, привыкший к уменьшенью тел  
на расстоянии, иной предел  
здесь обретает — где вообще о теле  
речь не заходит, где утрат не жаль:

затем что большую предполагает даль  
потеря из виду, чем вид потери.

Когда умру, пускай меня сюда  
перенесут. Я никому вреда  
не причиню, в песке прибрежном лежа.  
Объятий ласковых, тугих клешней  
равно бежавшему не отыскать нежней,  
застиранное и безгрешной ложа.

1974

*Пора забыть верблюжий этот гам  
И белый дом на улице Жуковской.*

*Анна Ахматова*

Помнишь свалку вещей на железном стуле,  
то, как ты подпевала бездумному «во саду ли,  
в огороде», бренчавшему вечером за стеною;  
окно, занавешенное выстиранной простынею?  
Непроходимость двора из-за сугробов, щели,  
куда задувало не хуже, чем в той пещере,  
преграждали доступ царям, пастухам, животным,  
оставляя нас греться теплом животным  
да армейской шинелью. Что напевала вьюга  
переходящим за полночь в сны друг друга,  
ни пружиной не скрипнув, ни половицей,  
неповторимо ни голосом наяву, ни птицей,  
прилетавшей из Ялты. Настоящее пламя  
пожирало внутренности игрушечного аэроплана  
и центральный орган державы плоской,  
где китайская грамота смешана с речью польской.  
Не отдернуть руки, не избежать ожога,  
измеряя градус угла чужого  
в геометрии бедных, чей треугольник кратный  
увенчан пыльной слезой стоваттной.  
Знаешь, когда зима тревожит бор Красноносом,  
когда торжество крестьянина под вопросом,  
сказуемое, ведомое подлежащим,  
уходит в прошедшее время, жертвуя настоящим,  
от грамматики новой на сердце пряча  
окончания шепота, крика, плача.

Повернись ко мне в профиль. В профиль черты лица  
обыкновенно отчетливее, устойчивее овала  
с его блядовитыми свойствами колеса:  
склонностью к перемене мест и т. д. и т. п.. Бывало  
оно на исходе дня напоминало мне,  
мертвому от погони, о пульмановском вагоне,  
о безумном локомотиве, ночью на полотне  
останавливавшемся у меня в ладони,  
и сова кричала в лесу. Нынче я со стыдом  
понимаю — вряд ли сова; но в потемках любо-  
дорого было путать сову с дроздом:  
птицу широкой скулы с птицей профиля, птицей клюва.  
И хоть меньше сбоку видать, все равно не жаль  
было правой части лица, если смотришь слева.  
Да и голос тот за ночь мог расклевать печаль,  
накрошившую голой рукой за порогом хлеба.

## СТРОФЫ

### I

Наподобье стакана,  
оставившего печать  
на скатерти океана,  
которого не перекричать,  
светило ушло в другое  
полушарие, где  
оставляют в покое  
только рыбу в воде.

### II

Вечером, дорогая,  
здесь тепло. Тишина  
молчанием попугая  
буквально завершена.  
Луна в кусты чистотела  
льет свое молоко:  
неприкосновенность тела,  
зашедшая далеко.

### III

Дорогая, что толку  
пререкаться, вникать  
в случившееся. Иголку  
больше не отыскать  
в человеческом сене.  
Впору вскочить, разя  
ть; либо — вместе со всеми  
передвигать ферзя.

#### IV

Все, что мы звали личным,  
что копили, греша,  
время, считая лишним,  
как прибор с гольша,  
стачивает — то лаской,  
то посредством резца —  
чтобы кончить цикладской  
вещью без черт лица.

#### V

Ах, чем меньше поверхность,  
тем надежда скромней  
на безупречную верность  
по отношению к ней.  
Может, вообще пропажа  
тела из виду есть  
со стороны пейзажа  
дальнозоркости месть.

#### VI

Только пространство ко́рысть  
в тычущем вдаль персте  
может найти. И скорость  
света есть в пустоте.  
Так и портится зреньё:  
чем ты дальше проник;  
больше, чем от старенья  
или чтения книг.

#### VII

Так же действует плотность  
тьмы. Ибо в смысле тьмы  
у вертикали плоскость  
сильно берет займы.  
Человек — только автор  
сжатого кулака,  
как сказал авиатор,  
уходя в облака.

## VIII

Чем безнадежней, тем как-то  
проще. Уже не ждешь  
занавеса, антракта,  
как пылкая молодежь.  
Свет на сцене, в кулисах  
меркнет. Выходишь прочь  
в рукоплесканье листьев,  
в американскую ночь.

## IX

Жизнь есть товар на вынос:  
торса, пениса, лба.  
И географии примесь  
к времени есть судьба.  
Нехотя, из-под палки,  
признаешь эту власть,  
подчиняешься Парке,  
обожающей прясть.

## X

Жухлая незабудка  
мозга кривит мой рот.  
Как тридцать третья буква,  
я пячусь всю жизнь вперед.  
Знаешь, все, кто далече,  
по ком голосит тоска —  
жертвы законов речи,  
запятых, языка.

## XI

Дорогая, несчастных  
нет, нет мертвых, живых.  
Всё — только пир согласных  
на их ножках кривых.  
Видно, сильно превысил  
свою роль свинопас,  
чей нетронутый бисер  
переживет всех нас.

## XII

Право, чем гуще россыпь  
черного на листе,  
тем безразличней особь  
к прошлому, к пустоте  
в будущем. Их соседство,  
мало проча добра,  
лишь ускоряет бегство  
по бумаге пера.

## XIII

Ты не услышишь ответа,  
если спросишь «куда»,  
так со стороны света  
сводятся к царству льда.  
У языка есть полюс,  
где белизна сквозит  
сквозь эльзевир; где голос  
флага не водрузит.

## XIV

Бедность сих строк — от жажды  
что-то спрятать, сберечь;  
обернуться. Но дважды  
в ту же постель не лечь.  
Даже если прислуга  
не меняет белье,  
здесь не Сатурн, и с круга  
не соскочить в нее.

## XV

С той дурной карусели,  
что воспел Гесиод,  
сходят не там, где сели,  
но где ночь застает.  
Сколько глаза ни колешь  
тьмой — расчетом благим  
повторимо всего лишь  
слово: словом другим.

## XVI

Так барашка на вертел  
нижут, разводят жар.  
Я, как мог, обессмертил  
то, что не удержал.  
Ты, как могла, простила  
все, что я натворил.  
В общем, песня сатира  
вторит шелесту крыл.

## XVII

Дорогая, мы квиты.  
Больше: друг к другу мы,  
точно оспа, привиты  
среди общей чумы.  
Лишь объекту злоречья,  
вместе с шансом в пятно  
уменьшаться, предплечье  
в утешенье дано.

## XVIII

Ах, за щедрость пророчеств —  
дней грядущих шантаж —  
как за бич наших отчеств,  
память, много не дашь.  
Им присуща, как аист  
свертку, приторность кривд.  
Но мы живы, покамест  
есть прощенье и шрифт.

## XIX

Эти вещи сольются  
в свое время в глазу  
у воззрившихся с блюда  
на пестроту внизу.  
Полагаю, и вправду  
хорошо, что мы врозь,  
чтобы взгляд астронавту  
напрягать не пришлось.

## XX

Вынь, дружок, из кивота  
лик Пречистой Жены.  
Вставь семейное фото —  
вид планеты с Луны.  
Снять нас вместе мордатый  
не сподобился друг,  
проморгал соглядатай;  
в общем, всем недосуг.

## XXI

Неуместней, чем ящер  
в филармонии, вид  
нас вдвоем в настоящем.  
Тем верней удивит  
обитателей завтра  
разведенная здесь  
сильных чувств динозавра  
и кириллицы смесь.

## XXII

Эти строчки по сути  
болтовня старика.  
В нашем возрасте судьи  
удлиняют срока.  
Иванову. Петрову.  
Своей хрупкой кости.  
Но свободному слову  
не с кем счеты свести.

## XXIII

Так мы лампочку тушим,  
чтоб сшибить табурет.  
Разговор о грядущем —  
тот же старческий бред.  
Лучше все, дорогая,  
доводить до конца,  
темноте помогая  
мускулами лица.

## XXIV

Вот конец перспективы  
нашей. Жаль, не длинней.  
Дальше — дивные дива  
времени, лишних дней,  
скачек к финишу в шорах  
городов и т. п.;  
лишних слов, из которых  
ни одно о тебе.

## XXV

Около океана,  
летней ночью. Жара,  
как чужая рука на  
темени. Кожура,  
снятая с апельсина,  
жухнет. И свой обряд,  
как жрецы Элевсина,  
мухи над ней творят.

## XXVI

Облокотясь на локоть,  
я слушаю шорох лип.  
Это хуже, чем грохот  
и знаменитый всхлип.  
Это хуже, чем детям  
сделанное «бо-бо».  
Потому что за этим  
не следует ничего.

**ДВАДЦАТЬ СОНЕТОВ  
К МАРИИ СТЮАРТ**

**1974**

## 1

Мари, шотландцы все-таки скоты.  
В каком колене клетчатого клана  
предвиделось, что двинешься с экрана  
и оживешь, как статуя, сады?  
И Люксембургский, в частности? Сюды  
забрел я как-то после ресторана  
взглянуть глазами старого барана  
на новые ворота и в пруды.  
Где встретил Вас. И в силу этой встречи,  
и так как «все бывшее оживило  
в отжившем сердце», в старое жерло  
вложив заряд классической картечи,  
я трачу, что осталось русской речи,  
на Ваш анфас и матовые плечи.

## 2

В конце большой войны не на живот,  
когда что было жарили без сала,  
Мари, я видел мальчиком, как Сара  
Леандр шла топ-топ на эшафот.  
Меч палача, как ты бы не сказала,  
приравнивает к полу небосвод  
(см. светило, вставшее из вод).  
Мы вышли все на свет из кинозала,  
но нечто нас в час сумерек зовет  
назад в «Спартак», в чьей плюшевой утробе  
приятнее, чем вечером в Европе.  
Там снимки звезд, там главная — брюнет,  
там две картины, очередь на обе.  
И лишнего билета нет.

### 3

Земной свой путь пройдя до середины,  
я, заявившись в Люксембургский сад,  
смотрю на затвердевшие седины  
мыслителей, письменников; и взад-  
вперед гуляют дамы, господины,  
жандарм синее в зелени, усат,  
фонтан мурлычет, дети голосают,  
и обратиться не к кому с «иди на».  
И ты, Мари, не покладая рук,  
стоишь в гирлянде каменных подруг,  
французских королев во время оно.  
Безмолвно, с воробьем на голове.  
Сад выглядит как помесь Пантеона  
со знаменитой «Завтрак на траве».

### 4

Красавица, которую я позже  
любил сильнее, чем Босуэла — ты,  
с тобой имела общие черты  
(шепчу автоматически «о, Боже»,  
их вспоминая) внешние. Мы тоже  
счастливой не составили четы.  
Она ушла куда-то в макинтоше.  
Во избежанье роковой черты,  
я пересек другую — горизонта,  
чье лезвие, Мари, острее ножа.  
Над этой вещью голову держа  
не кислорода ради, но азота,  
бурлящего в раздувшемся зобу,  
гортань... того... благодарит судьбу.

### 5

Число твоих любовников, Мари,  
превысило собою цифру три,  
четыре, десять, двадцать, двадцать пять.  
Нет для короны большего урона,  
чем с кем-нибудь случайно переспать.  
(Вот почему обречена корона;  
республика же может устоять,  
как некая античная колонна).

И с этой точки зрения ни на пядь  
не сдвинете шотландского барона.  
Твоим шотландцам было не понять,  
чем койка отличается от трона.  
В своем столетии белая ворона,  
для современников была ты блядь.

## 6

Я вас любил. Любовь еще (возможно,  
что просто боль) сверлит мой мозг.  
Все разлетелось к черту на куски.  
Я застрелиться пробовал, но сложно  
с оружием. И далее: виски:  
в который вдарить? Портила не дрожь, но  
задумчивость. Черт! все не по-людски!  
Я вас любил так сильно, безнадежно,  
как дай вам Бог другими — но не даст!  
Он, будучи на многое горазд,  
не сотворит — по Пармениду — дважды  
сей жар в крови, ширококостный хруст,  
чтоб пломбы в пасти плавилась от жажды  
коснуться — «бюст» зачеркиваю — уст!

## 7

Париж не изменился. Плас де Вож  
по-прежнему, скажу тебе, квадратна.  
Река не потекла еще обратно.  
Бульвар Распай по-прежнему пригож.  
Из нового — концерты за бесплатно  
и башня, чтоб почувствовать — ты вошь.  
Есть многие, с кем свидеться приятно,  
но первым прокричавши «как живешь?».  
В Париже, ночью, в ресторане... Шик  
подобной фразы — праздник носоглотки.  
И входит айне кляйне нахт мужик,  
внося мордovorот в косоворотке.  
Кафе. Бульвар. Подруга на плече.  
Луна, что твой генсек в параличе.

## 8

На склоне лет, в стране за океаном  
(открытой, как я думаю, при Вас),

деля помятый свой иконостас  
меж печкой и продавленным диваном,  
я думаю, сведи удача нас,  
понадобились вряд ли бы слова нам:  
ты просто бы звала меня Иваном  
и я бы отвечал тебе „Alas“ \*.

Шотландия нам стала бы матрас.  
Я б гордым показал тебя славянам.  
В порт Глазго, караван за караваном,  
пошли бы лапти, пряники, атлас.  
Мы встретили бы вместе смертный час.  
Топор бы оказался деревянным.

## 9

Равнина. Трубы. Входят двое. Лязг  
сражения. «Ты кто такой?» — «А сам ты?»  
«Я кто такой?» — «Да, ты.» — «Мы протестанты.»  
«А мы католики.» — «Ах вот как!» Хряск!  
Потом везде валяются останки.  
Шум нескончаемых вороньих дрызг.  
Потом — зима, узорчатые санки,  
примерка шали: «Где это — Дамаск?»  
«Там, где самец-павлин прекрасней самки.»  
«Но даже там он не проходит в дамки»  
(за пашками — передохнув от ласк).  
Ночь в небольшом по-голливудски замке.  
Опять равнина. Полночь. Входят двое.  
И все сливается в их волчьем вое.

## 10

Осенний вечер. Якобы с Каменной.  
Увы, не поднимающей чела.  
Не в первый раз. В такие вечера  
все в радость, даже хор краснознаменный.  
Сегодня, превращаясь во вчера,  
себя не утруждает переменной  
пера, бумаги, жижицы пельменной,  
изделия хромого бочара  
из Гамбурга. К подержанным вещам,

---

\* Увы (англ.).

имеющим царапины и пятна,  
у времени чуть больше, вероятно,  
доверия, чем к свежим овощам.  
Смерть, скрипнув дверью, станет на паркете  
в посадском, молю траченом жакете.

## 11

Лязг ножниц, ощущение озноба.  
Рок, жадный до каракуля с овцы,  
что брачные, что царские венцы  
снимает с нас. И головы особо.  
Прощай, юнцы, их гордые отцы,  
разводы, клятвы верности до гроба.  
Мозг чувствует, как башня небоскреба,  
в которой не общаются жильцы.  
Так пьянствуют в Сиаме близнецы,  
где пьет один, забуревают — оба.  
Никто не прокричал тебе «Атас!»  
И ты не знала «я одна, а вас»,  
глуша латынью потолок и Бога,  
увы, Мари, как выговорить «много».

## 12

Что делает Историю? — Тела.  
Искусство? — Обезглавленное тело.  
Взять Шиллера: Истории влетело  
от Шиллера. Мари, ты не ждала,  
что немец, закусивши удила,  
поднимет старое, по сути, дело:  
ему-то вообще какое дело,  
кому дала ты или не дала?

Но, может, как любая немчура,  
наш Фридрих сам страшился топора.  
А во-вторых, скажу тебе, на свете  
ничем (вообрази это), опричь  
Искусства, твои стати не постичь.  
Историю отдай Елизавете.

## 13

Баран трясет кудряшками (они же —  
руно), вдыхая запахи травы.

Вокруг Гленкорны, Дугласы и иже.  
В тот день их речи были таковы:  
«Ей отрубили голову. Увы».  
«Представьте, как рассердятся в Париже».  
«Французы? Из-за чьей-то головы?  
Вот если бы ей ткнули пониже...»  
«Так не мужик ведь. Вышла в неглиже».  
«Ну, это, как хотите, не основа...»  
«Бесстыдство! Как просвечивала жэ!»  
«Что ж, платья, может, не было иного».  
«Да, русским лучше; взять хоть Иванова:  
звучит как баба в каждом падеже».

#### 14

Любовь сильнее разлуки, но разлука  
длинней любви. Чем статнее гранит,  
тем явственней отсутствие ланит  
и прочего. Плюс запаха и звука.  
Пусть ног тебе не вскидывать в зенит:  
на то и камень (это ли не мука?)  
но то, что страсть, как Шива шестирука,  
бессильна — юбку он не извинит.

Не от того, что столько утекло  
воды и крови (если б голубая!),  
но от тоски расстегиваться врозь  
воздвиг бы я не камень, но стекло,  
Мари, как воплощение гудбая  
и взгляда, проникающего сквозь.

#### 15

Не то тебя, скажу тебе, сгубило,  
Мари, что женихи твои в бою  
поднять не звали плотников стропила;  
не «ты» и «вы», смешавшиеся в «ю»;  
не чьи-то симпатичные чернила;  
не то, что — за печатями семью —  
Елизавета Англию любила  
сильней, чем ты Шотландию свою  
(замечу в скобках, так оно и было);  
не песня та, что пела соловью  
испанскому ты в камере уныло.

Они тебе заделали свинью  
за то, чему не видели конца  
в те времена: за красоту лица.

16

Тьма скрадывает, сказано, углы.  
Квадрат, возможно, делается шаром,  
и на ночь глядя залитым пожаром  
багровый лес незримому курлы  
беззвучно внемлет порами коры;  
лай сеттера, встревоженного шалым  
сухим листом, возносится к Стожарам,  
смотрящим на озимые бугры.

Немногое, чем блазнилась слеза,  
сумело уцелеть от перехода  
в сень пережня. Вечному перу  
из всех вещей, бросавшихся в глаза,  
осталось следовать за временами года,  
петь на-голос «Унылую Пору».

17

То, что исторгло изумленный крик  
из английского рта, что к мату  
склоняет падкий на помаду  
мой собственный, что отвернуть на миг  
Филиппа от портрета лик  
заставило и снарядить Армаду,  
то было — не могу тираду  
закончить — в общем, твой парик,  
упавший с головы упавшей  
(дурная бесконечность), он,  
твой есть единственный поклон,  
пускай не вызвал рукопашной  
меж зрителей, но был таков,  
что поднял на ноги врагов.

18

Для рта, проговорившего «прощай»  
тебе, а не кому-нибудь, не все ли  
одно, какое хлебово без соли

разжевывать впоследствии. Ты, чай,  
привычная к не-доремифасоли.  
А, если что не так — не осерчай:  
язык, что крыса, копошится в соре,  
выпискивает что-то невзначай.

Прости меня, прелестный истукан.  
Да, у разлуки все-таки не дура  
губа (хоть часто кажется — дыра):  
меж нами — вечность, также — океан.  
Причем, буквально. Русская цензура.  
Могли бы обойтись без топора.

## 19

Мари, теперь в Шотландии есть шерсть  
(все выглядит как новое из чистки).  
Жизнь бег свой останавливает в шесть,  
на солнечном не сказываясь диске.  
В озерах — и по-прежнему им несть  
числа — явились монстры (василиски).  
И скоро будет собственная нефть,  
шотландская, в бутылках из-под виски.

Шотландия, как видишь, обошлась.  
И Англия, мне думается, тоже.  
И ты в саду французском непохожа  
на ту, с ума сводившую вчерась.  
И дамы есть, чтоб предпочесть тебе их,  
но непохожие на вас обеих.

## 20

Пером простым, неправда, что мятежным,  
я пел про встречу в некоем саду  
с той, кто меня в сорок восьмом году  
с экрана обучала чувствам нежным.  
Предоставляю вашему суду:  
а) был ли он учеником прилежным,  
в) новую для русского среду,  
с) слабость к окончаниям падежным.

В Непале есть столица Катманду.

Случайное, являясь неизбежным,  
приносит пользу всякому труду.

Ведя ту жизнь, которую веду,  
я благодарен бывшим белоснежным  
листам бумаги, свернутым в дуду.

(из цикла «Часть речи»)

Ниоткуда с любовью, надцатого мартабря,  
дорогой уважаемый милая, но неважно  
даже кто, ибо черт лица, говоря  
откровенно, не вспомнить уже, не ваш, но  
и ничей верный друг вас приветствует с одного  
из пяти континентов, держащегося на ковбоях;  
я любил тебя больше, чем ангелов и самого,  
и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих;  
поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,  
в городке, занесенном снегом по ручку двери,  
извиваясь ночью на простыне —  
как не сказано ниже по крайней мере —  
я взбиваю подушку мычащим «ты»  
за морями, которым конца и края,  
в темноте всем телом твои черты,  
как безумное зеркало, повторяя.

1975—76

(из цикла «Часть речи»)

Ты забыла деревню, затерянную в болотах  
залесенной губернии, где чучел на огородах  
отродясь не держат — не те там злаки,  
и дорóгой тоже все гати да буераки.  
Баба Настя, поди, померла, и Пестерев жив едва ли,  
а как жив, то пьяный сидит в подвале,  
либо ладит из спинки нашей кровати что-то,  
говорят, калитку не то ворота.  
А зимой там колют дрова и сидят на репе,  
и звезда моргает от дыма в морозном небе.  
И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли  
да пустое место, где мы любили.

1975—76

Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной  
струн, продолжающая коричневеть в гостиной,  
белеть а ля Казимир на выстиранном просторе,  
темнеть — особенно вечером — в коридоре,  
спой мне песню о том, как шуршит портьера,  
как включается, чтоб оглушить полтела,  
ть, как лиловая муха, сползает с карты,  
и закат в саду за окном точно дым эскадры,  
от которой осталась одна матроска,  
позабытая в детской. И как расческа  
в кулаке дрессировщика-турка, как рыбку — леской,  
возвышает болонку над Ковалевской  
до счастливого случая твякнуть сорок  
раз в день рожденья, — и мокрый порох  
гасит звезды салюта, громко шипя, в стакане,  
и стоят графины кремлем на ткани.

22 июля 1978

## ЭЛЕГИЯ

До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу  
в возбужденье. Что, впрочем, естественно. Ибо связи  
не чета голой мышце, волосу, багажу  
под холодными буркалами, и не бздюме утряски  
вещи с возрастом. Взятый вне мяса, звук  
не изнашивается в результате тренья  
о разреженный воздух, но, близорук, из двух  
зол выбирает обычно большее: повторенье  
некогда сказанного. Трезвая голова  
сильно с этого кружится по вечерам подолгу,  
точно пластинка, стачивая слова,  
и пальцы мешают друг другу извлечь иголку  
из заросшей извилины — как отдавая честь  
наважденью в форме нехватки текста  
при избытке мелодии. Знаешь, на свете есть  
вещи, предметы, между собой столь тесно  
связанные, что, норовя прослыть  
подлинно матерью и т. д. и т. п., природа  
могла бы сделать еще один шаг и слить  
их воедино: тум-тум фокстрота  
с крепдешиновой юбкой; муху и сахар; нас  
в крайнем случае. То есть, повысить в ранге  
достиженья Мичурина. У щуки уже сейчас  
чешуя цвета консервной банки,  
цвета вилки в руке. Но природа, увы, скорей  
разделяет, чем смешивает. И уменьшает чаще,  
чем увеличивает; вспомни размер зверей  
в плейстоценовой чаше. Мы — только части  
крупного целого, из коего вьется нить  
к нам, как шнур телефона, от динозавра  
оставляя простой позвоночник. Но позвонить  
по нему больше некуда, кроме как в послезавтра,

Где откликнется лишь инвалид — зане  
потерявший конечность, подругу, душу  
есть продукт эволюции. И набрать этот номер мне,  
как выползти из воды на сушу.

## ГОРЕНИЕ

Зимний вечер. Дрова  
охваченные огнем —  
как женская голова  
ветреным ясным днем.

Как золотится прядь,  
слепотою грозя!  
С лица ее не убрать.  
И к лучшему, что нельзя.

Не провести пробор,  
гребнем не разделить:  
может открыться взор,  
способный испепелить.

Я всматриваюсь в огонь.  
На языке огня  
раздается «Не тронь»  
и вспыхивает «меня!»

От этого — горячо.  
Я слышу сквозь хруст в кости  
захлебывающееся «еще!»  
и бешеное «пусти!».

Пылай, пылай предо мной,  
рваное, как блатной,  
как безумный портной,  
пламя еще одной

зимы! Я узнаю  
паты твои. Твою

завивку. В конце концов —  
раскаленность щипцов!

Ты та же, какой была  
прежде. Тебе не впрок  
раздевшийся догола,  
скинувший все швырок.

Только одной тебе  
свойственно, вещь губя,  
приравниванье к судьбе  
сжигаемого — себя!

Впивающееся в нутро,  
взвивающееся вовне,  
напряженное пестро,  
мы снова наедине!

Это твой жар, твой пыл!  
Не отпирайся! Я  
твой почерк не позабыл,  
обугленные края.

Как ни скрывай черты,  
но предаст тебя суть,  
ибо никто, как ты,  
не умел захлестнуть,

выдохнуться, воспрясть,  
метнуться наперерез.  
Назарею б та страсть,  
воистину бы воскрес!

Пылай, полыхай, греши,  
захлебывайся собой.  
Как менада, пляши  
с закушенной губой.

Вой, трепещи, тряси  
вволю плечом худым.  
Тот, кто вверху еси,  
да глотает твой дым!

Так рвутся, треща, шелка,  
обнажая места.  
То промелькнет щека,  
то полыхнут уста.

Так рушатся корпуса,  
так из развалин икр  
прядают, небеса  
вызвездив, сонмы искр.

Ты та же, какой была.  
От судьбы, от жилья  
после тебя — зола,  
тусклые уголья,

холод, рассвет, снежок,  
пляска замерзших розг.  
И как сплошной ожог —  
не удержавший мозг.

1981

## КЕЛЛОМЯКИ

### I

Заблудившийся в дюнах, отобранных у чухны, городок из фанеры, в чьих стенах едва чихни — телеграмма летит из Швеции: «Будь здоров». И никаким топором не наколешь дров отопить помещенье. Наоборот, иной дом согреть порывался своей спиной самую зиму и разводил цветы в синих стеклах веранды по вечерам; и ты, как готовясь к побегу и азимут отыскав, засыпала там в шерстяных носках.

### II

Мелкие, плоские волны моря на букву «б», сильно схожие издали с мыслями о себе, набегали извилинами на пустынный пляж и смерзались в морщины. Сухой мандраж голых прутьев боярышника вынуждал порой сетчатку покрыться рябой корой. А то возникали чайки из снежной мглы, как замусоленные ничьей рукой углы белого, как пустая бумага, дня; и подолгу никто не зажигал огня.

### III

В маленьких городках узнаешь людей не в лицо, но по спинам длинных очередей; и населенье в субботу выстраивалось гуськом, как караван в пустыне, за сах. песком или сеткой салаки, пробивавшей в бюджете брешь. В маленьком городе обыкновенно ешь

то же, что остальные. И отличить себя можно было от них, лишь срисовывая с рубля шпиль кремля, сужавшегося к звезде, либо — видя вещи твои везде.

#### IV

Несмотря на все это, были они крепки, эти брошенные спичечные коробки с громыхавшими в них посудой двумя-тремя сырыми головками. И, воробья кормя, на него там смотрели всею семьей в окно, где деревья тоже сливались по вечерам в одно черное дерево, стараясь перерасти небо — что и случалось часам к шести, когда книга захлопывалась и когда от тебя оставались лишь губы, как от того кота.

#### V

Эта внешняя щедрость, этот, на то пошло, дар, холодея внутри, источать тепло вовне, постояльцев сближал с жильем, и зима простыню на веревке считала своим бельем. Это сковывало разговоры; смех громко скрипел, оставляя следы, как снег, опушавший изморозью, точно хвою, края местоимений и превращавший «я» в кристалл, отливавший твердою бирюзой, но таявший после твоей слезой.

#### VI

Было ли вправду все это? и если да, на кой будоражить теперь этих бывших вещей покой, вспоминая подробности, подгоняя сосну к сосне, имитируя — часто удачно — тот свет во сне? Воскресают, кто верует: в ангелов, в корни (лес); а что Келломайки ведали, кроме рельс и расписанья железных вещей, свистя возникавших из небытия пять минут спустя и растворявшихся в нем же, жадно глотавшем жуть, мысль о любви и успевших сесть?

## VII

Ничего. Негашеная известь зимних пространств, свой  
корм  
подбирая с пустынных пригородных платформ,  
оставляла на них под тяжестью хвойных лап  
настоящее в черном пальто, чей драп,  
более прочный, нежели шевиот,  
предохранял там от будущего и от  
прошлого лучше, чем дымным стеклом — буфет.  
Нет ничего постоянной, чем черный цвет;  
так возникают буквы, либо — мотив «Кармен»,  
так засыпают одетыми противники перемен.

## VIII

Больше уже ту дверь не отпирать ключом  
с замысловатой бородкой, и не включить плечом  
электричество в кухне к радости огурца.  
Эта скворешня пережила скворца,  
кучевые и перистые стада.  
С точки зрения времени, нет «тогда»:  
есть только «там». И «там», напрягая взор,  
память бродит по комнатам в сумерках, точно вор,  
шаря в шкафах, роняя на пол роман,  
запуская руку к себе в карман.

## IX

Можно кивнуть и признать, что простой урок  
лобачевских полозьев ландшафту пошел не впрок,  
что Финляндия спит, затаив в груди  
нелюбовь к лыжным палкам — теперь, поди,  
из алюминия: лучше, видать, для рук.  
Но по ним уже не узнать, как горит бамбук,  
не представить пальму, муху це-це, фокстрот,  
монолог попугая — вернее, тот  
вид параллелей, где голым, поскольку — край  
света, гулял, как дикарь, Маклай.

## X

В маленьких городках, хранящих в подвалах скарб,  
как чужих фотографий, не держат карт —

даже игральных, — как бы кладя предел покушеньям судьбы на беззащитность тел. Существуют обои; и населенный пункт освобождаем ими обычно от внешних пут столь успешно, что дым норовит назад воротиться в трубу, не подводить фасад; что оставляют слившиеся в одно белое после себя пятно.

## XI

Необязательно помнить, как звали тебя, меня; тебе достаточно блузки и мне — ремня, чтоб увидеть в трельяже (то есть, подать слепцу), что безымянность нам в самый раз, к лицу, как в итоге всему живому, с лица земли стираемому беззвучным всех клеток «пли». У вещей есть пределы. Особенно — их длина, неспособность сдвинуться с места. И наше право на «здесь» простиралось не дальше, чем в ясный день клином падавшая в сугробы тень.

## XII

дровяного сарая. Глядя в другой пейзаж, будем считать, что клин этот острый — наш общий локоть, выдвинутый вовне, которого ни тебе, ни мне не укусить, ни, по давню, поцеловать. В этом смысле, мы слились, хотя кровать даже не скрипнула. Ибо она теперь целый мир, где тоже есть сбоку дверь, которая — точно слышала где-то звон — годится только, чтоб выйти вон.

То не Муза воды набирает в рот.  
То, должно, крепкий сон молодца берет.  
И махнувшая вслед голубым платком  
наезжает на грудь паровым катком.

И ни встать ни раком, ни так словам,  
как назад в осиновый строй дровам.  
И глазами по наволочке лицо  
растекается, как по сковороде яйцо.

Горячей ли тебе под сукном шести  
одеял в том садке, где — Господь прости —  
точно рыба — воздух, сырой губой  
я хватал, что было тогда тобой?

Я бы заячьи уши пришил к лицу,  
наглотался б в лесах за тебя свинцу,  
но и в черном пруду из дурных коряг  
я бы всплыл пред тобой, как не смог «Варяг».

Но, видать, не судьба, и года не те.  
И уже седина стыдно молвить где.  
Больше длинных жил, чем для них кровей,  
да и мысли мертвых кустов кривей.

Навсегда расстаемся с тобой, дружок.  
Нарисуй на бумаге простой кружок.  
Это буду я: ничего внутри.  
Посмотри на него, и потом сотри.

1980

Я был только тем, чего  
ты касалась ладонью,  
над чем в глухую, воронью  
ночь склоняла чело.

Я был лишь тем, что ты  
там, внизу, различала:  
смутный облик сначала,  
много позже — черты.

Это ты, горяча,  
ошую, одесную  
раковину ушную  
мне творила, шепча.

Это ты, теребя  
штору, в сырую полость  
рта вложила мне голос,  
окликавший тебя.

Я был попросту слеп.  
Ты, возникая, прячась,  
даровала мне зрячесть.  
Так оставляют след.

Так творятся миры.  
Так, сотворив, их часто  
оставляют вращаться,  
расточая дары.

Так, бросаем то в жар,  
то в холод, то в свет, то в темень,  
в мирозданыи потерян,  
кружится шар.

1981

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . . .	6—12
<b>Стихи из самиздата и ранних сборников</b>	<b>13</b>
1. Стансы Е. В., А. Д. . . . .	14
2. Стансы городу . . . . .	15
3. Пилигримы . . . . .	16—17
4. «Я памятник воздвиг себе иной...» . . . . .	18
<b>Из книги «Остановка в пустыне»</b>	<b>19</b>
<b>Из цикла «Холмы»</b>	<b>20</b>
5. Рождественский романс . . . . .	21—22
6. Большая элегия Джону Донну . . . . .	23—28
7. «Воротишься на родину...» . . . . .	29
8. От окраины к центру . . . . .	30—34
9. «В тот вечер возле вашего огня...» . . . . .	35—36
10. «Теперь все чаще чувствую...» . . . . .	37
11. «Все чуждо в доме...» . . . . .	38
12. Холмы . . . . .	39—44
13. «Ты поскачешь во мраке...» . . . . .	45—46
14. Два сонета . . . . .	47—48
15. Исаак и Авраам . . . . .	49—63
16. «Под вечер он видит...» . . . . .	64—66
17. «Огонь, ты слышишь...» . . . . .	67
18. Глаголы . . . . .	68—69
19. Стихи под эпитафией . . . . .	70—71
20. Песенка о Феде Добровольском . . . . .	72
21. Проплывают облака . . . . .	73—74
22. А. А. Ахматовой . . . . .	75—76
23. Сонет («Прошел январь...») . . . . .	77
<b>Из цикла «Фонтан»</b>	<b>78</b>
24. «Садовник в ватнике...» . . . . .	79
25. Обоз . . . . .	80
26. С грустью и нежностью . . . . .	81
27. В распутицу . . . . .	82—83
28. К северному краю . . . . .	84—85
29. «В деревне Бог живет...» . . . . .	86

30. «Топилась печь, огонь...» . . . . .	87
31. Орфей и Артемида . . . . .	87
32. 1 января 1965 года . . . . .	89
33. Вечером . . . . .	90
34. Подсвечник . . . . .	91—92

**Из «Школьной антологии»** 93

35. Э. Ларионова . . . . .	93—94
36. Олег Поддобрый . . . . .	94—95
37. Т. Зимина . . . . .	95—96
38. Ю. Сандул . . . . .	96—97
39. А. Фролов . . . . .	97—100
40. «Сумев отгородиться...» . . . . .	101
41. 1 сентября . . . . .	102
42. Послание к стихам . . . . .	103—104
43. Фонтан . . . . .	105—106
44. «На Прачечном мосту...» . . . . .	107
45. Зимним вечером в Ялте . . . . .	108

**Из цикла «Остановка в пустыне»** 109

46. Стихи на смерть Т. С. Элиота . . . . .	110—112
47. Одной поэтессе . . . . .	113—114
48. Два часа в резервуаре . . . . .	115—119
49. Остановка в пустыне . . . . .	120—122
50. Прощайте, мадмуазель Вероника . . . . .	123—127

**Горбунов и Горчаков** 128

51. I. «Ну что тебе приснилось...» . . . . .	129—131
52. II. Горбунов и Горчаков . . . . .	132—134
53. III. Горбунов в ночи . . . . .	135—137
54. IV. Горчаков и врачи . . . . .	138—140
55. V. Песня в третьем лице . . . . .	141—143
56. VI. Горбунов и Горчаков . . . . .	144—146
57. VII. Горбунов и Горчаков . . . . .	147—149
58. VIII. Горбунов в ночи . . . . .	150—152
59. IX. Горбунов и врачи . . . . .	153—155
60. X. Разговор на крыльце . . . . .	156—158
61. XI. Горбунов и Горчаков . . . . .	159—161
62. XII. Горбунов и Горчаков . . . . .	162—164
63. XIII. Разговоры о море . . . . .	165—167
64. XIV. Разговор в разговоре . . . . .	168—170

**Из книги «Конец прекрасной эпохи»**

**Стихотворения 1964—1971** 171

65. «Второе Рождество на берегу...» . . . . .	172—173
66. Речь о пролитом молоке . . . . .	174—184
67. Открытка из города К. . . . .	185
68. Памяти Т. Б. . . . .	186—194
69. Письмо генералу . . . . .	195—199
70. Посвящается Ялте . . . . .	200—213
71. С видом на море . . . . .	214—216
72. Конец прекрасной эпохи . . . . .	217—218

73. Разговор с небожителем . . . . .	219—224
<b>С февраля по апрель</b>	
	225
74. I. «Морозный вечер. Мосты в тумане...» . . . . .	225
75. II. «В пустом, закрытом на просушку...» . . . . .	225—226
76. III. Шиповник в апреле . . . . .	226—227
77. V. Фонтан Памяти Героев Обороны . . . . .	227—228
78. Пенье без музыки . . . . .	229—236
79. Октябрьская песня . . . . .	237
<b>Post aetatem nostram</b>	
	238
80. I. «Империя — страна для дураков...» . . . . .	238
81. II. Дворец . . . . .	238—239
82. III. «Покинутый мальчишкой брадобрей...» . . . . .	239—240
83. IV. «Сухая послепраздничная ночь...» . . . . .	240
84. V. «В расклеенном на уличных щитах...» . . . . .	240—241
85. VI. «Прекрасная акустика! Строитель...» . . . . .	241—242
86. VII. Башня . . . . .	242
87. VIII. «Фонтан, изображающий дельфина...» . . . . .	242—243
88. IX. Зверинец . . . . .	243
89. X. Император . . . . .	244
90. XI. «Светильник гаснет, и фитиль чадит...» . . . . .	245
91. XII. «Задумав перейти границу...» . . . . .	245—246
92. Чаепитие . . . . .	247
93. Дебют . . . . .	248—249
94. «Время года — зима...» . . . . .	250
<b>Литовский дивертисмент</b>	
	251
95. 1. Вступление . . . . .	251
96. 2. Лейкрос . . . . .	251—252
97. 3. Кафе «Неринга» . . . . .	252
98. 4. Герб . . . . .	252
99. 5. Amicum philosophum de melancholia . . . . .	252—253
100. 6. Palangen . . . . .	253
101. 7. Dominikanaj . . . . .	253
102. «Я всегда твердил, что судьба...» . . . . .	254—255
103. Натюрморт . . . . .	256—260
<b>Из книги «Часть речи»</b>	
<b>Стихотворения 1972—1976</b>	
	261
<b>Отцу и матери</b>	
	262
104. 24 декабря 1971 года . . . . .	263—264
105. Одному тирану . . . . .	265
106. Похороны Бобо . . . . .	266—267
107. набросок . . . . .	268
108. Письма римскому другу . . . . .	269—271
109. Песня невинности, она же опыта . . . . .	272
110. «Мы хотим играть на лугу...» . . . . .	272—274
111. «Мы не пьем вина на краю...» . . . . .	274—275
112. 1972 год . . . . .	276—279
113. В озерном краю . . . . .	280

114. «Осенний вечер в скромном городке...» . . . . .	281—282
115. На смерть друга . . . . .	283
116. Бабочка . . . . .	284—288
117. Горс . . . . .	289
118. Лагуна . . . . .	290—293
119. На смерть Жукова . . . . .	294—295
120. Темза в Челси . . . . .	296—298

#### Мексиканский дивертисмент

299

121. Гуернавака . . . . .	299—300
122. 1867 . . . . .	301
123. Мерида . . . . .	301—302
124. В отеле «Континенталь» . . . . .	302—303
125. Мексиканский романсеро . . . . .	303—306
126. К Евгению . . . . .	306—307
127. Заметка для энциклопедии . . . . .	307—308
128. «Классический балет есть замок...» . . . . .	309

#### Из цикла «Часть речи»

1975—1976

310

129. «Север крошит металл...» . . . . .	311
130. «Узнаю этот ветер...» . . . . .	312
131. «Это — ряд наблюдений...» . . . . .	313
132. «Потому что каблук оставляет...» . . . . .	314
133. «Деревянный лаокоон...» . . . . .	315
134. «Я родился и вырос...» . . . . .	316
135. «Что касается звезд...» . . . . .	317
136. «В городке, из которого...» . . . . .	318
137. «Около океана, при свете свечи...» . . . . .	319
138. «Тихотворение мое...» . . . . .	320
139. «Темносинее утро...» . . . . .	321
140. «С точки зрения воздуха...» . . . . .	322
141. «Заморозки на почве...» . . . . .	323
142. «Всегда остается возможность...» . . . . .	324
143. «Итак, пригревает...» . . . . .	325
144. «Если что-нибудь петь...» . . . . .	326
145. «...и при слове «грядущее»...» . . . . .	327
146. «Я не то что схожу с ума...» . . . . .	328
147. Колыбельная трескового мыса . . . . .	329
148. Декабрь во Флоренции . . . . .	341—343

#### Новые стансы к Августе

Стихи к М. Б.

1962—1982

344

149. «Я обнял эти плечи и взглянул...» . . . . .	345
150. Песенка . . . . .	346
151. Ночной полет . . . . .	347—348
152. «В твоих часах не только ход...» . . . . .	349
153. «Ты — ветер, дружок...» . . . . .	350
154. «Что ветру говорят кусты...» . . . . .	351
155. «Черные города...» . . . . .	352—353
156. Загадка ангелу . . . . .	354—355

157. «Ветер оставил лес...» . . . . .	356
158. Ломтик медового месяца . . . . .	357
<b>Из «Старых английских песен»</b>	358
159. 1. «Заспорят ночью мать с отцом...» . . . . .	358
160. 4. Зимняя свадьба . . . . .	359
161. Песни счастливой зимы . . . . .	360—361
162. «Ты выпорхнешь, малиновка...» . . . . .	362
163. Песня . . . . .	363
164. «Как тюремный засов...» . . . . .	364—365
165. «Деревья в моем окне...» . . . . .	366
166. «Шум ливня воскрешает...» . . . . .	367
167. Развивая Крылова . . . . .	368—369
168. Для школьного возраста . . . . .	370
169. Зимняя почта . . . . .	371—373
170. Псковский реестр . . . . .	374—376
171. Гвоздика . . . . .	377
172. «Дни бегут надо мной...» . . . . .	378
173. «Тебе, когда мой голос...» . . . . .	379
174. «Твой локон не свивается...» . . . . .	380—381
175. Румянцевой победам . . . . .	382—383
176. «Осенью из гнезда...» . . . . .	384
177. Новые стансы к Августе . . . . .	385—389
178. Пророчество . . . . .	390—391
179. «О, как мне мила кольцеобразный...» . . . . .	392
180. Einen alten architekten in Rom . . . . .	393—396
181. Письмо в бутылке . . . . .	397—404
182. «Колокольчик звенит — предупреждает...» . . . . .	405—406
183. Дидона и Эней . . . . .	407
184. Сонет («Как жаль, что тем, чем стало...») . . . . .	408
185. К Ликомеру на Скирос . . . . .	409—410
186. Почти Элегия . . . . .	411
187. Элегия («Подруга милая, кабак все тот же...») . . . . .	412
188. «Отказом от скорбного перечня...» . . . . .	413—414
189. Строфы («На прощанье — ни звука...») . . . . .	415—417
190. Anno Domini . . . . .	418—420
191. Шесть лет спустя . . . . .	421—422
192. «Раньше здесь щебетал щегол...» . . . . .	423
193. Стихи в апреле (Из цикла «С февраля по апрель») . . . . .	424
194. Любовь . . . . .	425—426
195. Сретенье . . . . .	427—429
196. Одиссей Телемаку . . . . .	430
197. «Песчаные холмы, поросшие сосной...» . . . . .	431—432
198. «Помнишь свалку вещей...» . . . . .	433
199. «Повернись ко мне в профиль...» . . . . .	434
200. Строфы («Наподобье стакана, оставившего...») . . . . .	435—441
201. Двадцать сонетов к Марии Стюарт . . . . .	442—451
202. «Ниоткуда с любовью...» . . . . .	452
203. «Ты забыла деревню...» . . . . .	453
204. «Ты, гитарообразная вещь...» . . . . .	454
205. Элегия («До сих пор вспоминая...») . . . . .	455—456
206. Горение . . . . .	457—459
207. Келломяки . . . . .	460—463
208. «То не Муза воды набирает...» . . . . .	464
209. «Я был только тем...» . . . . .	465—466

Литературно-художественное издание

Бродский Иосиф Александрович

**ФОРМА ВРЕМЕНИ**

В 2 томах

Стихотворения, пьесы, эссе

Том 1

Стихотворения

Составитель *В. И. Уфлянд*

Художник *С. В. Баленок*

Редактор *Р. Ф. Кузнецова*

Координаторы выпуска *Б. З. Туровский, О. И. Березовский*

Сдано в набор 20.11.91. Подписано в печать 10.02.92. Формат 84X108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Балтика». Усл. печ. л. 15. Уч.-изд. л. 29. Тираж 100000 экз. (1 з-д: 1—50000 экз.) Заказ 402.

Литературно-издательское агентство «Эридан», 220039, Минск, Чкалова, 12.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени типографии издательства «Белорусский Дом печати», 220041, Минск, пр. Ф. Скорины, 79.



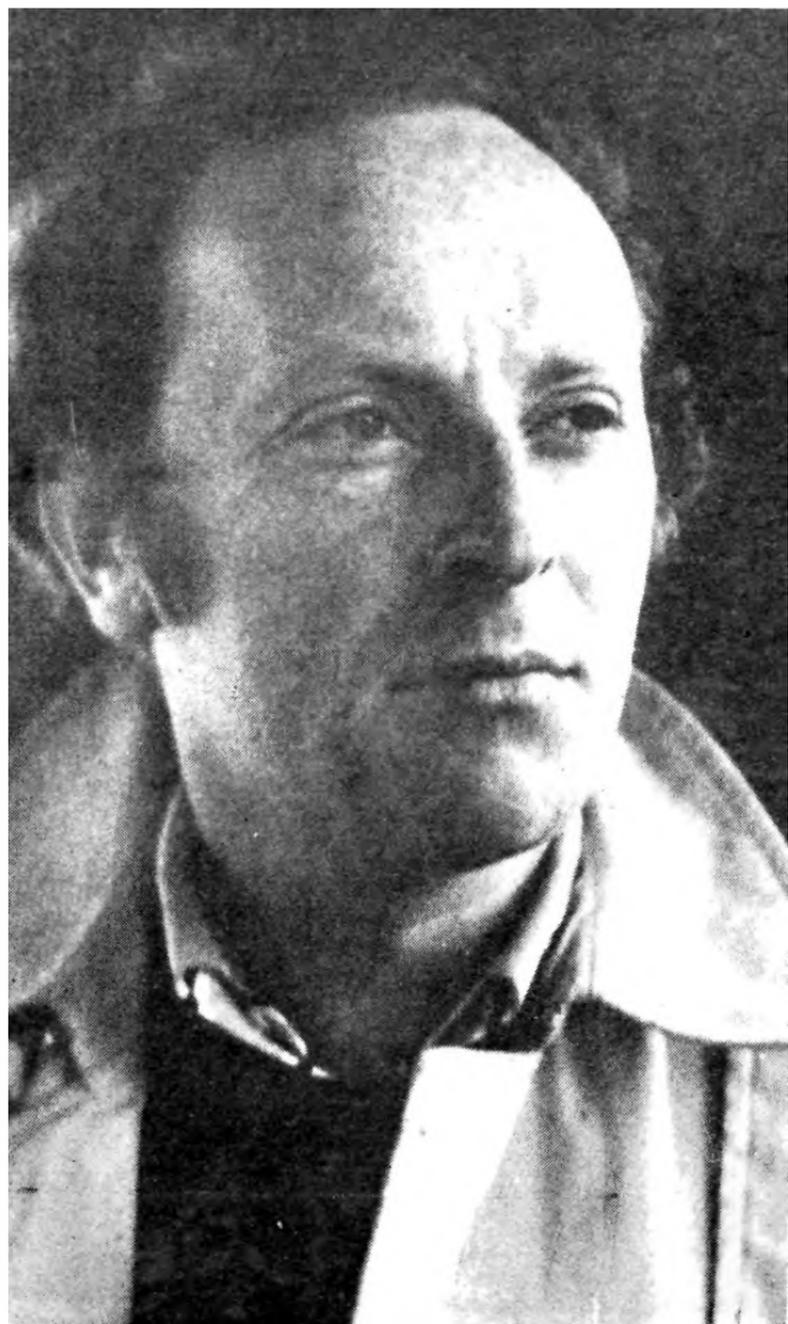
















**Дома. Ленинград 1960.**

*Фото А. И. Бродского*

**Ленинград 1958.**

*Фото А. И. Бродского*

**Отъезд в эмиграцию.  
Ленинград 4 июня 1972.**

*Фото М. И. Мильчика*

**Ленинград 4 июня 1972.**

*Фото М. И. Мильчика*

